

1998

7
Октябрь

Октябрь

7 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1998

ИЮЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ, Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Александр ДУДОЛАДОВ. Завтра не будет. Рассказ | 3 |
| Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. Viehwasen, 22. Дневник сердитого эмигранта | 8 |
| Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Новые стихи | 65 |
| Эдуард ДВОРКИН. Рассказы | 68 |
| Бахыт КЕНЖЕЕВ. Даровитый самородок Ремонт Приборов. Стихи ... | 94 |
| Марина УРУСОВА. Любовь и голод. Рассказ | 101 |

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| «Человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне...» Из переписки Вадима Сидура и Карла Аймермахера. Публикация Карла Аймермахера. Вступление Юлии Сидур | 107 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Иван СОЛОВЬЕВ. Мессианские речи. Составление и предисловие Михаила Эпштейна | 148 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Олег ПАВЛОВ.
Господин Сочинитель. О творчестве Владислава Отрошенко **168**
- Александр ВЕРНИКОВ.
Земля и Мир. «Homo Faber» Фриша как естественный спутник Земли **172**

Панорама

- Александр МЕЛИХОВ. **Оскорбленные атланты** (Айн Рэнд. Атлант расправил плечи). Вячеслав ВОЗДВИЖЕНСКИЙ. **Две судьбы Михаила Булгакова** (Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове). Виталий ПУХАНОВ. **Стать абсолютно прозрачным...** (Константин Кравцов. Приношение). Л. ВОЛОДАРСКАЯ. **Прошлое и будущее: фантастика и история** (Илья Галилов. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса * Миры Харлана Эллисона). Феликс ИКШИН. **Настольная книга для любителей столоверчения** (Розмари Эллен Гуили. Энциклопедия привидений и духов) **177**

Записки литературного человека

- Вячеслав КУРИЦЫН.
88 моих рублей и 25 тысяч чужих долларов **185**

Мелочи жизни

- Павел БАСИНСКИЙ.
Казачий Неаполь **188**

В несколько строк

- Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **191**

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **В. В. ПУХАНОВ** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 01.06.98. Подписано к печати 25.06.98. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9140 экз. Заказ № 1931. Цена 16 руб. 50 коп.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.u

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Завтра не будет

РАССКАЗ

Утром старику явился Ангел и что-то прошептал на ухо. Дед встрепенулся, вывалился из сна, упал на колени и хотел было поцеловать Ангелу руку, но промахнулся — Ангел исчез.

Получилось, что старик поклонился воздуху. Если бы в комнате был кто-то, наверное, он бы засмеялся. Но в комнате никого не было. Старик жил один. Он сел на край кровати и стал вспоминать, что сказал ему Ангел. И скоро лицо его просветлело. Он вспомнил, сказано было: «ЗАВТРА НЕ БУДЕТ!»

Старик много лет ждал этого. И вот теперь сидел светлый, белый и даже чуть прозрачный. Потом он встал, походил по ненужной уже комнате, съел кусочек чего-то бессмысленного и пошел на улицу.

Сначала улица показалась ему такой же, как всегда: смешной, нелепой и непредсказуемой, как пьяная баба.

В пыльной траве возле дома валялись чьи-то зубы. Вокруг них бегали голые куры. Попытались склевать, но зубы пугали кур. От них пахло табаком. Куры визгливо кудахтали и разбегались от ужаса. Дед наклонился, рассмотрел и сразу узнал — Витькины зубы. Но почему они теперь здесь — дед не понял, собрал в горсть и положил в карман. И пошел по улице вдоль заборов.

Заборы были ветхие, серые, нездоровые. Из-за заборов выглядывали дома. Дед встал на цыпочки, посмотрел на один. Дом был старый, склонившийся набок, как голова уставшего человека.

Старик пошел себе дальше по улице, разглядывая деревья и удивляясь, как в детстве: почему они все такие разные, как люди?

За одним из них прятался милиционер — гаишник Кутузов, охотился за нарушающими закон машинами. Работа у Кутузова была тяжелая и грешная. Машин было мало, а семья — большая. И все много едят. Особенно старший — Генка, который третий год числился бригадиром рэкети́ров. А городок был маленький, бедный, грабить некого. Генка голодал. А ведь семья у парня, дети, старший уже совсем взрослый, в тюрьме сидит — за кражу простыни с применением технических средств. Кутузов тосковал.

И от тоски и жары он вспотел и задремал, когда из-за угла вылетел шумный, разваливающийся от скорости, старости и несоблюдения дорожных правил грузовик. Причем за рулем сидели сразу два пьяных мужика в рваных рубашках. Они были злые и проворные, поэтому успели плюнуть в задремавшего Кутузова. А он ничего не успел: ни свистнуть, ни полосатой палкой махнуть, ни номер машины записать... даже плюнуть в ответ не успел. Только матюгнулся в пыльный воздух, окруживший его, и вытер платком лицо и сапоги.

Старик пожалел Кутузова тихими словами: «Хорошо, что ты ненастоящий Кутузов, не фельдмаршал — спаситель Отечества, а то што было бы?.. Представь себе».

Гаишник окаменел — видимо, представил.

А старик отправился дальше, мимо всякой жизни, которая еще была, но уже заметно менялась. Например, многие встречные казались деду на одно лицо. Совсем одинаковые — только одни в брюках, другие в юбках. С ними дед не разговаривал и на оклики их не отзывался. «Пусть лучше думают, что оглох, а

то не выдержу, проболтаюсь, что «завтра не будет». И опять — будет. Нельзя мне об этом никому говорить — чин у меня не ангельский. Не поверит никто».

У магазина, где знакомых было много, дед даже притворился слепым. А в магазине — вообще не собой. В магазин он зашел, чтобы незаметно потерять там все свои теперь уже ненужные деньги. Но стараться терять их ему не пришлось, потому что деньги у него незаметно спер какой-то проворный нуждающийся. Дед мысленно поплакал о нем и вышел на улицу.

Улица опять немного изменилась. Деревья стали чище и выше, небо — темнее, а пыль на дороге — светлее, почти белая, и если долго на нее смотреть, то ясно понималось, что она куда-то течет, как медленная река. Но никто этого не замечал, кроме деду и кур, купающихся в пыли у края дороги.

Дед оглянулся назад. Надпись на дверях единственного в городке магазина тоже изменилась. Вместо бывшей непонятной «Супермаркет № 202» появилась сначала другая непонятная: «ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВ», а потом — понятная: «Тихо! Идет митинг!»

Из-за угла вышел плачущий беззубый Витька.

— Что? — спросил у него дед. — На митинг?

— Фубы пропиу! — прошепелявил Витька.

— На! — выгреб из кармана зубы дед и высыпал в Витькину ладонь. — Пользуйся!

Витька пересчитал, вскрикнул от радости и побежал к пивному киоску. Старик вздохнул и виновато посмотрел на небо. И увидел там свою давно умершую матушку. Она улыбнулась ему и исчезла. И небо стало ослепительно голубым. И тут же вострубили трубы. Звук их похож был на гром, но это были трубы — дед догадался.

Народ, бродящий у закрытого магазина, запрокинул головы и начал обсуждать небо.

— Наш или вражеский? — спросил Колька Потеряев.

— Кто? — удивился его брат-двойняшка, тоже Колька Потеряев.

— Да самолет-то!

— Где ты видишь самолет? Облака одни! Прямо траур какой-то небесный. Надо пойти огурцы закрыть и в банки закатать, а то градом побьет.

— Бундесовский самолет-то, — продолжал о своем брат. — Эх! Сейчас бы мне удостоверение начальника ПВО, новую генеральскую форму и зенитный расчет.

Трубы вострубили громче. Небо сделалось совсем белым.

— Ишь как потемнело. Затмение солнца, что ли? Затмения не обещали? Кто сегодня прогноз погоды по телеку смотрел? — строго спросила Ганна Пална Недофилова, председатель местного отделения по борьбе с центральным телевидением.

Все испуганно промолчали. Ганна Пална достала из лифчика газовый баллончик...

— Я смотрел! — нехорошо улыбаясь, сказал местный пироман Евграфов.

— Кто тебе поверит? — отмахнулась от него Ганна Пална. — Ты в этом месяце пятнадцать домов поджег — ни один не сгорел.

— Так если б у меня спички были или зажигалка! — начал оправдываться пироман. — А то издалки указ: отбирать у меня спички! Вам там что, в Думе, не о чем больше беспокоиться? Нет, чтобы строительством нового жилья заняться! Сколько бы новых домов выросло! — мечтательно закатил глаза Евграфов.

Ганна Пална, применив слезоточивый газ, повторила свой вопрос.

Наркоман Фома жадно вдохнул газ, заторчал, оттопырился и нараспев сказал:

— Я смотрел. Да лажа все. Никакой порнухи. Вместо прогноза — рекламу наркотиков крутили. Козлы! Что их рекламировать? Лучше бы почтой рассылали. Домой приду — телек изрублю. Если выдадите топор.

— Выдадим топор! И колеса! — ласково глядя на Фому, сказала Ганна Пална. — Пойдешь ко мне в замь?

— В землю вас всех живыми закопать! — страшным шепотом сказал тайный садист — электрик Бубенцов.

— Все только обещаешь! — подначила его старуха самогонщица Глухова.

— Во сне пока закапываю,— согласился Бубенцов.— Но ничего, настанет время!

— Одним делом занимаемся, Боря, интересы общие, женись на мне. Я тебе мутанта рожу от облученного академика.

Трубы вострубили еще громче.

— Кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается...— поросычьим голосом завизжал бывший директор термоядерной лаборатории, нынче работающий нищим в электричке, академик Тиурамский.

Митингующие окружили его, свесили головы набок и открыли рты, чтобы лучше проникали в них ученые слова про дождь. В городе до сих пор уважали ученых, тем более — нищих. Но, может, и не потому его уважали, не из-за нищенства, а наоборот? Ведь все знали, что у Тиурамского деньги есть, и много, но в Вашингтоне. Все секреты своей лаборатории американцам продал лично. опередил московскую комиссию по продаже государственных тайн... Да! Именно за это народ любил его — за самостоятельность.

Сам же Тиурамский из ворованных денег не взял еще ни цента. Ждал, когда можно будет снова начать разработки новой ядерной бомбы, способной погубить весь мир в целях мира. А пока притворялся нищим, а в экстренных случаях — свиньей. А сегодня был как раз экстренный. Утром у Тиурамского счетчик Гейгера вдруг засвистел, как кипящий чайник.

— Кажется, дождь собирается! — закончил свою речь ученый, хрюкнул и пошел домой.

Оставшийся народ попытался было подраться из-за чего-нибудь, но было не из-за чего. И все разошлись по своим никому не нужным делам.

Дед наблюдал всю эту сцену, спрятавшись за угол магазина. И по привычке подумал, что многим надо часто ходить к врачу. Но тут же вспомнил единственного оставшегося в городе врача по фамилии Содомахин, который подрабатывал криминальными абортми, чтобы заработать на операцию своей дочери, которая никак не могла родить. Для Содомахина это было большим горем, он хотел иметь внуков — продолжателей рода Содомахиных.

Трубы вострубили еще громче.

И старик пошел в Храм. В Храме было прохладно и празднично. У знакомой бабушки он спросил:

— Где батюшка? Исповедаться хочу...

— Гавриила слушает,— радостно прошептала она,— завтра ведь уже не...

Дед не дал ей договорить, приложил палец к губам. Бабушка поклонилась ему. И на душе опять стало покойно.

Старик вышел из Храма, присел на лавочку и стал искать глазами свои следы на дорожке. Наконец разглядел и чуть не заплакал от сладкой судороги в сердце — следы его были маленькими, детскими.

Но это были его следы. Первые. Он вспомнил, как много лет назад матушка впервые привела его в Храм. Старик не удивился тому, что нашел только эти свои следы. Удивляться сегодня уже не было смысла. И поэтому, когда после какого-то странного звука, похожего на удар по человеческому телу, услышал за спиной тихий спокойный голос: «А теперь уходи. Не оборачиваясь»,— он покорно встал и пошел в лес — подальше от людей.

Он лег в траву и стал вспоминать свою жизнь. И, как всегда, многое из того, что ему казалось плохим когда-то, теперь казалось хорошим. Плохое стирается в памяти, а остается хорошее — радость и ощущение справедливейшего устройства мира, придуманного Богом.

Ему давно хотелось к Богу. Он устал жить. Устал знать многое, чего здесь, на Земле, не нужно знать, но многие требуют объяснить, и приходится объяснять и оправдываться, и выглядеть при этом ненормальным, и, главное,— грешить и грешить, потому что сан у него не тот — мирской, а мирским мирских поучать нельзя — все равно что осуждать... А ненормальным выглядеть — это ничего, терпимо. Его многие зовут и «дурачком», и «сумасшедшим», и хуже слова находят. И ничего, терпимо.

И вот теперь он лежал на земле и вспоминал людей, и все казались ему хорошими, достойными оправдания, и всех он любил...

И вдруг сердце его заколотилось. А он лежал так, что ухо его приникло к земле и удары сердца он слышал через землю. И вот сердце так громко и часто забилося, что ему показалось, будто оно уже выברалось из его тела и опускается в землю. Рвет дерн, продирается сквозь корни, толчками раздвигает камни, ползет куда-то туда, где ему будет лучше... Куда?.. Там же внизу...

— Эй! Ты же в Царство Небесное хотело! — прохрипел дед своему сердцу. — Куда ж ты поперло из меня?

Дед лежал и боялся встать. Вдруг встанет — и без сердца! «И ведь лопату с собой не захватил — как его достанешь?» — пришла ему в голову глупая мысль. Но тут же пришла и умная: «Видно, я слукавил опять. И сильно. Так, что собственному сердцу стал противен. Об чем же я думал? О том, что всех люблю, всех прощаю... Ах! А жена-то?!»

Дед вскочил. Потрогал грудь. Сердце было при нем. Простило. «Значит, правильно подумал: жена!.. О жене-то я и забыл совсем!» И дед быстро пошел из леса.

А дело было давнее. Вернулся тогда он с войны. Молодой, красивый, сильный. Увидел ее на вокзале — хрупкую и чистую, цветущую в первый раз, как молодая веточка яблони. Беленькая такая, трепещущая даже от слабого ветерка.

Встал он перед ней на колени и стоял, пока она не засмеялась и не позволила взять себя на руки. Так он и принес ее домой на руках... Женился. Конфеты ей покупал. Звал «веточкой», «белочкой», в утренние сумерки просыпался и подолгу смотрел на нее, почти прозрачную, светящуюся, улыбающуюся даже во сне...

А потом он о Боге с ней начал разговаривать. А она смеяться над ним стала, конфетки кушала и липкими от конфет руками по небритым щекам гладила, целовала... сладкая... А он отворачивался...

Теперь-то он знает, что к Богу дикую девушку надо приучать постепенно, как ребенка — к твердой, настоящей пище вместо манной каши.

А тогда он этого не знал, и утонули они оба в манной каше. На самое дно миски опустились: юбки, шубки, чулочки, танцы под патефон. И страшно ему стало. Танцует он на вечеринке вальс-бостон, а сам «Отче наш...» мысленно читает.

Сделалось ему страшно. И впал он в уныние. А она это по-своему поняла. И для укрепления семьи изменила она ему с залетным бухгалтером. Утром пришла пьяная, с пачкой накладных в портмоне, чернилами пахнущая. Со счётами в руках. Бухгалтер по широте душевной подарил. Казенное все! Отчаянный был парень. За это его и посадили. За счёты и чернила.

Не выдержал он и ушел от нее. И сразу в один год стариком стал.

А у стариков память плохая. Забыл он все. Даже на улице ее не узнавал. Забыл лицо и имя. И вот сегодня — на тебе! Все вспомнил: и «веточку», и «белочку», и грешный вальс, и адрес.

В город вбежал старик только в сумерки. Сильно изменился город. Сильно!

Вместо пыльной дороги теперь текла настоящая белая от лунного света река!

Народ ошалел. Кто в лодках по ней плавал, кто без лодок купался. Бабы стирали белье. Витька беззубый, закатав штаны, ходил по колено в воде, шарил по дну руками и громко грозил, что утопится, если зубы не найдет. Братья-близнецы Кольки Потеряевы распутывали на берегу — бывшем тротуаре — сети, раскладывали динамит. Ганна Пална, стоя на высоком холме, призывала всех через мегафон не верить ничему этому, если покажут по центральному телевидению.

Ее заместитель Фома, пыхнув косяком, выхватил у нее мегафон и закричал:

— Люди! Остановитесь! Это глюки! Долой наркотики! День без наркотиков! Гринпис! Да здравствует ЛСД!

Милиционер Кутузов сидел на столбе и приколачивал новый светофор: черно-желто-белый.

Из-за дерева вышел садист Бубенцов. Одной рукой он приобнимал самогонщицу Глухову в подвенечном уборе, в другой держал удавку.

С холма было видно, как на другом берегу пироман Евграфов балуется спичками возле бензинового склада.

Вдруг из светящихся кустов выскочил светящийся академик Тиурамский и с криком: «Свободу политоблученным! За мир во всем мире!» — бросил в белую реку самодельную атомную бомбу. Бомба зашипела и безопасно утонула...

Вот такая наблюдалась картина. Но дед не успел рассмотреть всего.

Он в задумчивости перебежал по реке как по дороге на другую сторону, где жила его бывшая жена. Косыми переулками, пугая котов и неизвестных злых животных, проламывая на бегу ветхие заборы, чтобы укоротить путь, дед, наконец, вбежал в дом. И остолбенел.

За чистым белым столом сидела она, почти не изменившаяся, только постаревшая на 45 лет. На шкафчике в вазе стояли увядшие, почти почерневшие накладные бухгалтеря.

— Прости меня, ради Бога,— пролепетал дед и встал перед женой на колени.

— Прости и ты меня, Иван, но в Бога я не верю. Был бы Бог, ты бы давно ко мне вернулся.

И тут вострубили трубы так, что стекла в окнах оплавилась и сделались похожими на мятый целлофан.

Иван схватил жену за руку и потащил к реке. Она бежала за ним и бормотала: «Не верю я...» И плакала. И от слез пахла яблоней после дождя.

Дед глянул на небо. Откуда-то с востока приближались бесчисленные ослепительные легионы. Впереди них шло сияющее облако...

Выбежав на главную улицу, дед прыгнул в реку, но опять не утонул, а быстро пошел по ней. Жена его вскрикнула, ушла камнем на дно, но он крепко держал ее за руку. И скоро они вместе двигались по реке. Народ в ужасе разбежался. И скоро берег опустел. Потом вообще исчез.

Дед оглянулся. За ним шли тихо улыбающиеся дети, бабушки и несколько помолодевших стариков.

Скоро белая река вынесла их на белое поле. Посреди поля стоял утренний Ангел. Теперь он был огромный и блистающий.

Люди робко столпились около него.

Ангел посмотрел на деда. Тот крепко держал за легкую руку жену.

— Что ж ты, Иван? — сказал Ангел по-ангельски, как не умеют люди, радостно-гневно, одновременно и улыбаясь, и скорбя.— Что ж ты? Ты в Рай должен сегодня, а жена твоя... в другое место...

— Она теперь верит, верит,— залепетал дед.

Ангел строго посмотрел на Ивана.

Тот опустил голову и прошептал:

— А можно ее вместо меня?

Жена вцепилась в Ивана, обхватила обеими руками...

— Посерьезней надо быть! — сказал Ангел, строго улыбаясь.— Иван, учти, из-за таких, как ты, все и переносится постоянно.

И вдруг все исчезло.

Утром Ивану приснился Ангел и сказал: «Завтра не будет!»

Иван встрепенулся, выпал из сна. И увидел рядом спящую жену. Волосы ее пахли свежими молодыми яблоками.

Иван тихо оделся и пошел на улицу. Он вспомнил про старого друга, с которым двадцать лет назад поссорился из-за буддизма. Надо было торопиться. Впереди был всего лишь день...



Viehwasen, 22

ДНЕВНИК СЕРДИТОГО ЭМИГРАНТА

I

Господи, как я ненавижу людей! Особенно немцев и евреев. Нет, все-таки евреев и немцев... Впрочем, и русские были не лучше. Но евреи и немцы...

Так должна была бы начинаться эта книга, если бы у меня хватило сил взяться за нее раньше, год назад, например. А если бы два, то каким детским восторгом приземлившегося марсианина дышали бы эти сияющие листы... Так слепой, узнавая предметы на ощупь, испытывает радость не обладания, а сотворения... И где же еще скромно отпраздновать свой эгоистический субъективизм, как не на родине идеалистической философии...

А по-настоящему надо было начать записывать еще раньше, ровно три года тому назад, 10 мая 1992 года, когда три самые популярные газеты столицы русской поэзии вдруг дружно проснулись и пожелали доброго пути еще одной поэтессе, впервые назвав ее известной...

Как давно это было... Здесь никто не поймет твоей горькой иронии хотя бы уже потому, что даже слегка подпорченные образованием земляки носятся с обалдело вращающимися зрчками в поисках заработков и собственных «Я», какие-то фантастические Черновцы (город? национальность? тип нервной деятельности?) пытаются оккупировать весь мир своим индюшачьим местечковым тщеславием, а с немцами и с немецким — разногласия и стилистические, и фонетические, как когда-то с советской властью... Именно так. Менталитет — это алфавит с человеческим лицом.

Вместо гордого, пусть немножко самодовольного, выпуклого, как первый жирок интеллигента, звонкого «Я» — какое-то зловеще шипящее «Ихь»... Вместо спокойного, но твердого, исполненного человеческого достоинства «я думаю» — монетный звон в висках — «Ихь деньке», мелкие их шутки и мысли про деньги... Они не стесняются возводить копеечную экономию в ранг достоинств. Они торгуются с собственными детьми из-за мороженого, подъезжая к ларьку на роскошном «мерседесе». Но не потому ли в конечном счете мы приехали к ним, а не они — к нам...

А может быть, это и хорошо, что рука только сейчас потянулась к перу, а перо — к бумаге (болезнь наша — литература, мания цитирования, недержание ассоциаций), только теперь, когда все или почти все уже позади и та вторая жизнь, которая мнилась за государственной границей, по существу, уже тоже исчерпала себя, а была и пылкой, и жесткой, и до предела насыщенной; и стало снова тускло и скушно, как некогда в городе Великой Депрессии... Потому что сбылась мечта — и не осталось загадок... (Только ватная пустота после исполнения страсти.)

Я предвижу злорадство «писателей», укравших у меня литературную жизнь (писателей в кавычках и скобках, потому что писатели без кавычек и скобок могут слямзить библиотечную книгу, но не чью-то судьбу) и обиженных на то, что им об этом сказали. Не обольщайтесь! Мы, уехавшие последними,

угодившие в «колбасный вагон» и не слишком радушную атмосферу переполненного дармоедами капитализма, еще скажем свое слово. И о себе, и о вас, и о мире, который все же увидели. А ведь могли так и помереть с необъяснимой ностальгией по Западу... (Необъяснимой, потому что не только мы, но и заранее заготовленные для нас судьбой гены там не бывали... Наши генеалогические древа были переструганы на дровки для победоносных знамен, а образовавшиеся на их месте куцые кусты — советская природа тоже не терпит пустоты, хотя обязана развиваться по совершенно другим законам, — вырваны с корнем на той войне...)

Не торжествуйте и вы, элегантная — с виду — дама, доцент славистики, пытающаяся унижить русских писателей копеечными подачками и давно провоцировавшая меня на эту книгу, кровожадно дыша и нетерпеливо заглядывая через плечо, когда ей вскапризилось найти меня в гетто кошмарной общаги: «Главное, что вы лично испытываете, лично, это же так интересно... И торопитесь, будет уже поздно...»

Для чего — поздно? Для дешевой карьеры первого бытописателя «четвертой волны»? Я готова заранее разделить эту горькую славу со всеми, даже с самыми юными и никому не известными, особенно с юными и неизвестными, с теми, кому не пришлось «выдавливать» из себя «по капле раба», потому что выдавливать было нечего... (В отличие от некогда почитаемых и никогда не читаемых, от которых, когда они пытаются выдавить из себя хоть одну рабскую каплю, вообще ничего не остается...)

Боюсь, что мои записки будут раздражать как раз своей преждевременностью, что, будучи по складу своего угрюмого дарования, к несчастью, Кассандрой, вернее, Кассандрой — именно к несчастью (у меня на несчастье особый нюх, а радости я воспринимаю с дилетантским щенячьим восторгом), я уже знаю сейчас, как все это снова начнется... Именно здесь, в «дойчланд, дойчланд юбер аллес», где все переходят улицу только по команде светофора (хочется написать «офицера») и послушно плачут на типично голливудском «Списке Шиндлера»... Плачут тихо, не всхлипывая, чтобы не нарушать тишины, и вытирают глаза разовыми платочками «Темпо»...

А евреям кино не страшно. Они шумно перешептываются во время сеанса, шуршат шоколадками. Они и не думают, что кому-то мешают, норовят с места вмешаться в фильм, как будто там, на экране, можно что-либо изменить...

II

Я столько раз пыталась приняться за эту книгу, что в конце концов она мне... расхотелась. Пересохла в горле, как паста в когда-то начатом, а потом в суматохе утренних процедур заброшенном тюбике. Теперь жми — дави — выкручивай, а высовывается только мышинный хвостик какого-то дохлого вещества. Ни тебе ни влаги, ни аромата, без которых литература, как известно, неммыслима.

Эмиграция в отличие от нормальной (совершенно ненормальной, в том-то и были ее и вкус, и запах, и музыка), привычной жизни слишком буквальна. Начиная с переводного (переносного) понимания слов, сказанных на чужом языке (покупая приятную галстук, не можешь отделаться от ощущения, что приобретаешь не безобидную тряпочку в каких-то геометрических ребусах, «ди краватте», а громоздкое и ненужное двухспальное лежбище), и кончая толкованием нравов по отдельным знакомствам: немец читает — немцы читают — немцы — читающая нация... (Как бы не так, хотя блестящая, отлаженная до излишнего, переходящего в пошлость глянца индустрия духа предлагает ежегодно 70 000 названий новых книг. Интересно, для кого они тут издаются?..)

И еще в ней, в эмиграции, есть какая-то невидимая трагическая черта окончательности, что-то вроде добровольной черты оседлости... И тогда — уже обреченность.

Ибо для того, чтобы менять страны после пятидесяти, нужно было с пяти иметь гувернантку с легким прононсом Елисейских полей, а также чудаковатого дядьку в буратиновом шлафроке (немцы на чужбине всегда странные, безобидные, если, конечно, не победят) и еще хотя бы сонеты Шекспира на чистом английском, желательно в сафьяновом переплете, без такого простого и складного участия Маршака...

А если вместо всего вышеперечисленного тебе была уготована комната на всю семью в пропахшей щами и скандалами коммуналке, по сравнению с которой нынешняя социалка — дворец графа Шереметева, то ты можешь вынести максимум одну эмиграцию. Ибо вкладываешь в этот бросок все оставшиеся и сконцентрированные в солнечный комок силы — как в последнюю страсть. На что предмет твоих притязаний взирает недоуменно и холодно...

III

Я всегда верю первому ощущению, информации импульсов, когда развращенный опытом мозг еще не успел пуститься в спасительную софистику, объясняя, скажем, откровенное свинство как скрытое и блуждающее во тьме нравов потное восхождение к сияющим вершинам эпикурейства; пока он еще не начал химичить, меняя электроды местами и получая в итоге те же оранжевые пунктиры тока-шока...

И сейчас, когда нестерпимо хочется в ту напряженную нравственную атмосферу, где плюс — это плюс, а минус — минус, где злодеи, как это ни парадоксально, стесняются, смущаются своих злодеяний и злоделишек, вздрагивая в начальственных креслах от все понимающих взглядов портретов («Пушкин» Крамского или Тропинина на скользкой административной стене незаметно делали свое дело, хотя на посетителей обладателям кабинетов было плевать, точно так же, как и их коллегам во всем цивилизованном мире), сейчас я вспоминаю ленинградский аэропорт и свое идиотское желание поцеловать таможенника: последнее родное лицо...

Интуиция — единственно правильный способ ориентации в пространстве и времени. Скажем так: сигнальная система подсознания предупреждала о приближающейся опасности...

Но ведь хотелось, мечталось, грезилось: из тюрьмы — на свободу, из страны, все еще окруженной колючей проволокой границ, — в увлекательный мир, где растут на влажных полях цветы фламинго, которые не повернется перо отнести к фауне, — такие они нежно-розовые, воздушные, как пастила и зефир, лакомства нашего роскошного, хотя и убогого детства.

Может, в том и русское счастье мое, а не только несчастье, что судьба уготовила мне «инвалидность пятого пункта», что на всяком лубочно-пасхальном пиру я чувствовала спиной дуновение прохладного ветерка и вдруг ощущала кожей свою чужеродность и непричастность к празднику. Это чувство отторженности (не отверженности, а именно неумышленной отторженности) как бы отодвигало все происходящее на крохотную дистанцию и возвращалось в организм с первым глотком вина, много веков назад настоящего на горьком высокомерии, на печальной мудрости и легкой иронии... Это чувство, вернее, подчувство (если есть подсознание, есть и подчувство, подспудно тлеющее), мне подсказала не Тора, а Томас Манн, когда я по-юношески восторженно упивалась его «Иосифом», и сама жизнь, в которой, как на его же «Волшебной горе», все было больно ожиданием неминуемой смерти, но в мелочной суете повседневности удавалось отвлечься от мысли о Ней...

Поэтому меня не особенно задевал государственный антисемитизм. И, может быть, именно потому, что не волновал, что не на нем сосредотачивала моя расхристанная по-славянски душа свое просыпающееся внимание, повезло и в университет поступить, и работу найти. (Хоть и не по таланту, но все-таки по специальности.) А если потом всю жизнь то премировали, то увольняли, и

опять, уже на другом месте, премировали и увольняли, то это не из-за самой национальности, а из-за ее рассеянности, забывчивости пониже опустить голову и быть по-человечески благодарной за корм... А что стихов, можно сказать, «при жизни» не напечатали, так на это я не в обиде: ну кто же станет помогать своему убийце потуже затянуть веревку на собственном горле?..

Зато когда вспыхнула перестройка, когда забрезжил впереди призрак разочарования — с одной стороны, а с другой — остался, никуда не ушел тот самый призрак, который долго бродил по Европе и остановился почему-то у нас, когда стало ясно, что теперь от тебя зависит собственная судьба, и только она, и что тебе в чем-то глубоко несимпатична сногшибательная карьера лидеров нашей честности, — вот тогда и была заполнена анкета на выезд...

Обстановка в Ленинграде была действительно наэлектризована... А я, впервые в жизни буквально завалив сына шоколадом (вдруг посыпавшиеся со всех сторон гонорары мгновенно превращались инфляцией в труху, а расположенная неподалеку фабрика, еще носящая имя чего-то красного, не помню — чего, уже растаскивалась по коробкам, прежде припрятанным от покупателей, теперь ее труженики стояли прямо в магазине «Здоровье» со своим мало кому нужным товаром, так как не было хлеба, мяса и масла), так вот я, откупившись от сына этим нечаянным пиром, жадно глотала только что вышедшие (и ста лет не прошло) дневники Зинаиды Гиппиус, то и дело ловя себя на ощущении, что это — о нас...

Странно, но оно щемит и по сей день, когда уже главные трудности и перестройки, и эмиграции позади, когда мир уже приоткрылся мне в своей неприка-
янной красоте и неизбывной печали...

И я вдруг неожиданно для самой себя вызываю из памяти тот отъездный день: 10 мая, десятая годовщина смерти отца, которого война достала уже через столько лет, убила внутренним взрывом инфаркта, когда он пришел на встречу однополчан один, — и пена изо рта, и все кончилось, так, говорят, умирают святые; и вот 10 мая, и я еду в Германию, не в ту, а в другую, у меня всегда была своя Германия, как и своя жизнь, и свой взгляд на нее; и душный «накопитель» (надо же так назвать, а главное — догадаться: впихивать улетающих в темный «чулок» отсека, лучшее средство от ностальгии) во всегда и везде космополитическом аэропорту, ибо над ним — наше общее безграничное небо; подпрыгивающие, чтобы еще раз махнуть прощальной рукой, друзья, и тут — это патологическое желание... Именно так. Поцеловать таможенника, которого все так не любят, которому отъезжающие навсегда иногда просто хамят — мстят за то, что всегда вынуждены были бояться (хамство подвыпившего плебея, выкупленного раба). И закладывает уши ничем, кроме вошедшей в состав крови русской литературы, неоправданный страх, что это и есть — навсегда...

IV

Старенький кругленький добрячок-тюфячок изо всех сил выкрикивал в родной советский матюгальник, заглушая ровный, отлаженный европейский гул франкфуртского аэропорта:

— Евреи, прилетевшие из Ленинграда, подходите ко мне! Ко мне, пожалуйста! Детки попьют и пописяют, попьют и пописяют...

Последняя фраза раздражала не только своей биологической навязчивостью (Анатоль Франс, например, не садился за стол с прекрасными дамами, ибо в процессе поглощения пищи они теряли свое очарование), но и прежде всего филологическим сюсюканьем.

Я не выношу местечкового акцента. Нет ничего более омерзительного для фарфоровых петербургских ушей, чем всякие там «пописать», «ой, вы знаете, Абрамовичи тоже едут», и т. п. и т. д. Как будто эти горластые, измазанные липким шоколадным дерьмом детки уже «пописали», и не куда-нибудь, а именно в твои благородные ушные раковины...

Шолом-Алейхем никогда не был в числе моих любимых писателей. Даже беглый структурологический анализ речи его героев вызывал у меня чувство жалости и досады, а значит — презрения. Язык — это рентгеновский снимок психологии.

Русские классики будили чувство вины, стучась в самые замурованные двери уснувшей совести, и воспевали свободу, немецкий — замахнулся на теорию сверхчеловека, а еврейский — любовался униженной провинциальностью и, конечно же, неумышленно, с помощью переводчиков, возводил унижающий русский язык неправильный выговор в национальную культуру и, значит, в литературную норму.

Может быть, мне просто-напросто повезло: угораздило выпасть (как снегу...) не в каком-то дремучем, коверкающем слова Бердичеве, не в отрезанном от всех и всего скудном (и провокационном по сути своей) Биробиджане с его дрессированными партийными секретарями — советский еврей служить не может, он прислуживает и выслуживается, и, главное, во имя чего? Дальше-то все равно не сошлют, разве что на Аляску, а там уже и Брайтон-Бич не за горами...

Мои родители вытащили для меня счастливый билет: при всей нашей традиционно-национальной неудачливости априори надо мной клубился сиреневый, в серебряных проблесках полумрак достоевских «Бесов», мои детские сандали захватывала и тянула в себя угрюмая и таинственная волна «Медного всадника», горе от ума стало и моей личной, а значит, и нежно любимой трагикомедией... Я всегда уходила оттуда, где мне становилось хорошо: то есть слишком комфортабельно, слишком уютно, располагало к тайным порокам... Любая карьера была мне — мною — противопоказана, я разрешала себе только первый сладкий глоток...

Да, только теперь начинаешь вдруг понимать, какое это необыкновенное счастье: родиться именно в Петербурге, граде Святого Петра, хотя и слывшего и в чем-то ставшего просто областным центром имени Ленина...

Но была ли когда-либо черта оседлости для движений Духа? Разве не становились евреи врачами и адвокатами, разве не оседали в столицах и не восхищали публику вдохновенным рыданием клавиш и запредельным, казалось, полетом смычка? Правда, про них говорили, что они умеют устраиваться...

Но мы отвлеклись. Во Франкфурте все тоже как-то быстро устроилось. И начались чудеса... И на душе стало еще более слащаво и гадко.

В социальной комнате (видимо, что-то вроде приемного покоя — для поступающих на излечение от социализма) детки, как было обещано, «пили и писали», «писали» — и опять пили, уже не столько от жажды, сколько потому, что импортная минералка мерцала в ящике, соблазняя родителей совершенно советским счастьем — халявой.

Особенно неприятной показалась одна семья: он — около сорока, с козлиной бородкой, с плохо действующей рукой, но как бы компенсирующими ее неподвижностью бегающими глазками. Родители, из последних сил толкавшие впереди себя и всех неуклюжий сундук (простая стратегия: чтобы никто не мог войти первым) и уже ругающиеся с немецкой социальной работницей, выдавшей каждой вновь прибывшей семье по тридцать марок — до завтрашнего утра. Ни за что, просто потому, что здесь так положено. Хорошо еще, что та ни слова не понимала по-русски (а ни на каком другом языке скандалить они не умели) и не узнала, что невестка, дрянь этакая, тут же приберет эти деньги к рукам, а ей, свекрови, старой, больной, беспомощной не даст ни копейки... Невестка, кстати, из всей этой жутковатой компании выглядела нормально, вполне милостивая женщина, занятая с маленькой дочкой, походка которой клонилась в сторону церебрального паралича. Последнее обстоятельство заставило меня в дальнейшем, с пятью пересадками, пути надрывать, подавая бабке ее проклятый сундук и слушая про не доставшиеся ей тридцать марок, которые уже как бы выросли из приятного сюрприза в долг немецкого правительства ей лично...

Еще одни попутчики — профессор-экономист с женой и общительной, как говорят, на выданье, дочкой... Почти десять лет «в отказе», ящики на почте заколачивал, когда с работы его «ушли»... Морщины на лбу — как приморский песок, волнуются, вот она, заграница — мечта диссидентского воображения... Радуются всему, тому же прохладному мерцанию минералки: Аква вита... Зобота о человеке. И вообще — новые впечатления...

Стараюсь сосредоточить внимание на этом красивом библейском лице, чтобы не спрашивать себя ежеминутно: «Зачем ты здесь?» А просто смотреть, переводя взгляд с него на квадрат удушливой черноты за окном...

На улице — плюс 35. На плечах — огромная кроличья шуба, какая-то дикая, встрепанная, будто с плеча Пугачева, на самом деле — изделие одного из нарождающихся в России кооперативов, куплена по случаю гонорара за книжку стихов. А в руках — русская пишущая машинка, родная, привычная, берущая две копии — хорошо, третью — с сильным нажимом, четвертую — никак, хоть молотком колоти... Вот, собственно, и все имущество, взятое с собой, как сказано в визе, на ПМЖ — постоянное место жительства. Как будто что-то в человеческой жизни может быть постоянным...

Увы, я уже так стара, что начали сбываться юношеские мечты: сначала — шуба, теперь — Германия...

...Кант прав: трагическая суть
Судьбы — выходит за пределы
Любовных пролежней. И телу
Простерт все тот же санный путь...
Свetaет. Вздох колышет грудь...
Начать с доски, где снова — бело?
Но что за птица ночью пела
И скрылась в матовую муть?..
Покуда в градуснике — ртуть
И память — в нас не охладела,
Хотела б знать, чего хотела
Душа: не заживо ль уснуть?
Иль кое-как и как-нибудь
Повеселиться неумело?..

Ну вот мы и — рука задумывается, повисая согнутым локтем в воздухе, не решаясь на это простое и щемящее слово — «дома»...

Темный, будто раздавленный чернослив, теплый южный вечер, прилипший к телу, кажущаяся после наших подслеповатых проспектов елочной иллюминация витрин и киосков — все это сообщает утомленному организму какое-то экзотическое предчувствие, похожее на предвкушение зимнего отпуска в Ялте или в Сочи, подчеркнутое случайным знанием о близости гор. (Отношения мои с географией всегда были, как у незабвенного Митрофанушки, природа часто одаряет нас чем-то одним, скаречно экономя на всем остальном и доводя субъект своей опеки до полного кретинизма в той или иной области.)

Впрочем, сейчас и остальным, более расторопным, не оставалось ничего иного, как только надеяться на извозчика... В чужой стране, не зная языка и обычаев, все мы выглядим недорослями, даже если ты — Миклухо-Маклай, а вокруг — туземцы. И уж тем более, если ты — только что из России, а вокруг — Европа.

Таксист воткнул нос в листок с адресом общежития...

(Из Ленинграда одна германистка, специалист по творчеству Гофмана, написала по моей просьбе, разумеется, в самых изысканных выражениях, письмо на имя директора вонхайма, что так, мол, и так, членом семьи фрау такой-то является и ее любимая кошка, и каковы будут условия для этой рыжей примадонны в известной своей любовью к животным Германии? Ответ пришел на бланке, состоял из одного предложения, но зато с тремя восклицательными знака-

ми. Здесь уже хватило знаний соседки, выпускницы Иняза, чтобы понять: «Проживание совместно с животными на территории всех общежитий земли Баден Вюртемберг категорически воспрещается!!!» Капитализм еще не утвердился в России, слабо стоял на своих рахитичных от рождения ножках, и поэтому кошке даже не пришлось нанимать бэбиситера — ее на время удочерила подруга.)

Вот этот-то бланк я и догадалась подсунуть водителю, потому что иначе как бы мы объяснили, куда нас, обалдевших, как кошки от новых запахов, надо доставить...

Утром я попыталась сразу... закрыть глаза. Но нестерпимое солнце вбивало тонкие твердые лучи под ресницы, и страшное видение не исчезало.

Не мерцал на стене под стеклом тонкий профиль Александра Александровича Блока, стена вообще как бы куда-то отодвинулась, не было ни разноцветных книжных корешков (с некоторыми из них я иногда даже здоровалась), ни нежно мурлыкающей мордашки с усами (кошка всегда приходила за утренним благословением, а потом уже смело шла грешить: залезать в кастрюли, опрокидывать доставшиеся в наследство от свекрови хрустальные вазочки), не было больше ничего, и только — нары, нары, нары...

Я начала считать эти железные койки, нависающие в два яруса, очевидно, чтобы проверить, в своем ли я уме... Первая мысль была: «Пряжка» — ленинградская психушка над темной блоковской речкой, почти напротив музея...

Забегая вперед, скажу, что ассоциацию эту, как, собственно, все внезапно вспыхивающие в мозгу параллели — аллюзии к виденному или слышанному, и даже вовсе, казалось бы, беспочвенные аллегории, считаю логичной и правомерной. Интуиция, как сказал Энгельс, — побочная дочь знания...

Все-таки что ни немец — то «Кёпфе»*, не знаю только, откуда всплыло во мне — тогда — это слово: вроде бы не из Пастернака, наверняка не из Тютчева, ах, да... Из беспомощных попыток родителей иногда щегольнуть выбитым из них за долгую жизнь идишем, языком немецких евреев, как я пойму здесь, близким местному диалекту... Правда, мои познания ни в немецком, ни в идише здесь не пригодятся. Их общий объем исчерпывается пятью словами: «коммунистише партай» и «юнге пионирен» — с одной стороны, и «ништюкхенсейхл», «мишугине» и «азохенвэй» — с другой. Первые два торжественно и сурово проносили гости из ГДР в нашей школе, больше запомнившиеся ровно и строго сидящими костюмами (у нашего директора брюки напоминали спереди растянутый аккордеон, а сзади — просто серый мешок), а все остальное мама иногда, думая, что я сплю, шептала папе, показывая на меня...

И хотя откуда ей, скромному корректору текстильного института, было знать, что информация во сне усваивается особенно хорошо и в одной маленькой комнате ни у кого ни от кого секретов быть не может (вот почему любая коммуналка и любое общежитие — это всегда нарушение прав человека, лишение его права на секрет), все-таки моя покойная еврейская мама была не такая глупая женщина, как мне казалось при ее жизни... Это утро еще раз доказало ее правоту...

...Какой-то маленький, щупленький старичок в так называемых «семейных» трусах (крик довоенной курортной моды: синие, сатиновые, похожие на современную мини-юбку) старательно приседал и, дрожа и хрустя всеми членами, медленно выпрямлялся, ухватившись за край ободранного и облупленного, будто в привокзальной забегаловке, столика посреди чердака. Ну да, конечно, это чердак, мы же вчера, спотыкаясь по причине усталости и отсутствия лампочек, преодолевали какую-то лестницу, она все никак не кончалась, лифта мы почему-то тоже не нашли, и еще нас почему-то никто не встретил, хотя все мы

* Голова (*искаж.*).

согласно полученному предписанию за два месяца сообщили день и час своего прибытия. Первую ночь спали вповалку, на полу, утешившись тем, что хоть не на улице...

О каждом народе сложены свои мифы, мифотворчество продолжается и сейчас, когда народы перемешались в едином котле и, видимо, потеряли многие свои полезные свойства... Но покажите мне хоть одного иностранца, приехавшего в Германию без святой и наивной веры в немецкий «орднунг»! (Вот и еще одно слово всплыло откуда-то из глубины памяти, развязав один из ее туго затянутых узелков.) Разумеется, все тут же сошлись на том, что письма за границу по-прежнему не доходят, небось лежат наши из последних рублей оплаченные уведомления где-нибудь в сейфе КГБ или в лучшем для нас случае — на полойке...

И сейчас, спустя столько лет, когда страна — да разуйте же глаза — стала совсем другой, многие еще не излечились от нашей социальной шизофрении, заболевания безусловного, серьезного, возникшего на подозрительной почве самой нашей жизни, но, между прочим, и подымавшей безобидного и бесполезного, как таракан, обывателя в его собственном насекомом мнении: его письма... читают, они кому-то (ИМ!) интересны...

С моим не самым жестким, но и не бесследным для всей скомканной биографии опытом общения с органами (запрещение-таки на профессию, вынужденный уход в котельную — на самое социальное дно, о чем я, кстати, ни разу не пожалела, хотя ниже меня была теперь только земля) эта минутная мысль была, наверно, простительна. Тем более что я от нее сразу же отмахнулась, как от назойливой мухи, потому что в реальной жизни стараюсь не позволять первым догадкам присваивать себе лавры окончательных разгадок, то есть переходить из метафоры в опасное заблуждение...

В это же утро, через пару часов, я встретила со своим старательным (графического прилежания хватает обычно только на одну страницу, то есть на документ), будто бы школьным почерком, подшитым в папку, на столе раскосой девки (желтая раса всегда как бы без возраста: и дети — как морщинистые старички, и бабушки — маленькие, как пигалицы, особенно сзади), девки бойкой, напившейся цивилизации, и от этого еще более наглой, не потому ли целый этаж занимали ее вьетнамские родственники, а нас было: пять, шесть... восемь... Нет, опять сбилась...

Во-первых, какая-то сумасшедшая старуха, которая скакала по комнате, как коза, и которую маленькая девочка лет двенадцати покровительственно и раздраженно называла Катей, а Катя все прыгала между нар и требовала срочно позвонить в обком партии и рассказать, как ее обижают...

Еще один дядька, пронзительно шелестя упаковкой (звук — будто ножом по стеклу или ногтем по капрону), уписывает за обе щетинистые щеки ветчину с шоколадом и захлопывает чем-то из бумажного стаканчика...

А молодая и бесцветная брест посреди помещения (собственно, никакого «посреди» нету — там ее «дом», ее территория, очерченная постелью) свои волосатые ноги трескучей машинкой, иногда взвизгивая от боли...

Надо мной что-то кряхтит, свешивается с верхней койки и совершенно спокойно, будто ничего не случилось, спрашивает домашним, всегда немножко ворчливым, потому что, разумеется, деспот, нетерпеливым голосом:

— Сколько времени, мама? И вообще я проголодался!

Нет, не «Пряжка». В «Пряжку» всей семьей не кладут, во всяком случае, в одну палату...

Гутен морген, Германия! Пора просыпаться...

V

Как безгранично красив этот маленький городок, я увижу потом. Откроется очарованному взгляду и дом на острове, остров — дом, чье лицо, захлестну-

тое мокрыми ивами, отражается в темной воде всеми своими дрожащими абажурами, будто красные и желтые листья плывут, будто Венеция, ассоциацию с которой подчеркивают горбатые мостики, легко спрыгивающие на твердый асфальт... И крепостная стена, взбирающаяся на покатую гору наперегонки с виноградником из века, судя по нехитрой, но крепкой кладке, тринадцатого и, наконец, водрузившая на самом верху, на лобном, что называется, месте коренастую башню! А внизу — узенькие, звонкие под каблуком каменистые улочки с острокрышными домиками-пряниками; по какой ни процокай — обязательно выведет на рыночную площадь, окруженную непременно готическим орнаментом: потемневшая за столько эпох стрельчатая ратуша с круглыми кукольными часами, а слева и справа — кремовые стены строений, сверху донизу, нет, снизу доверху, впрочем, не важно, расчерченные шоколадными ромбами и квадратами. А в скромном уголке, на скользких от брызг камнях — приземистый круглый фонтанчик со своим провинциальным достоинством и своей, местного значения, легендой...

Все это — и пунцовые взрывы роз и гераней почти в каждом окошке, и квадраты неправдоподобно синей прохлады под изумрудными шарами парковых крон (городской бассейн, над которым разбрызган, кажется, детский смех всего мира) — я увижу потом...

Когда просто приеду сюда за какой-то бумажкой, ибо справки в Германии собирают с такой же страстью, как в России — грибы... каждый твой шаг зафиксирован в формуляре, над чем смеялся еще саркастический лирик Генрих Гейне. Но он ушел, а формуляры остались... н

Не для того ли и закреплен за каждой квартирой персональный подвал, чтобы к концу человеческой жизни накопилась там целая библиотека одного увлекательного романа с единственным героем на всех миллионах страниц: прививки, штрафы, напоминания об оплате за свет, воду и воздух...

Вот что такое учет, батенька Владимир Ильич, а не ваш на бухгалтерских счетах нащелканный и без счета растасканный социализм... Впрочем, слава Богу, что ни у вас, ни у Сталина с Гитлером не было компьютеров. Сегодня не нужно мусолить ворох бумаг и стаптывать сапоги, чтобы узнать, в ком тлеет осьмушка еврейской крови или чем занималась чья-то прабабушка... Достаточно нажать одну нужную кнопку...

VI

Как все-таки глубоко въедается в кожу пропаганда, как ржавчина — в железо противостоящего ей человека, имеющего на каждую развесистую тезу свою сокрушительную антитезу. Или это та самая генетическая память, которая спит, свернувшись клубочком, — и вдруг встряхивается, и ошетиливается, и от испуга — гневные трассирующие искры из глаз...

Мы шли по вечернему, полному влажных южных запахов парку над темной, в тяжелой летней истоме, рекой. Мой спутник уже выбирал кусты погуще и от тропы подалее, так как никакой личной жизни в комнате для четырех семей не предвиделось; мне было тошно и липко в три дня и три ночи не сдираемой с плеч футболке (наши вещи остались во Франкфурте, и это было сейчас главной заботой — добыть их обратно); я брела слепо, в тяжелой, размякшей, как инжир, голове медленно шевелились не то чтобы мысли, а, точнее сказать, ощущения: как бы щекотание щупальцев, проползание бархатных жирных гусениц по пересохшим извилинам... В слова это можно было оформить примерно так:

1) Искупаться, переодеться — и умереть...

2) Как все же примитивно устроены мужчины, в них есть что-то от лошадей: скачут неумоимо, лоснятся потом, а потом смотрят, хрустя вечерним овсом, печальными человеческими глазами, как будто и впрямь могут что-то понять...

3) Что же все-таки делать с вещами, вернее, без них, в чемодане и рюкзаке было, можно сказать, «все и только» — лишь самое нужное, без чего даже на фронте не обошлись... И зачем только мы поддались на обещания этих услужливых социальных ребят, что, мол, наши манатки придут машиной вслед за нами. Надо было тащить на себе, как эта жлобская бабка — свой неподъемный сундук, и не развешивать раскрывшиеся розовыми гладиолусами, доверчивые к первому теплу уши... вот оно, первое крепкое столкновение с немецким порядком... Один из прибывших, уже чуть-чуть лопочущий по-немецки (тогда казалось — соловьем заливаётся), дознался-таки: в воскресенье в аэропорту дежурили студенты, они, отдежурив, тут же забыли о нас, и теперь ни одна организация земли Хессен не собирается отправлять нам наши фамильные драгоценности (главным образом полотенца, трусы и майки), так как мы приписаны к другой земле, а ни одна организация земли Баден-Вюртемберг не желает связываться из-за нас с землей Хессен и гонять туда за красивые глаза дорогостоящий транспорт... Словом, теперь все это были, как говорят на Западе, «наши проблемы», причем, если даже с первого же пособия (обожгло чудом и стыдом впервые в жизни не заработанных денег) завтра рвануть во Франкфурт, мы все равно не найдем там своих (мамино словцо) бебихов, потому что никакой квитанции из камеры хранения у нас нет. А за каждый новый день, по слухам, надо платить в астрономическом шелесте еще не понятной валюты... (В магазин, например, первым отважился войти проголодавшийся сын и, одолжив у кого-то десять марок, притащил хлеб, крупу, мясные консервы и сдачу вместе с восторженным репортажем: «Представляете, все есть, никакой очереди, даже не отмечался, просто купил!..» Просто купил... С тринадцати лет он честно выстаивал за хлебом и сахаром, привычно подставляя ладошку, на которой какой-нибудь еще прочно стоящий на ногах пенсионер, взваливший на себя нелегкое бремя поддержания законности в очереди, рисовал, послунявив, чернильным карандашом двухзначный, а то и трехзначный номер... На полки с бананами и ананасами сын, как оказалось, даже и не взглянул, как-то не пришло в голову...)

Так вот, брели мы с мужем по таинственному парку и вдруг — где-то там, впереди, — холодным стальным лезвием по глазам — каски...

Не добродушные советские каски, похожие на перевернутые солдатские миски, вроде той, что хранилась под отдохновенной кроватью у Вани Чонкина (Ну да... А Венгрия, Чехословакия, наконец, Афганистан?..), а именно те... Те самые...

Одна... Три... Пять... Целая дивизия... И голоса...

Господи, почему в ушах «Ахтунг! Ахтунг!» — и методичный стук солдатских сапог: «айн-цвай, айн-цвай»?..

Слабая, мертвенно светящаяся луна дорисовывается мгновенным воображением в зловещий череп, сапоги стучат уже прямо в виски: «айн-цвай»... Бежать!

Стоп... За касками полыхает в остановившиеся от страха зрачки машина обыкновенных стихийных бедствий: пожарники отдыхают... Шланг, висясь по траве толстым безобидным ужом, тихо сползает в воду...

Душа медленно возвращается из пяток на свое привычное место (на какое именно, этого я никогда не могла понять, потому что если она на месте, то ее просто не замечаешь, не чувствуешь, а ежели она, как говорится, болит, то болит почему-то везде, во всем ноющем при каждом шевелении теле).

А в щеки ударяет откуда-то изнутри жгучая пожарная краска... Я всегда ощущаю приливы стыда в темноте и одиночестве. Мне совершенно не важно, что никто не поймал меня как за руку за нехорошую мысль... Человек сам ответственен перед собой, как, может быть, перед Богом, за все грехи, содеянные им в мыслях или в воображении. Поэтому я люблю хирургически точного Ницше. Он тоже не миндальничал ни с кем, ни с целым народом, ни с одним из своих мучительных «alter ego». Иногда кажется, что он писал не пером, а сверкающим скальпелем...

Разумеется, широкую распространенную нелюбовь к немцам («боши», «фашисты») можно легко объяснить двумя затеянными с их стороны мировыми войнами. И если умница Бисмарк (опять же немец) сказал, что каждый народ достоин правительства, которое он выбирает, то достоин он, народ, и отношения к себе согласно своим деяниям...

Стук сапог у меня в висках полвека спустя — еще один обвинительный акт, неумышленно предъявленный Германии. А сколько таких молчаливых и никому не известных нюрнбергских процессов проходит — судорогами — в каждой еврейской, тоже неглупой, согласитесь, господа воинствующие антисемиты, на всю жизнь насмерть перепуганной голове...

Нет, национальность не «надевают», она — кожа. И еврейская кожа имеет глаза даже на спине: я всегда чувствовала каждый недоброжелательный в этом абсолютно бессмысленном смысле (ну и что с того, что еврейка, могла бы и чукчей родиться) взгляд. И в тот год этот особенный взгляд слишком часто обжигал спину в раскрепостившемся во всех отношениях Ленинграде... Это было страшнее, чем неслыханное убийство в так называемом Доме творчества: какой-то русский писатель убивает какого-то русскоязычного писателя, то есть еврея, ножом при всей, полагающей себя почтенной, публике... Маньяки были всегда и есть везде, но именно там, где концентрация этих взглядов вдруг превышает обычную общечеловеческую квоту (ибо антисемиты тоже есть везде и всегда), маньяки перестают прятаться и даже осмеливаются карабкаться на правительственную трибуну... Мне вдруг пришло в голову, что ответственность за это дикое преступление должен разделить с безумным убийцей наверняка репутационный и уравновешенный автор нового литературного термина, а именно: «русскоязычные писатели»... Ну да ладно. В возможность погромов я все-таки не верила: не подходит для этого, мягко говоря, неделикатного дела «Невы державное течение, береговой ее гранит...» и никогда не подходил. В том-то, наверное, и причина моего относительного спокойствия: в отсутствии подкожного опыта...

Другое дело — они... Хотя немецких фашистов я видела только в кино, и то мельком, когда туда водили со школой, потому что сперва просто не любила фильмов «про войну», а потом уже сознательно отметала от себя все, что в искусстве называлось «соцреализмом», но я обожала отца, а существенной частью его жизни была, как это ни ужасно, война...

И когда я в детстве с трепетным замиранием прикасалась к отцовским медалям (в мандариновом блеске их мнилось что-то церковное, ну, конечно же, православное, потому что деревенская няня водила меня к заутрене), представлялось, как едет он с войны все эти, до моего вселения в мир, два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который с нехорошими словами спотыкались в темном коридоре снующие взад и вперед соседи по коммуналке...

Водрузив флаг над рейхстагом (я всегда как бы пририсовывала отца к примелькавшемуся газетному фото), он был назначен комендантом (Дантом?..) какого-то загадочного немецкого «бурга», откуда и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за «мягкотелость», то есть за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми...

Теперь вы легко можете подчитать, если еще не разучились загибать пальцы и ходить за хлебом без калькулятора, что именно последнее обстоятельство и позволило мне через определенное время сообщить о своем появлении на свет...

Сделала я это, судя по маминым устным мемуарам, громко, решительно, тогда как родители, наоборот, онемели от счастья...

В первую минуту они увидели во мне еще не меня, а своего первенца, Валу, который не стал в семье старшим, потому что скончался трех лет от роду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбежками на Урал, как червь — в безопасную глубь земли... Мама, схоронив его где-

то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей нижнетагильской многотиражке от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке и рванулась на фронт, к отцу, под крыло — в смерч...

Через границу Германии она переступить не смогла. Очевидно, боялась собственной ненависти...

Вернулась измученная в измученный город, в маленькую комнатку на родной Петроградской, где после всех потрясений, после синюшной блокадной зимы, ставшая полупрозрачной соседка встретила нежной горсткой фиалок в граненом стакане и... рыданием извинений, что два родительских стула все же сожгла, когда уж совсем околевали от холода...

Какая-то, я бы даже сказала сегодня, патологическая порядочность, и ведь не у немцев (еще один миф), а у самых что ни на есть наших, вернее, наверное, у многих — в том далеке... Нравственность поколения, не развращенного знанием...

Увы, в какой-то мере действительно так, потому что поверхностное знакомство с философией общества и психологией личности бросает в рыхлую почву только зерна разврата. Убийца, наскоро пролистнувший Ницше, осыпет наивных господ присяжных такими невероятными аргументами в свою защиту, как будто он — невинный младенец или сам — с небесной прописной — Судия... Тем более что господа присяжные обыватели обожают демагогию. Не потому ли и выходят из зала суда — сюда, к нам, — под сентиментальные слезы умиления своих завтрашних жертв матерые мародеры... Их адвокаты изошрены в софистике.

Стоит ли напоминать культурному читателю — а некультурный на эту повесть плюнул, хорошо если не в буквальном смысле, с первых же строк, — что Ницше в этом не виноват... И что Вагнер не посвятил Гитлеру ни одной своей самой капельной ноты хотя бы уже потому, что умер в предыдущем столетии... Один не шибко трезвый защитник прав человека заявил как-то в гостях, что терпеть не может «нечеловеческую музыку» Ленина, машинально приписав вождю пролетариата похваленную им и ни в чем не повинную «Аппассионату» Бетховена...

Но в ту пору — пора бы уже и вернуться, пусть еще не в Германию, но хотя бы в то странное учреждение по имени загс, в аббревиатуру, которая расшифровывается не менее загадочно: запись актов гражданского состояния, — мою окруженную розовым чепчиком голову, признаться, еще не тревожили все эти чудовищные вопросы, и она просто с любопытством озиралась вокруг, чувствуя себя в полной безопасности на руках у папы.

Там меня зачислили в славный человеческий род, не забыв, впрочем, вписать в свидетельство о рождении, что и мама моя, и папа начинаются с ехидной буквы «е», то есть что я всю расстелившуюся передо мной жизнь буду еврейкой, даже если изо всех сил постараюсь стать очень хорошей девочкой...

И вот тут мы подходим, может быть, к самому главному. Обозначили меня в честь бабушки, папиной мамы, которая не могла этому порадоваться, так как фашисты сожгли ее живьем в сарае в белорусской деревне, вместе с двумя мальчиками, Борей и Сережей, которым суждено было — было бы — стать моими двоюродными братьями...

А это значит, что в какой-то мере я проживаю и бабушкину жизнь — веду связанную узелком в порванном месте ниточку дальше...

Стоит ли удивляться теперь, что если она, эта ниточка во мне, вдруг натягивается до предела, до звона — где-то в затылочной части слышится снова рокот войны...

«Ахтунг! Ахтунг! Айн-цвай!...»

А тут еще эти злополучные каски...

Но я решительно отбрасываю со лба прилипшую прядь, чтобы смахнуть сразу одно с ней и жуткое наваждение, и густо краснею в безлюдной темноте парка...

— Ты чего? — спрашивает муж, наконец заметив что-то неладное...

— Да так, ничего, просто голова разболелась...

И думаю о том, что, подумать только, как должны себя чувствовать наши здешние ровесники, если через поколения, после стольких взаимных объятий, на бессознательном все-таки остается лежать это зловещее пятно, тень свастики, будто отражение въевшегося, впившегося в песчаное дно краба... (И чем прозрачнее вода — тем отчетливее это раскоряченное клеймо.) И еще я почему-то вдруг думаю, что если тихому, остепенившемуся человеку все время напоминать о его детской, пусть не провинности, но даже юридически отбитой виновности, или тем более напоминать об этом его детям, то чаша терпения может когда-нибудь переполниться: «Вы хотите нас видеть снова **такими? Ну что ж!..**» (И не провоцируем ли мы сами, весь мир, и в том числе неутешные, понятно, евреи, немецкий народ на новый круг ада?..)

Если бы все они, немцы, и даже русские, понимали, что значит чувствовать ЭТО кожей, чувствовать под всеми транспарантами, при всех брудершафтах, если бы могли ощутить этот холодок отчуждения вокруг, и этот липкий, отвратительный страх, сползающий по спине... Совсем маленький, незаметный, потому что я — не из робких: могу, если что, и врезать по-русски, от всей души...

VII

Надо было как-то начинать жить, а как?.. Как, если ты физически не можешь засыпать в коллективе? Если бы мне сказали тогда, что ровно три года, 365 ночей, помноженных на три, больше тысячи раз я буду мучительно звать сон, особенно сладкий потому, что в нем исчезает все: и нары, и железный привкус крепко-накрепко стиснутых зубов, и знобящее чувство бездомности, бесприютности, будто дождь забивает мокрые гвозди тебе за шиворот, и весь этот абсурд и кошмар, называемый эмиграцией, — я бы, наверно, повернулась на 180 градусов и бухнулась в ножки нашей формуляролкой, кажется, не имевшей глаз, во всяком случае, я их не заметила, ленинградской паспортистке... Или, наоборот, терпеливо ждала, купив с полочки (к пособию постепенно привыкаешь как к заработной — заработанной тяжким трудом — плате) отрывной календарь и каждый вечер вырывая из него с хрустом еще один мучительный день...

Каждое утро коридор, а потом и двор (или же в обратном порядке) замирали от какой-нибудь грандиозной новости... То всех отправляют в Берлин, где каждому дают по Оперному театру или бывшему музею для проживания — в качестве компенсации, потому что канцлер Коль сказал, что немцы перед евреями сильно провинились. («Я подарю тебе Большой театр и Малую спортивную арену».) То, напротив, шлют в глухую деревню, где на тридцать германских верст не сыщешь врача. (Забегая вперед, скажу, что, если убрать числительное как явное преувеличение, то именно такое случалось, причем, как назло, с бывшими жителями российских столиц, людьми без провинциального напора и апломба.) То всех (ну, конечно же, всех, а как же иначе, советский человек не может воспринимать себя как отдельную особь) отправляют обратно в Россию, потому что там, говорят, уже нет такого опасного антисемитизма. То, наоборот, завтра же всех нас вывозят в Америку, потому что там его, антисемитизма, *еще* нет. (Наверно, потому что квота по приему евреев невелика.)

У меня не было никогда и мысли уехать в Израиль. Эта странная страна являлась мне не Землей обетованной и даже не Храмом Гроба Господня, а чем-то вроде одесского Привоза, наспех воздвигнутого на экзотических песках близ Ашхабада. Ассоциация, которая могла вырасти только из действительно счастливого детства в огромной стране...

Но вернемся к нашим евреям...

Нет, не зря все-таки ходят слухи, что синагога дрожит от ужаса перед евреями, приехавшими из бывшего СССР. Это же, мол, отъявленные атеисты, безбожники... (Хотя именно себя я бы к безбожникам как раз и не отнесла, как

и себе подобных, не клянчащих у Бога, а готовых оказать ему посильную помощь в его нелегкой работе по духовному воспитанию человечества.) То есть, возвращаясь к синагоге, не здание, конечно, дрожит, оно крепкое, серое, похожее на КГБ в Ленинграде, и так же просвечивается насквозь телевизорами, во избежание, говорят, провокаций, а у национальных функционеров последние волосы встают дыбом, и в первую очередь у раввина...

Когда он нанес первый визит в хайм (игрой этимологического случая немецкое слово, обозначающее дом в значении «домой, дома», звучит как типичное еврейское мужское имя), головок в черных шапочках, кипах, накатилось во двор столько, будто толпа — это одна дубовая крона, вся в желудях. Слышно было, говоря по-еврейски, ни одного слова, непонятно даже, на каком языке он кричал, доносился только какой-то злобный захлебывающийся лай. Кто-то из добровольцев (среди евреев всегда находятся желающие разъяснить смысл решений сверху другим евреям, потому что никто другой, кроме евреев, их слушать не станет) донес до всех и каждого, что раввин обещал вызвать полицию, если недовольные приемом в Германии будут митинговать и жаловаться. И что рефреном было: «Зачем приехали? Вас сюда никто не звал!»

Судя по его свирепой мимике, в это можно было поверить, хотя я лично предпочитаю верить собственным, не забитым серой догм и ватой слухов, довольно-таки чутким к оттенкам и переливам слова ушам. Но, повторяю, в это легко было поверить, так же, как и в то, что самого раввина чуть было не хватил кондратий (интересно, как это выражение можно перевести на немецкий?), когда он, исполнив субботнюю молитву, вышел в «трапезную» и обнаружил там «гарного» детину, торопливо досасывающего из горла последний сосуд кошерного вина. (Предыдущий катился по полу раввину в ноги с порожним жалобным звоном.) «И это — еврей?!» — с ужасом воскликнул раввин, на мгновение отпрянув, и тут же услышал исполненный другой местечковой гордыни ответ: «Не, мы хохлы!» Сей обладатель звания контингентного беженца, то есть бедняги, чудом спасшегося от угрозы погромов на Украине, еще не привык к тому, что теперь он — как говорила моя мама — «аидише», а не какой-нибудь «гой»... Сказывают, что раввин, тут же придя в себя, схватил его за шкирятник и вытолкал в зад ногой за тяжелую дверь Божьего храма. А заодно и его несчастных жену и дочку, которая вскоре сошла с ума на уроке молитвы в католическом интернате.

Мне только неясно, почему они все не могут понять друг друга: ведь и те, и другие стараются взять от жизни весь ее алкоголь: водку, деньги, недвижимость, машины, престиж — словом, все, что может дать именно ЭТА жизнь, если ее хорошенько потрясти... Впрочем, в конце концов они находят общий язык и по молчаливой договоренности разделяют мир на сферы влияния...

...А жизнь между тем все еще не начиналась... Да и как ей было начаться, когда дом гудел с утра до ночи встревоженным ульем, стояла неслыханная даже для этих мест жара, моя шуба топорщилась на гвозде в углу, как белый медведь, угодивший в Африку...

Вещи все-таки привезли, обнаружился не то какой-то общественный шеф, не то одинокий охотник за одинокими женскими сердцами, совмещающий приятное для себя с полезным для переселенцев, некто выше среднего роста и возраста, улыбчивый Генри. Благодаря его усилиям и автобусу встреча с багажом наконец состоялась, на глазах у вновь обретших свое прошлое (у кого-то там были старые драгоценные фотографии, у кого-то — запятанные от таможи в утюг бриллианты) блестели слезы умиления, молодая пухленькая профессорская дочка осыпала лысину доброхота спелыми благодарными поцелуями. К счастью, по-русски он не понимал, потому что она тут же громко объявила, что еще один месяц такой жизни — и она будет готова выйти замуж за Генриного папу...

У нас на чердаке вдруг образовались две свободные койки, в горле приятно заглохило, как от льдинки в бокале, от нескольких проскользнувших в его туннель дополнительных кубиков кислорода, но уже утром в помещении по-спортивному вшагнули (о, ужас, сейчас вторая длинная нога упрется огромной, неизмеримого размера, кроссовкой в противоположную стену, в одуванчиковую головку сумасшедшей старухи) и представились он и она, Костик и Таня, юные геофизики, ленинградцы, симпатичная пара с отнюдь не еврейским оптимизмом и крепким, еще не расшатанным чувством юмора. (Именно чувство юмора поможет Костику впоследствии, когда он подзаработал в качестве, точнее, в шкуре медведя на городских праздниках и «дитюрцумахера», дежурного на воротах местного дурдома, написать на двух, даже на трех, включая английский, языках диссертацию и стать доктором наук, а также представителем одной немецкой фирмы уже — обратно — в России.)

С их прибытием в нашем удушливом гетто, невзирая на прежнюю тесноту, значительно посвежело, во всяком случае, для меня...

Я не оговорила, употребив это слишком много говорящее каждому еврею слово. Таково было мое субъективное ощущение. Маленький концентрационный лагерь, откуда каждое утро плачущие провожающие помогали кому-то сносить в поджидающий у ворот микроавтобус громоздкие советские чемоданы и раздувшиеся, как дирижабли, одинаковые синие сумки, купленные по дешевке в турецком, разумеется, магазине. Постепенно всех отправляли из временного распределителя (привет их распределителю от нашего накопителя) дальше, кого куда, но мне почему-то казалось, что, когда этот чистенький белый домик без окон, на пористых, влажных после машинной бани колесах отъедет подальше, в сторону леса, — в него пустят газ... Казалось без всяких, повторяю, к тому оснований, разве только по тонкой зависимости восприятия от предшествующего опыта, при том условии, что мы включаем сюда и опыт генетический. Но, видно, и остальным, не знакомым с завихрениями доктора Фрейда, тоже чудилось нечто такое, похожее, иначе чего же плакать при расставании в свободной стране, в которую так стремились? Соскучитесь — так поезжайте друг к другу в гости, благо Германия невелика, не больше средней по площади республики бывшего нерушимого...

Так вот гетто с появлением молодежи обернулось обыкновенным студенческим общежитием, в нем появились легкость временности, налет небрежности по отношению к собственной жизни, да и вообще кто в висящей над жизнью мансарде задумывается о будущем?..

Мы пили вино, стучали с Костиком в четыре руки на двух пишущих машинках, сидели посреди всего этого бедлама, между жующих и бреющих, и вспоминали наперебой старые анекдоты, а вокруг нас уже выскакивали, как шампиньоны из-под земли, новые, местного производства, те, что нарочно не придумаешь...

Молодая дама, как выяснилось потом, врач из Москвы, требовательно постукав, что, учитывая нашу густонаселенность, было немножко смешно, решительно вошла к нам на чердак с большим, дочерна исписанным с обеих сторон листком наготове.

— Здесь принимают жалобы?

— А вы, собственно, по какому вопросу? — заняв деловитую и немножко самодовольную позу, осведомляется Костик и незаметно мне подмигивает: мол, сейчас начнется, включайтесь в игру...

— По вопросу нашего невыносимого существования! Мне сказали, что вы тут пишете. Я тоже написала, правда, от руки и по-русски...

— Ничего, ничего, мы и переведем, и напечатаем, и в правительство передадим, — утешает ее Костик и торжественно принимает петицию, ища глазами, куда бы ее приткнуть или засунуть. (Везде валялись чьи-то носки, гребенки, печенье.)

Особенно вдохновило меня его обещание перевести: мы как раз хором разучивали «ауф видерзеен»* и «дас веттер ист гут»** по привезенным из России кассетам.

(Если бы какая-нибудь ясновидящая, каких во всем мире развелось вдруг видимо-невидимо, накуковала бы, напророчила мне тогда, что уже через три года я напишу книжку стихов на немецком языке, а через четыре — две мои немецкие книжки будут здесь, в Германии, изданы и в здешних газетах меня уже начнут называть немецкой поэтессой, я бы скорее всего удостоверилась, что это все-таки «Пряжка», нормальный сумасшедший дом.)

Между тем «дас веттер» была действительно «гут», синее небо и желтое солнце восхищали детей компьютерной яркостью красок, взрослые же с деловым видом копошились, суетились и возмущались, а жизнь, повторяю, не началась. (Беру на себя смелость утверждать, что не только моя. Многие из приехавших в то раскаленное лето начнут жить в полном смысле этого слова лишь спустя несколько медленных зим, когда начнут понимать, о чем щебечут немчата в трамвае, переедут в отдельные квартиры, кто-то найдет работу. А кто-то так и не начнет жить уже никогда...)

Домовитая, хлопотливая супруга профессора-диссидента, больше похожая действительно на чью-либо супругу, чем на преподавательницу математики, впрочем, она о работе здесь уже и мечтать не смела, радовалась простым радостям приготовления заграничной пищи и радушно зазывала новых знакомых то на тушеного гуся, то на какой-то невероятный суп. За ее оптимизмом угадывалась не животная сиюминутность мироощущения (пожрали — и уже хорошо), которая, кстати, спасает людей с куриными мозгами от многих трагедий человеческого бытия, а некая основательная философия: она принимала жизнь такой, как есть, помнила, что евреи — всегда скитальцы, верила в молодежь... «О, наши ребята еще рванут, еще тряханут Германию», — говорила она, разделявая на тесной коммунальной кухне гуся и имея в виду, разумеется, не мафию, а интеллект физика Костика, программиста Миши, прозванного адвокатом за желание дойти до сути всякого немецкого закона и документа, и даже свою, явно недооцениваемую ею Ниночку, которая в конце концов выйдет замуж не за Герриного папу, а за молодого и симпатичного адвоката, немца, и станет сама неплохим экономистом. Унаследовав, кстати, и эту хлопотливую домовитость.

Поселили их в отличие от нас не на чердаке, а, наоборот, в подвале, всего две семьи вместе, зато без окошек. (Фрау вьетнамка, очевидно, узнавала интеллигента по тому характерному гнилому запаху, который безошибочно чувствовали в советских парткомах, и у нее тоже этот запах, настоящий на беспомощной деликатности, вызывал раздражение и желание навредить как только можно... Все мы не без основания поеживались от перспективы оказаться в деревне.)

А пока Инна Леонидовна украшала гуся морковными звездочками и, хотя совершенно не понимала, почему я не то чтобы не хочу, а почти совсем не могу есть (гусь ведь такой сочный, с янтарной корочкой), все же не обижалась и делилась со мной планами:

— Абрам Семенович уже старый, почтенный, наконец я смогу купить ему настоящий талос...

А сам предмет ее забот, профессор, курил во дворе с мужчинами (просилось написать «с мужиками», но к пожилым евреям этот термин как-то не клеится) и нетерпеливо кричал мне в окно кухни, чтоб вышла... Потому что раздобыл у кого-то и на мою долю блок «Столичных», всего за пять марок, то есть по себестоимости. (Он уже понял, что я курю, даже не как сапожник, а как целая обувная фабрика, и никакого пособия мне при здешних ценах на сигареты явно не хватит.) Я наконец выскочила, прервав на полумечте монолог его же-

* До свидания.

** Хорошая погода.

ны, и в ответ на вопрос, о чем мы с ней так долго болтали, нечаянно объявила (во всеуслышание!), что Инна Леонидовна собирается купить ему... фаллос! И, похолодев от всеобщего замешательства, пролепетала что-то насчет почтенного, назвав его второпях преклонным, возраста...

Думаю, что это была оговорка без тени лукавого Зигмунда. Просто, наверное, античные термины расположены у меня в голове ближе к вкусовым рецепторам языка, чем символы иудаизма. И с этим придется считаться тому, кто решил все-таки сопроводить автора до конца его труднопроходимого, хотя местами и забавного повествования...

VIII

Пáрило. Хотелось ливня, и не просто хотелось, а дрожало внутри всеми фибрами, звенело всеми натянутыми струнами навстречу стихии, которая так или иначе вот-вот грянет, так уж лучше скорей... Будто по-мазохистски предвкушалось уже, как хлестнет мокрыми ивными струями по лицу, — крепкая, вовремя вlepленная пощечина иногда может молниеносно привести в чувство. Во всяком случае, я бы рекомендовала такой нетрадиционный метод лечения депрессии тем, кто легко разнюнивается и перестает делать дело. Лучше всего просто подойти к зеркалу, увидеть свою отвратительную, землистых оттенков, унылую физиономию — и вмазать по ней, собрав все силы в кулак.

Но в большом, как каток, зеркале были видны одновременно все обитатели чердака, чьи отражения могли бы обидеться на столь есенинский жест и заподозрить во мне «черного», в каких-то других кавычках или попросту через «ё», а не интеллектуальное «о», не совсем адекватного человека.

...Утро просыпалось медленно, с хрустом костей и шорохом целлофана, потягивались, завтракали — словом, все, как обычно, точнее, как стало уже привычно...

В 10.00, согласно образовавшемуся самим собой распорядку, сгучивались возле названной так мною «стены плача», примыкающей к двери администрации, и читали, привстав на цыпочки, пытаясь перепрыгнуть глазами через плечи первых и третьих, только что прикнопленный список... В коем были перечислены отбывающие сегодня по не известному никому, и в первую очередь им самим, всегда одинаково пугающему новому адресу. (Быть может, так же замирала душа в прозрачном тельце, в проступившем рыбьем скелете, который переправляли, скажем, из Освенцима в Заксенхаузен или — наоборот... Человек постепенно принимает форму окружающего его кошмара, и другой, еще не знакомый, предстоящий кошмар кажется ему не таким комфортабельным.)

Список читали с замиранием сердца, и каждый, кто не нашел там свою фамилию, победоносно взглянув на лица «приговоренных», отходил не торопясь, с видимым вздохом облегчения... Ибо судьба в лице все той же вьетнамки и ее вечно пьяной помощницы местных кровей подарила ему еще один день покоя: несколько часов хвастливого каляканья в знойном дворе (почему-то все собравшиеся здесь были, по их собственным отзывам, в той, предыдущей жизни, «крупнейшими» и «ведущими») и еще один поход в местный дешевый магазин «Альди», где, к слову пришлось, нещадно обсчитывали, так что получалось в итоге едва ли не дороже, чем закупиться в более уважаемой — и уважающей своих клиентов фирме, например, в «Нанц». Но чтобы не просто щегольнуть всеу английской поговоркой «мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи», а полностью осознать ее правоту, советскому человеку нужно созреть.

Период моего лично созревания завершился только недавно, очевидно, соразмерно всегдашней опасливой нищете, поэтому я продолжала посещать «Альди» и остаюсь ему благодарной за полученные там вместо положенной сдачи уроки немецкого языка. Именно там, а не позже, на языковых курсах, сдала я свой первый экзамен.

Когда мне недодали в кассе уже сорок, а не как накануне, только десять или пятнадцать, из меня вдруг посыпались вместе с выворачиваемыми обратно из тележки продуктами немецкие слова. Они клокотали в горле и выпрыгивали одно за другим. Монолог быстро захлебнулся сам в себе, не только от явной недостачи слов, но еще и по причине неопытности моей в этом жанре, именуемом в просторечии скандалом: тем не менее кассирша, видимо, прониклась, потому что швырнула-таки в сторону моего лица четыре соответствующего значения бумажки и с тех пор больше не обижала.

Это была весьма существенная новость: здесь, где не нужно стоять в очереди, надо уметь постоять за себя. Надеяться в капиталистическом мире на чью-то совесть — это все равно, что, прогуливаясь без ружья по животрепещущим джунглям лазурного океана, уповать на совесть встречной акулы.

Забегая вперед (только бы кончилась когда-нибудь эта повесть временных лет о переезде на постоянное место жительства), поспешу рассказать еще об одном уроке (вдруг кому-нибудь пригодится в качестве опыта?), после которого я наконец обрела дар речи, причем речи и чужой мне, и чуждой: немецкой по форме — и требовательной по содержанию. Это случилось, когда обстоятельства, не экстремальные, в жизни только одно экстремальное обстоятельство — смерть, но, мягко говоря, щекотливые, вытряхнули меня из привычного, как неприметный, дождливого цвета, драповый пальтукан, всегдашнего моего комплекса виноватости, притом явно усилившегося в Германии, где тебе платят, получается, за то, что ты еврей. Как будто еврей — это какая-нибудь нужная и полезная профессия...

Произошла эта история месяца через четыре, в столице земли Штутгарте (у раздробленных некогда государств сохранилась феодальная мания своего обособленного величия, перекинувшаяся теперь и в Россию), в неприметном городе Штутгарте, где автор этих сердитых мемуаров живет и по сей день, и живет, вопреки собственным ожиданиям, счастливо (но еще, к еще большему своему счастью, не настолько счастливо, чтобы все к черту бросить и рвануть куда-то в другое место, где опять будет пронизывающе и восхитительно скверно).

Мы уже ходили каждое утро на языковые курсы и ждали не унижительной социальной помощи, а стипендии от биржи труда. Ждали месяц, ждали другой...

Но, когда в кошельке тихо, деликатно всплакнули последние пфенниги, надо было уже побеспокоиться... И я нанесла решительный визит в огромное здание, именуемое «Арбайтсамт». В этой цитадели тишины и порядка тысячи служащих с одинаковыми водянисто-студенистыми глазами сидели за плотно закрытыми дверьми и смотрели в слепые квадраты мониторов. К одной из таких дверей я и заняла очередь, выяснив, кто войдет следующим, потому что здесь не принято спрашивать, кто последний.

Впрочем, мне было тогда не до филологически-психологических тонкостей. В ответ на мое нечленораздельное бормотание, все же уловив из моего неподражаемого мычательного блеяния главную мысль, потому что слово «гельд» понимает здесь каждый, даже младенец, а тем более государственный служащий, последний посоветовал мне пойти «нах хаузе» и ждать письменного ответа. (Как будто я не ждала его уже 61 день.)

Я еще понятия не имела о типичных приемах немецкой бюрократии, отработанных в ежедневной борьбе с посетителями: они как бы не слышат вас, никаких ваших разумных доводов, как бы изысканно вы ни изъяснялись, а смотрят сквозь вас, как сквозь стеклянную дверь, обнажая в улыбке безупречные фарфоровые клыки, и повторяют, как для полуглухих или для полных идиотов: «Вартен зи битте, вартен... пер пост, пер пост!...»* Но поскольку я точно знала, что хлеб «пер пост» не придет, и не понимала (этого я не

* «Ждите, пожалуйста, ждите... По почте, по почте!..»

понимаю и сейчас и не пойму никогда), почему нужно исхитряться превращать благодеяние в муку, в пытку, в казнь унижением, этот мудрый совет меня не удовлетворил...

Правда, прежде чем мы с вами, читатель, перейдем в следующий кабинет, мне бы хотелось добавить справедливости ради, что в то время служащие всевозможных учреждений еще не получили инструкций, как надо обращаться с евреями из России и приравнивали нас то к бесправным азылентам (перебежчикам через границу под видом туристов), то полноправным аюзидлерам, эмигрантам из той же России, но немцам, приехавшим на свою историческую родину. А без инструкции чиновник, сами понимаете... Тем более немецкий чиновник... Вскоре неразбериха с документами прекратилась, и евреи стали контингентом «флюхтлинг», то есть навсегда полуправными жителями Германии, если так можно выразиться, а выразиться можно, увы, только так. И еще я пойму, что тысячи работающих бездельников, пропускающие через себя бездельников безработных, все-таки хотят не хотят, а делают полезное дело, постоянно перепроверя друг друга и донося по начальству. И что, вполне возможно, эта история, отлежавшись в одной из тысяч канцелярских папок, рассосалась бы впоследствии сама собой, как беременность...

Но в литературе то, что объективно, — совершенно не интересно, и читателю будет гораздо любопытнее узнать, что в голове у меня замигали тогда, как в приборе, тревожные вишневые лампочки: «Надо найти директора!..»

Ну да, по-немецки директор — тот же директор, только «херр», но попробуй найти этого... нет, нет, вы не так подумали... господина в учреждении, похожем на город, с десятками проулков и закоулков...

Служащие, у которых я пыталась спросить, издевательски ухмылялись...

Наконец, пройдя, как сквозь строй, сквозь ухмылки и смех, остановилась. Мелькнуло: надо потихоньку пошуськаться с какой-нибудь из уборщиц. Малые мира сего любят вершить судьбы из уголка своего скромного положения. Опыт еще не научил меня, что здесь и на уровне половой тряпки интриги такие тонкие и ядовитые, что куда там нашему самому центральному конструкторскому бюро или отделу культуры при исполкоме... Наоборот, мэр, хозяин города, или канцлер, начальник страны, могут себе иногда позволить быть порядочными людьми. Их за это уже не съедят. А чем ниже, тем гуще и человеческая низость...

Но мне повезло! Одна дружелюбная швабра действительно указала мне нужное направление, скрытую от посторонних глаз лестницу на самый верхний этаж.

Нажав кнопку, я замерла в ожидании, и через несколько десятков сердцбиений до меня донесся громкий барственно-механический баритон — как из космоса в фантастических, прежде всего по своей глупости, голливудских фильмах. Понятно, что он осведомлялся, кто там посмел ЕГО потревожить.

Вдруг испугавшись, что сейчас, как всегда, начну запинаться и дверь не откроется, именно от испуга, громко и покровительственно произнесла свою фамилию так, как будто он обязан был ее вспомнить...

Кажется, это он и пытался сделать, потому что уже менее уверенно спросил:

— Фон вэм зинд зи гекоммен? (От кого вы, стало быть, пожаловали?)

И тут я набираю полные легкие воздуха и выпаливаю по-немецки:

— Ихь комме фон мир. Дас ист нихт цу вениг? (От себя самое, значит, и считаю, что этого более чем достаточно.)

Сезам открылся...

Я проскользнула сквозь тяжелое дыхание анфилады (в государственных учреждениях используется система соединенных между собой кабинетов, наверное, для того, чтобы служащие могли друг за другом шпионить, а то и кидаться всей толпой на одного слишком докучливого посетителя), и, наконец, ка-

кой-то безликий, как все они, но запомнившийся, потому что еще и безрукий, явно еще не директор, но уже кто-то из заместителей заместителя главного заместителя выслушал мою печальную повесть и затребовал по селектору папку...

История наша распутывалась, надо сказать, около часа, как увлекательный детективный сюжет. Оказалось, что от социоламта (собеса, по-нашему) пришло некое письмо, в котором уведомлялось, что херр такой-то, являющийся моим супругом, взял у них ни много ни мало, а ровно 3 (три!) тысячи марок, вроде бы в долг. И поэтому арбайтсамт должен перевести деньги на социоламт, а не нам...

Это был бред сумасшедшего или, что более вероятно, какая-то афера, какой-то междусобойчик учреждений, где что-то все-таки не сработало, какая-то ниточка подвела, потому что вовсе без денег в Германии не остается никто, даже распоследний бомж на вокзале; и это — великое достижение ругаемого на всех углах, точно так же, как и в России, правительства. В России бы, правда, такое правительство расцеловали, и не только бомжи... А уж что социоламт — не соседка и таких денег за здорово живешь никому не одалживает, было ясно даже арбайтсамту в лице моего постепенно все более просыпающегося собеседника. У него даже лицо на минуту появилось, выглянуло из-за формуляра: да что же это в самом деле такое?..

Это была сокрушительная победа. К начальнику социоламта, извивающемуся возле стола ужом, я ворвалась фурией и потребовала объяснений.

Он лепетал, что, мол, зачем было сразу к шефу, такой занятый человек, а лучше бы сразу к нам, мы бы денег дали, да и сейчас, пожалуйста, можно сразу эти... три тысячи...

Неожиданно для самой себя я вдруг окончательно выскочила из серенькой заячьей шкурки собственных комплексов и потребовала письменного извинения; а деньги, мол, пусть придут, откуда положено...

Что самое удивительное, извинение уже назавтра было получено «пер пост», напечатанное на бланке с печатью и заверенное подписью «ужа», который глубоко сожалел о недоразумении и больше претензий к моему «херру» не имел...

Вот с тех пор я и «зашпыхала», зачирикала без остановки, будто зайка, с которого шоком сняли стресс... И еще долго болтала бойко, пока не поняла, что все равно это — детский лепет, и, хотя немцы то и дело нахваливали мой язык, угрюмо замолчала как раз тогда, когда и вправду пора было заговорить. Глупые и пошлые собеседники опротивели, а с единственным не глупым и не пошлым пути наши круто разошлись.

Но это уже будет совсем другая история, когда-нибудь в следующий раз, потому что отсюда до нее еще год, еще переезд в столицу земли, за решетку, на свой собственный страх и риск, причем более всего — на страх...

Я окончательно поняла, что нам не избежать деревни, куда уже отправилась семья профессора-диссидента (и откуда потом два года, с четырьмя переездами, выбиралась в любой город, где есть университет и больница).

Проводив самых близких нам хороших людей (многие вокруг плакали, мои же глаза в таких случаях становятся сухими, как лезвия), мы с Костиком на следующее же утро отправились в Штутгарт и уже через час стояли на голом дворе, между жутковатых бараков, голова кружилась от тошнотворных запахов кухни на двадцать или сорок, это уже без разницы, обгорелых конфорок, от кучи в коридоре, о которую мы споткнулись (кто-то из проживающих здесь азылантов не умел или не хотел — в знак политического протеста — пользоваться туалетом), негров было — как черники на августовской полянке у нас под Сосново (хоть на один денек бы — снова туда, воспаленной щекой — в мокрую зелень с крупными бриллиантовыми каплями холодной минеральной росы); завершала же этот, согласитесь, весьма экзотический ландшафт в центре Евро-

пы, вернее, открывала его, но мы от волнения не сразу заметили, решетка при входе во двор с вахтером-надзирателем. Словом, не лучше тюрьмы. И мы твердо решили здесь остаться...

Интересно, что ни в одну из двух имеющихся у нас голов даже не пришлось спросить о двух отдельных комнатах, по комнате — на семью, мы просто не могли больше с теми, другими, со всеми вместе, и через пятнадцать минут вылетели от начальника этого человеческого зоопарка совершенно счастливые, заполучив огромный, как нам казалось, метров тридцать чердак, поделенный пополам двумя сломанными шкафами. Это был в нашем понимании настоящий дворец.

Я не знаю, что подумал о нас тогда этот симпатичный и доброжелательный комендант. Скорее всего что-то не совсем приличное, хотя здесь, очевидно, вполне привычное...

Нам же было, как вы понимаете, совсем не до группового секса...

IX

...И случилось невероятное. Бережно, будто боясь расплескать, будто живую воду в ладошке ковшиком, несла я серебряно мерцающий (там, где еще не сожрала ржавчина) ключик от нашей, только нашей и ничьей больше комнаты. Тане же с Костиком (мы еще не успели их усыновить, а они нас развратить) был вручен другой, точно такой же, так же сверкающий, и все мы сияли, как будто выиграли в лотерею по автомобилю...

Верша литургию, творя давно забытый обряд, проворачивала я свой волшебный ключик в замочной, похожей на миниатюрный женский теневой силуэт, скважине, вот еще несколько последних пьянящих градусов и...

В глазах у меня потемнело... Но не от пережитого волнения, а от какой-то посторонней спины, внезапно выросшей между нами и нашей, только нашей и ничьей больше комнатой. Отодвинув нас несколько переспелым, но еще крепким, способным к борьбе торсом, как выяснилось позже, соседка слева, из Львова, втиснулась в образовавшуюся при открывании щель и встала в дверях.

— Ну, не больше, чем у меня,— удовлетворенно выдохнула она, измерив взглядом открывшиеся ей, а не нам, апартаменты, и наконец посторожилась...

Волшебство исчезло.

Я поняла, что мы здесь не одни, что хайм уже начал наполняться всеми нами, евреями (поющие же и танцующие по ночам негры постепенно куда-то исчезали; над ними витало незнакомое мне слово «трансфер», я еще не летала в Россию через Будапешт и не знала, что это — транзит, но негры пели уже не так радостно, уже вроде бы плачуще, как евреи в знаменитом цыганском театре «Ромен»), и еще мне стало сразу же ясно, что ни от соседей, ни от тараканов не спасут даже крепостные стены: и те, и другие вскоре поползли, кто — в дверь, кто — под дверь, целыми семьями...

Тем более не могли защитить нас эти стены, фанерные, исписанные бранью наших предшественников на английском и югославском, весьма относительные стены, одна из которых, всегда влажная, примыкала к уборной, и вскоре я уже могла точно сказать по доносившимся оттуда увертюрам, а также по интенсивности и силе дерганья веревки над унитазом, кто посетил примыкающее помещение,— так люди, наделенные тонким музыкальным слухом, по первому содроганию клавиш узнают композитора...

Так начиналось...

Соседка справа, разумеется, из вездесущих Черновиц (здесь и везде сначала я указываю расположение комнаты, а потом уже — родины, потому что меня, как вы понимаете, больше беспокоит первое обстоятельство, а в тех же Черновцах родилась и поэтесса Роза Ауслендер, а не только баба Валя, как ее все называют, потому что иначе как-то и не назвать...). Так вот, баба Валя собственной, как говорится, персоной... Кулак еще требовательно бомбит дверь, а все остальное тело уже расплозлось по комнате и дышит у меня за спиной:

— Посмотри, какое я мясо достала, просто красавица!

И эта «красавица», которую тут совсем не надо доставать, добывать, выставлять, что лишит в конце концов многих приехавших смысла их жизни, и они начнут вдруг чахнуть, вянуть, морщиться, а то и помирать не на шутку, эта «красавица» уже пласталась на моем новеньком учебнике немецкого языка, отворачивательно мочась кровью...

В нашу первую встречу хаузмастер выдал мне измочаленный веник с таким точно совком, какой подразумевают некоторые выметающиеся из страны Пушкина и Достоевского соотечественники, когда говорят о других своих соотечественниках; затем последовали три белые советскостоловские тарелки, на каждый рот — по одной, а также, в таком же комплекте, гнутые алюминиевые вилки и ложки, совсем не скользкие от жира, который почему-то все же казался, мерещился, клеился к их виду... На этом сервис был исчерпан, и я расписалась за солдатские дерюжные одеяла, видимо, антикварные, потому в Германии сейчас таких днем с огнем не найдешь, даже на помойку выбрасывают обычно пуховые или яркие, в цветочках, собачках и кошечках, тоже своего рода синтетические «красавицы», которых у бабы Вали накопилось уже ровно 13... (Каждый вечер, ложась спать, она разрушала эту знаменитую на весь хайм башню и переносила сооружение со своих нар в угол комнаты, если позволяли собранные за день на улице мешки с одеждой. А если угол был уже занят до потолка, спала так, без удобств, по-походному.)

Тут мы должны на минутку отвлечься, потому что забыли бабу Валу у меня в гостях, а на самом деле она давно уже удалилась с обиженно поджатыми губами, потому что на сей раз нанесла визит не только из-за мяса, но и по причине маленькой житейской просьбы, а именно: написать в синагогу и в правительству, что ее родственница, проживающая здесь же, по этому самому адресу, не была в гетто, хотя получила за это кругленькую сумму немецких марок... Такой некрасивый термин, как «донос», бабе Вале явно не понравился, и она отвалила во двор, где уже жаловалась на меня своей — той самой — родственнице.

Что, впрочем, не помешает ей скоро прийти опять, чтобы продемонстрировать (а то и подарить) новую — из тех же неиссякающих источников — кофточку.

Справедливости ради вынуждена добавить, что вина тут не столько ее и не столько всех остальных со-домцев (!), тоже считавших своим долгом «отметиться» у меня с каждой новой добычей, виновата была сама моя комната, вернее, ее расположение, по несчастливому стечению обстоятельств дверь наша находилась при входе в коридор с лестницы, в двух шагах от кухни (это была вторая стена), и мы всегда оказывались первыми, с кем хотелось морально поделиться «уловом», а потом можно уж и в пищеблок с мешками одежды, креслами, телевизорами, потому что уж где-где, а там всегда кто-то есть...

Так вот, добродушный хаузмастер, а также спящий в будке вахтер и стали моими собеседниками, хотя, слушая их, трудно было не вспомнить анекдот, «Мань, а Мань?» «Ну, чего тебе?» «Мань, а Мань?...» «Уговорил, речистый...»

Эта дружба оказалась полезной и в другом отношении. Во-первых, я узнала, что, если бы вахтер не выбросил только что свой телевизор — и вправду, зачем ему три? — он бы его обязательно подарил мне, что, согласитесь, уже приятно.

А во-вторых, но давайте сначала уж я дорисую общую картину, открывающуюся тому, кто входит сюда впервые, как один американский фотокорреспондент, которого, говорят, выдворили с полицией...

Два дома в архитектурном стиле «барокко» смотрели друг на друга в упор, разделенные всего несколькими метрами. Между ними деловито курсировала крыса, подметая длинным хвостом то, что не домел хаузмастер. Думаю, что это была та самая крыса, которая жила в непрсыхающей душевой со сломанным

крючком, этой крысы всегда стеснялся инженер из угловой комнаты, потому что она садилась на подоконник и наблюдала во все красные бусинки, как он моется. Один раз он, узнав меня по шагам, даже попросил позвать жену с полотенцем и прогнать извращенку... Словом, мне было почему-то приятнее думать, что никаких других крыс у нас не живет, хотя если бы вдруг на свет вышли все разом, я могла бы, наверно, эту и не узнать... Так вот, два дома жили, как сообщающиеся сосуды, одной жизнью, потому что общительным обитателям вскоре перестало хватать только ближайших соседей, и тут пора рассказать еще об одной стене нашей комнаты.

Это была главная стена, с окном, под которым гудела гармошка теплоцентрали. Да, да, пела на разные голоса и дышала жаром, очевидно, помогая августу, прогревающему воздух только до тридцати градусов. Чтобы не томить читателя дальше, а то он, того глядишь, и расплавится, поясню, что здесь когда-то отломался регулятор, и впоследствии хаузмастер нам его установил (вот и пригодилось хорошее отношение), очевидно, сняв в другой комнате, у кого-то из новеньких. Так что по этому поводу — никаких претензий, в ноябре мы могли уже смело отключать отопление.

Вот только со стеной опять не повезло. Мое окно смотрело прямо в комнату дома напротив (занавески у хаузмастера кончились, а на помойку их как назло не «завезли»), и у меня перед глазами маячил идиот. Он был не злой, дружелюбный идиот, он бессмысленно улыбался утру, дню, вечеру и соответственно мне. Только оторвешь покрасневшие глаза от учебника — и упираешься в эту блуждающую улыбку... Однажды прошибло холодным потом: почудилось, будто смотрю не в окно, а в зеркало и улыбаюсь...

Я бы почти с нежностью вспоминала об этом штутгартском хайме, как о последнем островке социализма, каких и в России-то уже, верно, не сыщешь, если бы не видела в нем памятника Немецкого Отношения к Ненемцам...

Не случайно прижились здесь нары, вызывающие у меня совершенно определенные ассоциации.

В общем, уже через пару недель возвратился ко мне синдром стремительного закрывания глаз при пробуждении: а вдруг все это исчезнет, вдруг я окажусь в своей уютной ленинградской квартирке?..

Тщетно. Надо заставить себя встать. В окне, как и вчера, как уже два нескончаемых года подряд, — идиот...

У идиота были старенькие мама и папа, они называли его Васей, водили гулять за железную решетку, покупали лакомства. Вряд ли Вася отличал колбасу от банана, но он чувствовал, что его любят, и ему было хорошо... Нехорошо было маме, диабетчице, живущей Васей и еще инсулином, от инъекции до инъекции, не имеющей ни сил, ни нахальства осаждать квартирное ведомство; она просто заполнила аккуратным почерком учительницы английского все нужные формуляры и терпеливо ждала, когда же подойдет ее очередь на социальную квартиру. Но жизнь показывала, что двух инвалидов удостоверений на семью из трех человек, видимо, недостаточно, наверно, те, что переселяются в квартиры, имеют шесть.

Ждала и парализованная переводчица с немецкого Вера, которую ежедневно вывозили в коляске во двор подышать примыкающей к забору фабрикой стекло и цементной пылью близлежащего комбината. Жили они втроем в одной четырехместной, чуть было не написала — палате и все время боялись, что им еще кого-то подложат, то есть подселят.

У нас тоже накопился ворох медицинских бумаг, детский врач недвусмысленно предупреждал, что сыну смертельно опасно находиться в зоне детских инфекций (а инфекции густо порхали по двору на слюдяных крылышках жирных чугунных мух), и даже увенчал свою справку восклицательным знаком, чтобы обратить на нее внимание равнодушных к сути, но чутких к бюрократической пунктуации чиновничьих глаз...

Все мы сидели и ждали, с замиранием сердца подходя каждое утро к маленькому окошечку возле оградки, из которого нам, как в больнице кашу, выдавали свежую почту.

Ее вручение приобрело ритуальный характер, один серого цвета прямоугольничек (все уже знали, как он выглядит: в меру упитанный — листа на три, сложенных вдвое, длинный, с отчетливым штампом «Amt für Wohnungswesen» в левом углу) мог в одно мгновение нет, не изменить твою жизнь, ее все еще не было, а вернуть тебя к ней, вырвав из томительного ожидания, которое жизнью назвать нельзя...

Немцы, даже знакомые, квартир эмигрантам не сдавали. Это часто оговаривалось прямо в газетных объявлениях, что меня удивляло, особенно после поездки в Америку: там бы такая информация выглядела как неприкрытый (и наказуемый государством) расизм.

Люди сгребали свои письма, подозрительно косились друг на друга, пытались заглянуть получающему через плечо; выдавая желаемое или показавшееся за действительное, распускали слухи, ссорились, кричали, иногда дрались сговорками, словом, это были уже не совсем люди, но только ли они сами в этом виновны?..

А немецкий «ordnung» все же начал тем временем функционировать, только срабатывал он каким-то странным способом, что приводило двор в еще большую нервозность...

Первой покинула хайм семья крепкая, ладная, боевая, глава которой, жена, заведовала в своей предыдущей жизни ювелирным магазином. Злые языки поговаривали, что часть червонного черновицкого золота перекочевала на пальцы чиновниц, но если даже это было и так, то вряд ли добавило им обаяния...

Автор же должен одинаково любить всех своих героев, в том числе и прозванного во дворе «паном спортсменом» здоровяка с арбузными бицепсами, месяц назад вдруг выгрузившего из автобуса с Украины новую жену, через неделю наставившего ей лиловых слив под глаза (утром они окончательно созрели, и дама немножко комплексовала), а еще через две недели радостно покупавшего для нее и для новой социальной квартиры бесподобное, по словам бабы Вали, турецкое трюмо, все в гипсовых ангелочках.

А идиот ждал... Ну что ж, на то он и идиот...

То есть все это было бы понятно, если бы социальные квартиры не предназначались изначально для старых и хворых. В таком случае было бы все совершенно логично: кто умеет устраиваться — тот и на службу при любой безработице проползет, вломится, просочится и, значит, станет полезным членом общества. А кому же еще должно государство помогать, если не своему активному члену?

И ведь тоже логика, и, признайтесь, знакомая: слабых — в пучину; сбрасывать как никчемный балласт с корабля...

Не зря же, например, преподавателям социалистической экономики министерство немецкого просвещения подтверждает дипломы и научные звания. И правильно: их можно быстренько передрессировать и переадресовать на капиталистическую экономику, в которой все так же, хотя и почему-то наоборот. А, например, недовольного ГУЛАГом диссидента не переучишь, он и здесь будет чем-нибудь недоволен, еще и воду мутить начнет. А кому это и здесь, спрашивается, нужно?..

Скажу вам по секрету, что, весьма вероятно, и там, где мы все рано или поздно встретимся, первыми получают все, что полагается для загробной жизни, те же самые люди...

Потому что и у Господа Бога могут быть свои «амты», которые докладывают ему, что все живут в раю и славят денно и ночью его самого и его мудрую политику.

...Нет, надо было все-таки попытаться застрять в Лондоне...

X

Нельзя сказать что вокруг вообще ничего не происходило, что жизнь как бы остолбенела, обретя форму камня, поставленного на камень, неотесанного — на мраморный пьедестал с металлической надписью «Ожидание Ангелота*»... Для современной скульптуры это было бы, смею добавить, слишком мотивированно, почти старомодно, что-то вроде пережитков дедушки Пикассо...

Муж, отдать ему должное, встрепенулся первым и затормозил меня, радостно узнавая на стенах слово «Kultur» и требуя перевода, что же там, в афише, дальше написано. Я медленно наливалась раздражением еще и по этому поводу, так как терпеть не могу разговоров о духовности, по которой так любят тосковать демагоги и дилетанты; по мне — лучше полное отсутствие картин и спектаклей, чем их досужая провинциальная имитация. Сидеть вечером в абсолютно бездуховной кнайпе, тянуть свое остужающее мозг, янтарное на просвет пиво и наблюдать из притемненного уголка других посетителей — не больше ли в этом искусства, чем вежливо аплодировать деревенской художественной самодеятельности, оседлавшей театральную сцену и орущей до посинения при свете рампы? Другое дело, что нам, эстетам и снобам, слышащим даже самую тонкую, даже почти виртуозную, звенящую скрипичным комариком фальшь, свойственно впадать на этой далеко не идеальной земле в сонную меланхолию, а нашим менее требовательным и оттого более жизнеспособным партнерам — вытаскивать, выволакивать нас за волосы из хандры, в которой так сладко пребывать, будто в детстве сосешь пораненный пальчик с набухшей на нем клюквинкой крови... В общем, благодаря или по вине (вопрос остается открытым) мужниной общительности, прямо-таки феноменальной, если принять в расчет полную неусваиваемость его организмом иностранного языка, у нас образовались некоторые знакомства, которые теперь приходилось расхлебывать.

Так однажды нас пригласили на выставку, совмещенную с концертом, в одно солидное культурное учреждение, расположенное на голубой высоте разреженного воздуха.

Характерно, что искусства здесь почему-то всегда совмещаются друг с другом, как в наших «хрущобах» совмещались ванна с уборной, превращая и то, и другое в нечто не совсем полноценное. Несмотря на свою неизнеженность и спартанское самовоспитание (в юности, прочтя Чернышевского, целую неделю спала на гвоздях, как Рахметов), я все-таки не могла наслаждаться розовыми переливами шампуневой пены (подарок соседки по лестничной клетке, уважаемый была человек, всю жизнь в торговле, три года в тюрьме) в непосредственной близости от вазы, предназначенной для фекалий. Хотя и, располагаясь в ней вальяжно, как в вольтеровском кресле, сочинила не одну книжку на крышке стиральной машины «Сибирь», используемой мною в качестве письменного стола. (А что, посоветуйте, было делать, если родители, извините, но так уж выходит — и это страшно, в этом обыденный ужас нашей тамошней жизни — еще не умерли, а сын уже народился, и получилось нас в однокомнатной кооперативной сразу пятеро, не считая любимой всеми собачки.) Поэтому три с половиной квадратных метра этого немаловажного помещения, когда они не были заняты по хозяйственной или другой нужде, стали в семье совершенно официально считаться моим рабочим кабинетом: домочадцы виновато стучались, если должны были помешать... Очевидно, богатая фантазия дорисовывала мне зеленое поле сукна над нашей «стиралкой» и медную, напоминающую блестящей выпуклой крышечкой купол Исаакиевского собора, чернильницу, виденную в музее-квартире угнетенного царизмом писателя; а что еще нужно для медитации?..

Но там все это было от бедности, от безнадежной скудости нашего быта.

* Предложения.

А здесь ничто не вынуждает поэта выставлять перед литературной гостиной суперреалистический, оттопыренный, как коллаж, портрет своего полового органа, кукарекать под флейту или брэнчать гольшом на фортепиано. Просто он ни то, ни другое, ни третье не научился делать мало-мальски профессионально — вот и завлекает публику на этот сомнительного качества винегрет, ссылаясь при случае на ее же странные вкусы...

Публика, она, разумеется, дура, но все-таки не такая, как ублажающие ее мальчишки. Тем более что нет в германских гарсонах тонкого полунамека милой фривольности, а только одна громко кричащая вульгарность или неприкрытая солдатская грубость. Нет, шалишь, а публику, даже местную, уныло провинциальную, одним пенисом на культурное мероприятие не завлечь, она его, голубчика, 24 часа в сутки по всем пятидесяти телевизионным каналам видит, притом не отрываясь от ласкового, плюшевого, глубокого, как обморок, кресла...

Вот разве что калачом поманить... У меня возникло странное подозрение, что уж не этот ли слегка подрумяненный калач, по-здешнему — брецель, а также бокал дареного вина и гарантируют успех поэту или художнику. Иначе с чего бы тащился усталый немецкий бургер в другой конец разбросанного — белыми щепотками по холмам — города на какую-нибудь выставку, где на стене висят, как бригада самоубийц, пять-шесть, извините, даже не картинок, а картонок, по которым густо размазан кетчуп художественного воображения автора. А вот и он сам, застенчиво улыбающийся и немножко надменный, и все чокаются с ним и друг с другом, и сейчас скажут, что все было чудесно, и, чокнутые, с трещинками улыбок на сияющих лицах, побредут по домам...

Такое иногда ощущение, что немецкое общество дружно впадает в детство. Бегут, играя в догонялки, двадцатилетние, длинные, как размотанные спагетти, юнцы (итальянская кухня здесь более популярна, чем Рафаэль, и вообще самые раскупаемые книги — все же поваренные), резвятся в открытом бассейне, брызгая друг в друга из водяных пистолетиков и громко радуясь, если попали. И, видимо, именно они должны всегда стоять, вернее, бежать перед лицом творящего, потому что завтра они выйдут на пенсию — и станут публикой.

Зато здесь ни один Гайдар в 15 лет полком не командовал, и вообще все, что может причинить людям неудобство и вред, например, революцию, они экспортировали к нам...

Так вот, возвращаясь обратно в то солидное культурное учреждение, на выставку, совмещенную с концертом (вечно меня заносит не туда, куда надо, и выходит в итоге какая-то расхристанно-колючая дикорастущая эссеистика-памфлетистика вместо аккуратно оболваненной парковой повести; ну ничего, редакторы в наших издательствах еще, будем надеяться, не перевелись), и что же мы там, на выставке, торжественно принаряженные (муж — при «краватте», а я — при броши), имеем честь лицезреть?

Пока еще ничего, кроме толпы других приглашенных и, разумеется, брещелей. Ну откуда мне было знать, с моим всего-навсего годовалым тогда европейским стажем любительницы искусства, что наваленные в углу кирпичи с ветошью и цементом — не грязь, оставшаяся после ремонта, которую просто не успели убрать, а что это и есть то самое главное произведение искусства, из-за которого весь этот симпозиум-консилиум и собрался.

А тут еще с потолка каплет, методично и взвизгивая, будто допотопная бормашина в зубоучебном кабинете. Ну, совершенно не приспособленное помещение, не зря говорят, что экономит правительство на культуре. (А культура, как утверждает мой муж, — это будущее всего человечества.)

Вот тут меня и угораздило спросить у радушного директора учреждения, который всех лично обошел со своим бокалом, и нас, к сожалению, тоже, где же все-таки будут выставка и концерт, потому что в этом помещении ждать как-то неуютно...

Нет, положительно ничего, кроме неприятностей, мне мой довольно быст-

по распускавшийся (как цветок на естественно удобряемой почве) немецкий язык не приносил. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, что не получила никакого музыкального образования, и по консервативности своей привыкла считать, что музыка — это когда стонут, рыдают все органы звонки в стройном теле собора или уж на худой конец если водит кто-то по струнам одинокой веточкой, а у тебя в глазах влажные сады полыхают...

Словом, больше нас туда, сами понимаете, не приглашали, а концерт «Wassermusik» — водяная музыка (могла бы и догадаться) — минут через десять иссяк.

(Помните анекдот про милиционера, чье донесение заканчивалось так: «...И даже на пороге отделения милиции гражданин Г. продолжал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года, — имелся в виду закон, запрещающий гражданам испражняться на улице, — и только перед кабинетом начальника отделения перестал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года, и то не потому, что осознал, а потому, что иссяк. И потому прошу выдать мне новую гимнастерку и сапоги».)

Надо бы мне из Ленинграда, из нашей забытой «Готтом» котельной, ржавый кран захватить: тут бы им в одном предмете и эротическая скульптура, и целая филармония.

XI

Оглядываясь на того грустного советского милиционера, нельзя не отметить (с чувством глубокого, если даже еще не полного удовлетворения), что проблем с обмундированием здесь, в Германии, нет.

По-человечески жаль и его, и себя самих — там, в том далеке, где зимнее пальто не покупали, а «строили», а чулок штопали до тех пор, пока это уже становился не чулок, а сплошная художественная штопка, затвердевшая, как гобелен, и натирающая до боли и красноты истоптанную за день, долго еще пылающую под приятным холодком простыни пятку. Но к биологическим мучениям я лично, так же, как романтики всех времен и народов, относилась стойчески, можно даже сказать, что я их просто не замечала. И никаких комплексов по такому ничтожному поводу, как тряпки, в моем упоительном, я имею в виду духовно упоительном, окружении не было. Это в чопорном Берлине Марина Ивановна шокировала салонную публику своим, мягко говоря, не очень респектабельным ватником, а в России, в моей России, людям всегда смотрели в глаза, а не в значок фирмы на заднице.

Тем не менее я вдруг мимоходом, неожиданно для себя с облегчением отметила, что могу уже не стирать дважды в неделю в хаймовской прачечной, где всегда сидят местные кумушки и норовят со своей круглосуточной лавки втянуть стиральщиц в беседу, а вот это для меня действительно было мучительно. Одежды же набрался как-то сам собой целый сломанный шкаф... Обратите внимание на парадокс, заключенный не только во фразе, но и в своеобразии всей нашей новой жизни: она была похожа на сломанный шкаф, из которого торчали яркие ненужные тряпки.

Во-первых, здесь всегда можно было наведаться в кладовую «Красного креста», где две, так сказать, крестовые дамы, похожие друг на друга, как две загогулины одной свастики, видимо, сестры, скрипя зубами по поводу зачистивших русских: «Пришли, победители, побираться...» (в другой стране «жидовские морды» стали как бы «русскими мордами», заполнив ту же нишу народного недовольства), все же предлагали нам кое-что из сразу послевоенных штанов и ботинок, залежавшееся на складе. Понятно, что те, кому не нравились туалеты или смысл приветствия, могли повернуться и больше не спотыкаться об этот порог. Но не тут-то было... От холявы господ советские эмигранты так легко не отказываются, даже если их с ног до головы оплевать; что-то все-таки достанется, тем — заодно — и вытрусся... Зато если уж кто из русских, то есть евре-

ев, «возникал» (а евреи не «возникать» не могут, за это их все и не любят, и автор тоже), что, мол, турки целыми кагалами без очереди прут и мешками лучшую одежду уносят, ежели кто совал свой длинный нос куда не следует, его быстренько отправляли домой: и не только в хайм, а непосредственно туда, откуда приехал.

И даже, наверное, правильно делали, потому что в открывшемся позже продуктовом магазине, где всех неимущих — без национальной или какой-либо иной дискриминации — встречали по-королевски, благодаря каждого за покупку (арбуз — 1 марка, яблоко — 10 пфеннигов плюс улыбка и благодарность), именно этот настырный народ, почувствовав слабину, начал воевать за «улучшение снабжения» и «культурное обслуживание потребителя». (Куда уж культурней — разве еще только приседать в книксене и целовать покупателей в щечки при входе и выходе, если бы это не было так противно.)

Потому что советский еврей просто так, сложа руки, сидеть не может. Он или связан по рукам и ногам, что, несомненно, как-то ущемляет его права, или переделывает мир в обозримом для него радиусе.

Пожалуй, большой, воистину революционный размах выказала баба Валя, которая ничем не возмущалась, наоборот, всем восхищалась и попросту «экспроприировала экспроприаторов», опережая машины «Красного креста» и самовольно собирая мешки с одеждой прямо на улице, куда их заблаговременно выставляли дисциплинированные жители города.

Она каждый день меняла наряды, сочетая мальчишковые футболки с килограммовыми, сумасшедше блестящими клипсами, и была по-своему счастлива только иногда, в свободное от этой благородной «охоты» время, вспоминая, как ким «большим человеком» был ее покойный супруг в обкоме партии...

Каюсь, один раз (ведь и в тюрьме иногда просыпается желание пошутить, ведь еще все-таки не могила) я похвалила ее «шабат-туалет», выбранный ею (разумеется, из мешка) для посещения службы в синагоге. Футболка была — «Посмотри, какая прелесть и даже не ношенная...» — просторная, черная, а на ней ярко, оглушая глаза красками, один серебристый мышьяк дрючил свою распластанную по ткани ушастую подругу, оттянув ей алые, в ослепительный белый горошек трусики.

Вернулась баба Валя с торжественной литургии вся черная (не иначе как раввин высказал ей свое отличное от нашего с ней мнение), мрачная, как футболка с изнанки, и еще несколько дней мне посчастливилось прожить без демонстрации мод.

Что же касается шпермюлей — организованного городского выкидыша ненужных вещей, то здесь понемногу, ну хоть по капельке, хоть по одному разику грешны все, и вчерашние академики, и даже сам брезгливо брюзжащий автор, уже потому хотя бы, что это было загадочно и непредсказуемо: что же выбрасывают здесь люди из своей жизни?.. Увы, не только сломанные или даже еще «тянущие» пылесосы и надоевшую мебель. Из-под проливного дождя я спасла, согрев за пазухой, совсем уже даже без кавычек расклеившегося Генриха Гейне, приютила «Доктора Живаго» на немецком, а однажды споткнулась о целую библиотечку новых романов. (Впрочем, бегло пролистав их дома, поняла, что на сей раз все было сделано правильно, туда им и дорога.)

Должна честно сказать, что жизнь эмигранта (если, конечно, урчащее, постоянно облизывающееся, как моя кошка, существование можно назвать жизнью, но критерии ведь падают не только в искусство), переселенца, начинающего ее — в экономическом смысле — с нуля, была бы и вовсе сказкой, если бы выполнялись все замечательно писанные законы. Только вот для кого они писаны? Наверно, для тех же маленьких людей, над которыми смеялись когда-то в «желтых окнах» и которые все еще трудятся с утра до вечера на больших предприятиях. (Потому их, этих людей, и не видно, можно даже подумать, что их в Германии нет.) Что же касается законов этических, то они,

видимо, хранятся здесь в запасниках библиотек, как у нас прятались от нас (не сами, конечно) потрясающие студентов (и, что самое ужасное, основы общества) немецкие философы. Такое впечатление, что абсолютное большинство немцев понятия не имеет о том, «что такое хорошо и что такое плохо». (Может, от них это скрывают из соображений гуманизма: чтобы не узнали и не пустили все разом себе пулю в лоб, как Маяковский.) В результате моего, чисто любительского, правда, исследования, выявилась только одна закономерность, совпадающая, как и следовало ожидать, с правилами немецкой грамматики и выраженная моральной формулой «Das ist gut für mich». Что означает: «Это хорошо для меня», — а подразумевается, стало быть, что, значит, и вообще «хорошо»...

И посему, мой читатель, не раздражайся на вряд ли интересующие тебя подробности эмигрантского быта, не сердись на бесцеремонно появляющихся и долго не уходящих героев; тебе все же не придется терпеть все это целых три года. А если уже невольно, если подступает к горлу тошнотворный комок, но если ты при этом все-таки нет-нет, а вздохнешь, куда же, мол, подевался поэт и философ, я могу дать тебе все тот же штутгартский адрес...

Там, правда, никто не знает моего настоящего имени, но оно и к лучшему. Спросишь тетку из 435-й...

XII

Но что проку с того, что нас с детства учили только хорошему, например, никогда не брать чужого, что вору в дикие (но отнюдь не с этической точки зрения) времена даже отрубали руку?..

Однажды к хайму вдруг подъехал полицейский автомобиль...

Кумушки зашушукались, шлепанцы зашуршали, жители высыпали под разными предлогами во двор. (Самое печальное, что и мужчины тоже. Если мужчина проявляет дворовое любопытство, то это уже несомненная деградация.)

И тут одна, не хочу акцентировать, но опять-таки черновицкая бабенция стала в один час своего рода знаменитостью того самого тихого городка, с которого мы много страниц назад начали сие малоподвижное путешествие, а сейчас снова вернемся туда, потому что эта не совсем красивая, как вы уже догадались, история произошла именно там...

Помните дешевый магазин «Альди», где нас нещадно обсчитывали? (Я уже, по счастью, забыла, но не обо мне сейчас речь.) Видимо, кассирше не нравилось, когда обманывает не она, а ее (так почему-то всегда бывает в жизни), и потому она схватила бабку за сумку, в которой ярко синели не предъявленные к оплате джинсы. Бабка захлопала, но ничего, кроме уже упомянутого товара и названия улицы проживания, расположенной через три долгих аллеи от магазина, вытрясти из нее не удалось.

К оправданию любопытных на этот раз надо добавить, что ее во дворе знали все, причем знали не столько в лицо, сколько в ноги, хотя никто, даже Костик, старым бабкам в ноги не смотрит: ну что там увидишь, кроме корявых пальцев и вздувшихся вен?.. Но эти ноги сами, можно сказать, бросались в глаза своим ярким, малиновым, светофорным — поверх грязи — педикюром...

На сей раз все вынуждены были обратить внимание на ее глаза, из которых лились неостановимые слезы. Она неуверенно спускалась на землю из машины, бережно поддерживаемая под руки двумя юными полицейскими...

А потом вызванный для ведения дипломатических переговоров, знающий с детства, хоть и понемногу, пять языков, как бы исполняющий обязанности дворового рабби почтенный дед Исаак, глядя в землю и пылая лицом пуще ее ногтей, переводил стражам закона весьма странную версию.

Бабка клялась и божилась, что джинсов не крада, а просто взяла домой, чтобы ее дед Иван примерил, и, если не подойдет, принести обратно...

Каюсь, я была неправа, заявив, что немцы не уважают старость. Мальчики в темно-зеленых форменных куртках, все внимательно выслушав, принесли ей свои извинения за оскорбление подозрением и укатили.

А уж что ей сказал старый Исаак, когда они скрылись из слышимости, вы можете себе представить, потому что русским он тоже владел с детства...

Я все время забываю признаться, что в моей угрюмой и даже зловещей памяти есть один довольно-таки веселенький закоулочек, где откладывается — всегда на потом — смешное, забавное, наверное, на еще более черный день в жизни. И эта вот смехотворная запасливость и всегдашняя готовность к последующим, непременно последующим неприятностям, не менее подтверждают мою национальную принадлежность, чем затребованные синагогой метрики.

Вот и сейчас, спустя несколько лет, я вдруг вспоминаю, как здесь же, в Эслингине (пора назвать городок, с которым столько связано и о котором столько сказано, и в котором мы благодаря бабе Липе, назовем ее так, опять очутились), зачитывали мы на том самом чердаке (читатель мог его уже и забыть, но обитатель — никогда в жизни) вслух письмо Таниной мамы из Ленинграда. Зачитывала, понятно, сама Таня, а мы с Костиком заслушивали и буквально валились на нары от смеха, потому что мама волновалась, не скучает ли девочка без рояля и спрашивала, не попытаться ли его сюда — по железной дороге — доставить... Именно рояля нам всем тут и не хватало, разве что воздвигнуть его во дворе и созывать весь хайм на утреннюю зарядку.

Или та замечательная история, когда Костик впервые поехал в Мюнхен, собрав паспорта у всех желающих встать в русское консульство на учет. (Вопрос этот имел принципиальный характер, многие мечтали о немецком гражданстве, а кое-кто не представлял себя без России, какую бы она ни была.) Спросив у первых же попавшихся навстречу пацанов про нужную улицу, которая оказалась недалеко от вокзала, а значит, в криминогенной зоне, он нечаянно забрел в темный привокзальный туннель и угодил в облаву на наркоманов. Длинный, в джинсовых с пижонской бахромой шортиках, озирающийся по сторонам круглыми кроличьими глазами, русский парень показался полиции подозрительным. В общем, лицом к стене, руки назад, за спину! При обыске в его рюкзачке вместо ожидаемого какого-либо опиума для народа была обнаружена другая крамола, стопочка чужих паспортов, перетянутая советской аптечной резиночкой, которые он, путаясь в незнакомых словах, комментировал более чем странно: «Да, это я... А это моя жена... А это кто? Это тоже из Ленинграда, мы живем вместе... Да, все вместе... И ее муж тоже... И те трое...»

Или еще одна встающая перед глазами трогательная сцена. Место действия — все тот же хайм. Действующие лица: та самая, уже оправившаяся от испуга и, будем надеяться, исправившаяся бабушка Липа и ее муж, которому не подошли джинсы. Сейчас они сидят в комнате отдыха от отдыха (отдыха в помещении после отдыха на природе) и, образно говоря, бачут коммунальный фернзеер (здесь и везде я не перевожу понятные каждому еврею слова).

И тут он нежно наклоняется к своей, как всегда, нещадно размалеванной турецкой косметикой половине и произносит следующую, ставшую крылатой фразу:

— Мы с тобой уже старенькие, все может случиться... Если кто-то из нас умрет, я уеду в Америку.

Вот что такое не придуманный литературный, а живой натуральный еврейский юмор...

Забегая опять далеко вперед, скажу, что уехал он вскоре не в Америку, а последовал за своей старухой на местное, пока еще не большое еврейское кладбище. Небольшое, потому что своей смертью евреи в Германии начали умирать не так уж и давно, так что до нашего приезда никакого столпотворения покойников здесь не наблюдалось. Но где возникаем мы, там почему-то всегда возникают и очереди. И главное, каждый обязательно хочет влезть раньше других.

Это еврейское качество известно всем, и в первую очередь самим евреям. Потому по такому жизненно важному вопросу было незамедлительно принято решение еврейской общины. Я своими глазами читала в протоколе правления: «...обсуждали два вопроса:

1) быстрейшая адаптация эмигрантов из бывшего СССР и 2) расширение общинного кладбища. (Принято единогласно.)»

Ну да что к словам придирается... В общем, я не возражаю против этого кладбища, хотя наши Пулковские высоты, откуда папа город для меня защищал и где теперь лежит, опять в тесноте, в одной узкой траншее с мамой, мне чем-то роднее...

Но умирать я пока все равно не имею никакого римского права: нужно еще получить квартиру в Штутгарте или хотя бы Нобелевскую премию мира за эти воинственные записки. (Если уж Арафат получил, то мне и сам Бог велел.)

Да и продолжительность жизни здесь, в Германии, воистину фантастическая: по телевизору до сих пор выступают розовенькие, как ангелочки, очаровательные старички из гитлеровской obsługi и, доверительно улыбаясь, рассказывают всем нам, какой фюрер был, в сущности, добрый мальчик, как любил их всех и даже свою собачку... Получается, что так же, как мы — нашу, когда ее еще не отловила «живодерка» с синим крестом и когда папа еще не упал, весь в орденских планках, на пол, с пеной у рта...

Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье — как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лика...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
И нежно цветет земляника...
И совестно вымолвить что-то еще
На этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец, со щек,
И небо становится бледным...
И с места не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в черном торопит, строга...
А женщина в белом исчезла...

ХIII

Счастливый все-таки писатель был Сергей Довлатов... Никогда не обременил себя ни мучительными раскопками прошлого, ни закрученными спиралью прострелами в будущее; два-три острых штриха к портрету, живой, выпуклый диалог, согретый иронией,— и готово! И все это при всем при том — чистой воды Литература.

Когда-то брели мы с ним по Чугунной, окраинной ленинградской улице, что на Выборгской стороне, по заросшим лягушачьей зеленью ржавым рельсам — два разных состава, оказавшихся рядом на запасных путях русской литературы, и он мечтательно шурял на неделимое чистое небо. «Хочу,— говорил,— быть капелькой в мировой культуре, хочу в ней раствориться...»

Желание его исполнилось, и, к счастью, не полностью: довлатовская капелька не растворилась — она поблескивает, как маленькая жемчужинка, по-немецки — «Die Perle», «перлы» его героев цитируют даже здесь, хотя они трудно поддаются обработке твердыми германскими буквами. Теряется живое тепло согретых за пазухой строк...

А мне почему-то обязательно надо вникнуть, найти первопричинность причинности ни с того ни с сего случившегося или случиться могущего, в раз-

лохмаченной кроне моей шелестят, перешептываясь, разноцветные ассоциации. А уж что касается стиля...

Подлежащее и сказуемое разделены, как шекспировские влюбленные, многочисленными Монтекки и Капулетти, вздорными и противоречащими друг другу членами сложносочиненного и подчиненного минутному чувственному капризу предложения. Целые страницы запутываются в тропах, как парашютист в стропах, пока наконец не приземлишься сломя голову...

В таких случаях лучше всего продезинфицировать организм баллончиком пива и наложить на воспаленные глаза примочки из «Улисса», а потом медленно, с блаженной улыбкой перейти в то плывущее состояние, которое так помогало еще на Родине при острых приступах самоедства.

Утешительная мысль нашептывает, как Арина Родионовна, что утро вечера мудренее. Не мудренее, а именно мудренее. (Что могут сделать две точки над одной буквой, один умляют, если не ты владеешь языком, а он — тобой. Поэтому я навсегда останусь русским поэтом, а заслуженный в любовной борьбе с немецкой грамматикой членский билет Союза писателей Германии кажется мне не более чем приятным сувениром.)

Эта ласковая, добренькая старушка — мысль, вынырнувшая столькок упрямцев и гордецов, укачивает мое сознание на знакомый мотив: случаются, мол, писатели и позаковыристей, и подиковинней, а есть и попроще, бывают и вовсе простецкие, четкие, как забор; а ты, голуба, главное, ни на кого не смотри, только уж ежели совсем занеможется — на дно своей пивной кружки...

Сказала — и приумолкла у окна, вяжет поблескивающими спицами чулочек для Александра Сергеевича, или это детский велосипед по комнате егзозит?..

В голове, как на диске «с», набито столько относящейся к прошлому информации, что она выскакивает перед глазами в самых причудливых комбинациях...

Все-таки правильно, что уехали. Вот и компьютер персональный уже имеется, потому что сегодня печатать на машинке — все равно что воду из колодца таскать вместо того, чтобы просто повернуть ручку никелированного кра-на...

А когда ребенок родился, не то что компьютеров не было, не только за колготками в Ригу потом ездить пришлось — марганцовка, и та вдруг пропала, младенца хоть водкой подмывай.

Нет, все-таки правильно, что уехали, невзирая на то, что стучат теперь кони Клодта копытами по виску, изнутри бьют, как будто у меня в голове не Варолиев мост, а декабрьский Аничков скобкой мерцает. И отражаются огоньки набережной в чернильной тьме засыпания, как елочная гирлянда послевоенного детства...

На елку мы вешали бутерброды с любительской колбасой (веселое конфетти белых жиринок), покрашенные в серебрянку орехи и еще мандарины. Как они тогда пахли... Даже сейчас, спустя столько запутавшихся серпантинном лет, этот волнующий запах зимы — и праздника, праздника — и зимы, просачиваясь сквозь тяжелый и серый, как ветошь, прокуренный воздух, щекочет волнующе ноздри.

А сын уже не так подвержен воспоминаниям, хотя зато и простудам тоже. У него вырабатывается иммунитет.

Боюсь, что его дети будут цеплять к потрясенным рождественским веткам действующие модели видеоманитофонов, компьютеров, родителей.

Или у них вовсе не будет елки, потому что все леса к тому времени уйдут на рекламные проспекты, и к тому же от елки много мусора. Разве что синтетическое чучело под каким-нибудь сентиментальным названием...

XIV

...И вот он, мой мальчик, Господи, если бы только можно было с ним поменяться местами, лежит неподвижно и шепчет, будто в бреду, как Чехов, «Ich sterbe...»*, и катится крупная мужская слеза по еще пухлой щеке...

Ну нет, я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, цитата — а как свое, и беспомощность, ну хоть головой об стенку, и согласный, рифмованный стук наших сердец в клинической тишине, как всегда в решительные минуты жизни, жизни, жизни... Потому что он хоть и не читал немцев, но как будто читал, унаследовал эту знобящую интуицию, проникающую за черту Знания, и при этом всегда говорит то, что думает...

«Как я всех ненавижу...»

Вокруг него суетились санитарки с горшками, раздавая пациентам «спасибо» за то, что те опорожнили свой мочевой пузырь или кишечник, над его головой дребезжали стеклянные речи, будто моют посуду после обеда... после обеда... (Ну что, что может быть интересно и важно тому, кто только что, ночью, уже заглянул Туда, где нет ни еды, ни уроков, ни выставок, ни-че-го, и кто сейчас еще на пути Оттуда, как над пропастью — по канату, вздохом бы не сплунуть, слишком громкая капельница...)

Я шепнула ему: «Я понимаю». И больше — ни слова. Пока он не взглянул наконец ясными ВЕРНУВШИМИСЯ глазами...

Мы знали, кого именно следует ненавидеть, но так получалось, что действительно почти всех...

Он уже два дня почти не вставал с нар, температурил, к ночи лицо пожелтело, ноги стали ватными, хлынула рвота.

Вызвали, сбегав на соседнюю улицу — в хайме на двести жильцов телефона не было — «Скорую», через два часа белый халат всадил на ходу, даже не присев, шприц (о, моя спасительная привычка оставлять в блюдце осколки ампул, чтобы утром лечащий врач не гадал на кофейной гуще) и сказал, уже стоя одной ногой на лестнице, что завтра, мол, все пройдет, такой сейчас грипп...

Как мы дождались завтра — не помню, помню только, что поминутно смотрели на часы, и в 8.00 я уже звонила нашему доктору, а еще через час осторожно, останавливаясь едва ли не каждые десять минут — глоток кислорода, потерпи, сынок (это я или врач? кто это говорит? Оба), уже скоро, ехали мы в городской госпиталь. Потому что наш доктор с первого взгляда определил (и побледнел), что этот «грипп» называется сепсисом, заражением крови...

Самое ужасное, что все эти кретины или мерзавцы (если специалист верит мерзавцу, то сам он или кретин, или мерзавец, или то и другое вместе), собираясь — чепчиками — в ромашку над его головой, хором шелестели ему, что никакого укола не было, не было, не было...

И даже профессор, три ночи дежуривший у его изголовья в реанимации, спустившись к нему в отделение (когда главная опасность уже миновала, но оставалось неясным, сможет ли он встать на ноги), не поскупился на дружеский совет забыть об уколе, который ему приснился.

И даже мой знакомый профессор литературы, навестивший сына и подаривший ему книжку Германа Гессе «Под колесами», будто сам он ее не читал или не понял, встретив в коридоре профессора медицины, своего одноклассника, не поленился вернуться в палату, чтобы сказать: «Все хорошо, только забудь про укол, который тебе показался...»

Собственно, я бы вообще ничего не поняла в этих странных интригах, у меня не было сил думать о чем-нибудь, кроме: только бы встал, только бы сделал первый, хоть самый маленький шаг, опершись на плечо отца, а потом уже будет легче, а потом пусть всю жизнь делает все, что хочет, пусть даже женится на какой-нибудь с зелеными волосами, с кольцом в ноздре, здесь таких много, я и ее буду любить...

* «Я умираю...»

Но наш доктор, к которому я зашла поклониться — иначе не выразиться, рассказал, что этот фрукт из «Скорой» трясется от страха, что уже надоел ему и не раз приезжал, утверждая, что никакого укола тогда не делал.

Осколки ампулы пронзительно сверкали на том самом блюде с розовыми цветочками, которое я принесла ему две недели назад...

Он оказался единственным человеком, который не только спас мальчика, но и понял: нам нужен сын, наш родной единственный сын, а не денежная компенсация за него.

Он при мне выбросил осколки в ведро, они прозвенели коротко: «вжик» — как «жизнь»...

И мы оба знали, хотя не сговаривались, хотя он и не читал русскую классику, что если бы (нет, нет и еще раз нет, даже мысленно!), то:

«А мальчика-то и не было...»

Не было... Не было...

И укола не было...

И мальчика не было...

Ничего не было...

Никого не было...

И СЮДА мы ехали, чтобы спасти сына...

XV

Бывают победы, о которых вспоминаешь с легким оттенком сожаления, в чувстве гордости меняется всего несколько букв — и в уголке сжатого рта образуется горечь... Сжеванный фильтр обжигает губу, и вдруг вздрагиваешь от кисловатого запаха жженой бумаги... Вот и все. А как струились кольца самозабвенного дыма, как вытягивались, одно из другого, в колеблющиеся геометрические фигуры, которым не было названия, но зато какой аромат...

Название убивает аромат, мысль припиливается, как бабочка к гербарию, — и мгновенно мертва.

Это не означает, конечно, что моя кошка живет более интенсивной духовной жизнью, чем я, оттого, что ориентируется по запахам и совсем не читает книжек. Многие двуногие следуют тому же утробному принципу: бегут на густой, наваристый дух жирных щей, а когда наедятся до отвала, до треска в туго набитом брюхе, сворачиваются клубочком перед телевизором. Умение говорить еще не отличает человека от животного, если человек может сказать со всей ответственностью только «Я люблю кислые щи». Он вполне мог бы воспользоваться другим средством коммуникации, например, как это делает при каждом удобном случае моя кошка: просто нырнуть мордой в кастрюлю, а потом, так же, как она, интеллигентно снять коготками некрасивые капустные усы, налипшие на треугольничек носа и кисло свисающие с него, свидетельства о глубоком погружении в суть вещей...

По-немецки «Intelligenz» выражает не интеллигентность в нашем, совестном понимании этого слова, а обозначает просто умного, знающего, даже хитрого человека. Именно так. В словарях и это прилагательное — «schlau» — приводится как один из синонимов.

Свинья считается здесь «sehr intelligenz», к чему мне до сих пор никак не привыкнуть. Гораздо понятнее, когда она просто объявляется священным животным, независимо от ее личных (чуть не написала человеческих) свиных качеств.

...Учебник немецкого языка, вернее, скопированные из него для нас листки, раздавал человек лет около тридцати с тяжелым, хмурым, сорокалетним — и вдруг озорным, смеющимся взглядом. И снова смеркалось. Он явно думал о чем-то своем, а не о нас и не о своей учительской миссии.

А я в этот момент напряженно сидела за партой, сияющая, как первоклассница, боясь пошевелиться и спугнуть это внезапно догнавшее меня на крутом повороте жизни, давно забытое счастье: учиться...

Университет кончала заочно, экстерном, наспех, надо было отрабатывать долги за квартиру; благо память была еще молодая, держала с первой зацепки: «проглотишь» учебник — и бегом на экзамен, пока не выветрилось... Один раз даже такси взяла, чтобы не расплескать знания по дороге...

А ксерокс в Ленинградской публичной библиотеке, где всегда любили заниматься студенты, был один. Его охранял милиционер. Для того чтобы получить оттиск с двух-трех страниц (больше не разрешалось), выстаивали две очереди: одну к заведующей — за письменным разрешением, другую — к милиционеру с прибором... А у них множительной техники — как грибов и ягод у нас под Сосново.

Учитель остановился возле меня, мы прошли сквозь друг друга невидящими потусторонними глазами, что-то кольнуло, и его, видимо, тоже. Потому что он на мгновение как бы очнулся, быстро, захлебываясь, заговорил и, не закончив какой-то, разумеется, непонятной мне фразы, махнув с досады рукой, рванулся за дверь...

Я была еще плохой собеседницей...

Учебник меня возмущал. Не правилами немецкой грамматики, разумеется, а примерами, подтверждающими эти правила. Что свинья в нем наделялась таким же эпитетом, как у нас — академик Сахаров, я уже пережила. В конце концов это их собственные прилагательные. Но вот что под фотографией гетевского дома сказано, что здесь жил автор «Фауста», который сам никогда не страдал отсутствием денег, именно так, в одно предложение, — это меня взбесило уже не на шутку. Ибо великий писатель, в какой бы стране ни угораздило его родиться «с умом и талантом», принадлежит не государству, а Времени, причем чаще всего — времени будущему...

Позже я поняла, что немецкому классику еще повезло. Их с Бетховеном хоть и в пфенниг, как говорится, не ставят, но по крайней мере на бутылки не лепят. А уж чужих гениев, особенно русских, ищите в винном отделе...

Одна гимназическая учительница в ответ на вопрос школьника из России, знает ли она Пушкина, ответила радостно и без промедления: «Да, очень вкусно, особенно красная». Впрочем, некоторые здесь предпочитают прозрачную, как мой по этому поводу слезы, водку «Рахманинов».

Из умерших композиторов хуже всех живется, на мой не просвещенный в этой области взгляд, все-таки Моцарту. От него, извините, просто тошнит: и на подарочных коробках, и на сувенирных пакетиках, и даже на самых маленьких шоколадках — везде вам сладко улыбается похожий белыми буклями на только что вышедшего из парикмахерской пуделя, перевязанный шелковым бантиком автор «Реквиема»... Причем реклама — это вам не вернисаж, здесь абстракционизм не пройдет: каждый куделек прорисован, кремовые щечки, сливочные пальчики...

Надо же догадаться так наповал выстрелить в спину поэту, так — на всю смерть — отравить память о композиторе: взрослые в Германии считают Пушкина — бутылкой, а дети Моцарта — конфетой.

Wie süß... Oh, mein Schatz...*

Ненавижу эти слова!

Даже перестала впоследствии видеться с одной немецкой приятельницей, которая не сделала мне ничего плохого, но постоянно слюнявила мои уши своим сюсюканьем. Как только она называла «сладким» мой новый свитер, мне хотелось тут же выкинуть его на помойку. А уж если я сама удостаивалась стать «ее сокровищем», то желваки мои каменели и стоило невероятных усилий не запустить в гостю провокационно стоящей рядом на столике малахитовой пельницей...

* Как сладко... Ох, мое сокровище...

В сущности, большинство неурядиц в моей жизни проистекало именно по филологическим причинам.

Я могла писать хорошие очерки для газет, но меня раздражали их названия, отражающие футуристическую паранойю советского мышления: «Знамя прогресса» и «Рабочая честь». И потому я с чувством естественного облегчения покинула сначала одну, а потом вторую, когда наш гуманный КГБ порешил, что хватит мне уже морочить советским людям их и без того несчастные головы.

Замуж не торопилась оттого, что быть за кем-то замужем звучало мне, как жить за каким-то мужем — как за забором... Но, исследовав всех знакомых представителей сильного пола по совмещенному мною методу Фрейда — Фромма (приходилось уже спешить, потому что маму моей подруги могли вот-вот выпихнуть из БАНи на пенсию, и тогда доступ в запасники Библиотеки Академии Наук для всех нас закроется) и не успев довести обследование до конца, я все-таки поняла главное: бояться нечего. Все равно не я буду за ними, а они — за мной. При любом возможном раскладе. И предприняла, одну за другой, несколько удачных попыток...

О книгах и славе не мечтала. Мне всегда не хватало тщеславия, чтобы взять себя за шиворот и потащить к успеху. Но этот недостаток с лихвой компенсировало кровоточащее по ночам честолюбие. С таким пороком жить гораздо сложнее: мое честолюбие требовало только большого и только действительно заслуженного, я бы, наверное, отказалась от Государственной премии, посчитав, что мне просто фартит и есть более достойные кандидатуры. Государство тоже считало так, и в этом вопросе у нас не было никаких разногласий...

Вот с таким багажом (это его краткое, беглое описание, предназначенное для твоей, читатель, умственной камеры хранения) я и приехала на родину моих духовных учителей и, стыдно сказать, но невзирая на уже накопившийся негативный Erfahrung женского рода (какой все-таки точный язык: едет куда-то человек — и по дороге собирает опыт) перед немецким интеллектом готова была робеть благоговейно.

Странно, что сидевший, точнее, досматривавший, сидя за учительским столом, какой-то тяжелый сон все это, кажется, понимал. По его высокому лбу тоже змеились ядовитые мысли, сквозь мятую рубашку в пятнах (интересно, не ночевал ли он сегодня на вокзале, иначе с чего бы стали темой сегодняшнего занятия разборки с полицией?) то и дело выглядывали ослепительные манжеты аристократа.

Он оказался тем редким человеком, который не терзал мои барабанные перепонки ни глупостью, ни пошлостью, ни пустой назойливой болтовней. Словом, мы говорили на одном языке, хотя нас контузило разными кирпичами, упавшими с Вавилонской башни.

Но для начала мы, разумеется, круто поссорились...

Я, с трудом поворачивая свой будто распухший, непослушный язык, отвечаю на его вопрос, что родилась в Петербурге. (Я всегда говорила так, даже тогда, когда это злило чиновников города Ленина, формулировка вошла в привычку гораздо раньше, чем место моего рождения снова зазвучало гордо и ослепительно, как его свежепозолоченные купола.)

Он, вспыхнув, парирует, что нету, мол, такого города, а есть всеми уважаемый Ленинград.

(Социалист? Но откуда у социалиста тонкие нервные пальцы пианиста? Я еще не знала, что есть здесь и такие, неплохие, кстати, ребята, сами себе господа, понятия не имеющие о том, что случается, когда их кумиры приходят к власти.)

Он спрашивает, сколько мне лет (отвратительная немецкая привычка — выяснять, с точностью до месяцев, дамский возраст и вообще придавать возрасту слишком большое значение. Например, все происшествия описываются в городской газете примерно так: «Вчера на улице Кошкиного Ручья — я беру одно из типичных названий немецких улиц — 39-летний водитель мотоцикла совершил наезд на одну 42-летнюю, переходившую улицу...» Как будто если бы ему было 42, а ей — 39, это бы что-то изменило в их роковой встрече). И, услышав мой, как мне казалось, еще вполне произносимый вслух ответ, этот, сам уже не первой молодости, субъект объявляет во всеуслышание, притом почти с грустью, что в Германии это «капут»...

Естественно, что я, в свою очередь, пытаюсь у него выяснить, как называется по-немецки человеческая тонкость, сопряженная с уважением к женщине, тактичность, и наугад подсказываю: «Тактгефюль?» — с вопросительным, разумеется, знаком.

(Что-то внутри меня уже подсказывает, поддразнивает, что «капут» будет ему, потому что этого я так не оставлю.)

Он, внезапно переходя на рык, клопочет, что в немецком языке таких понятий не существует, как и — отвечая на мой упрек — сознания вины, а только денежного долга, и высказывает в три прыжка раненым оленем за дверь — отдышаться...

А на следующее утро робко, краснея половиной лица (такая вот половинчатость), положит передо мной два поэтических томика, своих любимых. Один из них — Октавио Паса, лауреата Нобелевской премии, о котором я могла только слышать: его лишь теперь, совсем недавно, перевели на русский. Мне он приоткрылся в первый раз тогда, на немецком...

Учиться было легко, радостно, чему немало способствовало отсутствие какой-либо определенной программы на курсах — с одной стороны, и отсутствие у учащихся дома, в нормальном, уютном смысле этого слова — с другой: в школе начисто забывалось о гетто, как будто его и не было, как будто мои нары уже писали обо мне мемуары, а не ждали меня к ночи обратно, чтобы снова впитаться сквозь тощий матрас всеми своими железными пружинами.

Мы пересказывали с предмета на предмет, как бабочка перелетает с цветка на цветок, и мне нравилось, что кончики пальцев ощущают неведомую цветочную пыльцу.

К тому же я уже догадывалась, что все курсы для иностранцев существуют вовсе не для иностранцев, а для того, чтобы дать бедным немецким гуманитариям хоть какую-нибудь зарплату. Мы были, по существу, в почти одинаковом положении, ибо они, сыновья прославленных немецких университетов, чувствуют себя в пивоварной и маульташной Германии не в своей тарелке, то есть как бы и не в своей стране.

Приторный дух пивных дрожжей проникал в класс из соседнего здания, это мешало сосредоточиться, но зато придавало изучаемому языку некий этнически-исторический подтекст.

Но больше всего, как и в любом театре, меня здесь восхищали ремарки, хотя я еще ничего не знала о настоящей профессии моего нового сумасшедшего друга, связанной не со штутгартским ликбезом для иностранцев, а с маленькой венской сценой. Опаздывая по своему обыкновению на полчаса на занятие, он вежливо здоровался и задумчиво, как бы в качестве или вместо извинения, произносил:

«Как вы знаете, немцы очень пунктуальны... Итак, следующая наша тема — часы и время...»

Вообще я теперь думаю, что в каком бы возрасте ни сел человек за парту, он все равно становится ребенком. В этом я окончательно убедилась, навестив в Нью-Йорке свою бывшую сослуживицу, почечницу и сердечницу с большим пен-

сионным стажем. Она в этот момент как раз разговаривала по телефону со своей тамошней подружкой по Туро-колледжу, про который ее пятилетний внук, во все не стараясь быть остроумным, но оперируя знакомыми ему понятиями, говорил так: «Бабушки нет, она ушла в дура-колледж». Так вот на сей раз бабушка, к счастью, оказалась дома, но была очень взволнована результатами сочинения.

«Представляешь, — чуть не плакала она в трубку, — я ей, училке, пять страниц про Агату Кристи написала, а она — ноль внимания, даже спасибо не сказала».

...В классе, кроме нас двоих, постоянно ссорящихся и мирящихся, к чему все постепенно привыкли и уже даже не замечали, тихо занимались (каждый — своим делом) еще тридцать человек, и вполне возможно, что они там из-за нас так ничему и не научились. Но если научились чему-нибудь большему, чем «Я люблю кислые щи» (или же маульташи и пиво), то это в какой-то степени тоже благодаря нам.

Он, во всяком случае, на следующий день после выпускного экзамена пришлет мне в хайм письмо с благодарностью за совместную работу и с надеждой, что мы устоим и в последней (очередной) нашей размолвке...

А пока я, черпая язык, главным образом из него, хотя были у меня уже и знакомые профессора славистики, знающие мое литературное имя, но именно его язык, застенчиво патетический, с легким налетом сарказма, как бы посвящал меня в ту шизоидную Германию, которая грезилась мне еще в студенческой юности.

Над его рано облысевшим выпуклым черепом, видно, немало потрудились не только природа, но и семья: родители вкладывали в него томик за томиком, симфонию за симфонией до тех пор, пока всей этой библио-фоно- и еще много чего -теке не стало тесно, и тогда грецкий орех предупреждающе затрещал, засеркали в висках головные боли, накатила волна типично петербургской хандры в довольной судьбой и собой картофельно-виноградной Швабии...

Все это мне было видно сквозь тонкую, стеклянную для меня кожу его высокого лба; потом однажды, в маленьком захолустном кафе, он, потупившись, вдруг спросит, всегда ли я так читаю закрытые книги, и я помедлю с ответом.

Еще в университете, где штудировал историю, попались ему под горячую руку русские анархисты, чем-то, видимо, похожие на меня, залихватски расправлявшиеся со слащавым обществом и его шоколадной культурой; мыслями завладел Троцкий...

Ну вот, а я ему — о Гегеле, а он его, разумеется, на дух не переносит со всеми его теориями «несчастливого сознания». Потому что ему это все не запрещали, а, наоборот, насильно вводили, как бастующе голодающему — питательный бульон, как нам — Маркса. (Помню, с каким восторгом я обнаружила в Ленинграде новые вывески на одной из самых больших магистралей Выборгской стороны; со всех домов восклицало: «Пр. им. КАЛА МАРКСА», вся страна была у нас имени этого самого.) Так что политические разногласия между нами вскоре были устранены: каждый простил другому университетскую аллергию на некоторые имена. Тем более что сошлись на Ницше и французских импрессионистах.

А вскоре он придет на день рождения к нашему общему приятелю со случайно изданной на немецком книжкой Одоевского «Петербургские ночи», и все будут спрашивать, что это за книжка, а он многозначительно промолчит, потому что, конечно же, понятия не имеет, только что купил — за название, и многозначительно поглядит на меня...

Наши диалоги всегда шли по касательной.

И после всех наших задушевных бесед, состоявших главным образом из полупраз, после всех вспышек щек и поочередных обетов молчания, длящегося иногда по несколько месяцев (я подыгрывала его болезненной ревности,

ибо душа его нуждалась не в завоевании, а в трепете предвкушения), после диктанта в лесу (нашел место), после моих громко дребезжащих от страха и чего-то еще, давно забытого, коленных чашечек у него дома (умница, вышел на кухню сварить кофе, вернулся бледный, как полотно, синяя вздутая жилка на алом виске, уронил чашку, бурый кофе растекался медведем по тепиху), после его неприезда в мой Петербург (где, бухаясь с трапа в кучу друзей, подумала: зря приглашала, все ему здесь чужое, будет только дрожать от холода и злиться от непонимания; а он в это время, конечно, сломал ногу на тренировке), после того, что мы уже начали смутно догадываться о недовольстве нами не только наших семей, но и наших Богов: ибо при каждом, даже козвенном приближении друг к другу сыпались с обеих сторон смерти, болезни, суициды, после всего этого и, наконец, как мне показалось, забвения, он позвонит, чтобы уже не молча подышать в трубку и повесить ее, как обычно, а твердо и грустно признаться:

— Бог дал мне только один талант: видеть чужие таланты.

В том-то и дело, что я за все свои метания в жизни плачу своими словами, своей неудержимо хлещущей кровью, а он — цитатами. Он всегда посвящал мне чужие мысли и чувства, ставя на титульных листах не им написанных книг свои автографы. Здесь почему-то дарственные надписи на чужих книгах тоже называются «Widmung» — посвящение. Точно так же, как и печатное, официальное посвящение ему большой двуязычной книги стихов, исписанных моей тоской и моим сарказмом, изданной в одном из немецких университетов. Будет потом сидеть на старости у камелька, перечитывать и вспоминать. Это единственное, что я могла для него сделать.

И если когда-нибудь эти записки будут переведены, меня согревает мысль, что есть один человек, который не ополчится на меня за Германию, хотя и ему, конечно, за державу обидно. И, может быть, больнее, чем кому-то другому. (Так же, как и мне, — за Россию, когда ее линчуют другие.)

Но если бы он мог написать о ней сам, то получилось бы что-то до боли похожее, да, до боли, до спазма, до ожога стыда, до тихого, без закуси, покаяния...

XVI

Меня давно занимает вопрос, что же такое менталитет, и немецкий менталитет в частности. Не порошний ли это звук модного слова, не миф ли в той же степени, что и загадочная русская душа, и белозубая американская открытость, и французская двух-трех- и более-смысленная любвеобильность, и английская, подчеркнутая ледяным воротничком, чопорность?

Ну, во-первых, ни в одной, как говорится, семье не обходится без урода. Под уродами все без исключения семьи подразумевают своих неприкайнных чудаков: поэтов, художников, музыкантов. Эти (хорошо еще, если со снисходительным оттенком образованщины, со скидкой на классику) идиоты, где бы они ни жили, ухитряются совершенно не понимать, где они живут. Рисуют не доярку с молочным выменем и не сексбому с открытым запалом, а какую-то невзрачную Мону Лизу со щербинкой в зубах; не умеют фотографировать в замочную скважину, видят в лужах звезды, не уважают самую изящную в мире лиру — графическое изображение доллара, и вообще шелесту купюр предпочитают бессмысленный шорох листьев. Эти люди потеряны для любого общества. Конечные, можно сказать, люди и к тому же всегда уклоняющиеся от налогов на том основании, что у них, видите ли, нет денег. А откуда ж им, деньгам, взяться, если они на деревьях, как известно, нигде не растут; продавать надо, что производишь, а если ничего не производишь, надо уметь перепродать.

Этих, прости их Господи, инвалидов здравого смысла, отличающихся от лучезарного больного в моем окне только тем, что они что-то там сочиняют или пиликают, ни одна общественная наука в расчет не берет. Все равно они и на выборы, как правило, не ходят, хотя их этого гражданского права и не лишали;

но они почему-то заранее знают, что выберут, дай-то Бог, не самого глупого негодяя, который их, дай-то Бог, не тронет, оставит в покое, и можно будет снова играть в слова, мусолить кисточки или нырнуть головой в роаль.

Говоря о менталитете, а именно о немецком менталитете, я подразумеваю тех порядочных граждан, которые утром, а не на ночь и не весь день напролет пьют кофий (не обжигаясь, внимательными глотками и непременно со сливками), никогда не опаздывают ни на службу, ни на Миттагессен (что свято — то должно быть свято), увлеченно следят за уровнем холестерина у себя в крови и за тюлевой занавеской в соседских окнах, никогда ни секунды не задержатся в своем кабинете, если рабочий день уже закончен, пусть даже у дверей кто-то внезапно умер — это проблема того, кто лег умирать в неположенное время в не отведенном для этого занятии месте; а хозяин кабинета — владелец менталитета — должен вежливо переступить через труп и, пожелав встретившимся в коридоре коллегам «Schönes Wochenende»* (и подумав при этом: «Чтоб вы все сдохли») спокойно пройти на оплаченную стоянку к своему вымытому накануне автомобилю.

Чюс-кюс, чюс-кюс, чюс-кюс... Русскими ерничающими буквами эти прощальные страсти-сласти воспроизводятся еще более пакостно и хорошо: гротеск — это реализм, бросающийся в глаза, правда, которую нельзя не заметить, если, конечно, не отворачиваться от нее и не натягивать на уши звуконепроницаемую шапку.

Постепенно я стараюсь избавиться от большинства своих немецких знакомых, и в первую очередь от тех, которые «любят ауслендеров» и ругают Германию.

Именно они, сами того не осознавая, — самые глупые, самые фальшивые и, по сути, нацисты. Так в России какой-нибудь добродушный пузан в начальственном кресле мог порассуждать на досуге, как он любит евреев, что у него даже есть один знакомый еврей, и совсем даже неплохой человек, не жид порхатый. А ведь именно это — напоминание людей по национальному принципу — и есть основа любого нацизма. Не говоря уже о том, что в качестве сослуживца он бы этого «своего еврея» на ковер не пустил, хоть бы того и поперли отовсюду, как это бывало, за «пятый пункт» и светлую, без кавычек, голову. Похлопал бы покровительственно по плечу, на всякий случай уже брезгливо отодвигаясь: ну, ты, мол, брат, и сам все понимаешь, если б я мог, я бы...

Немцы, отдать им должное, в сослагательном наклонении не рассуждают. Квартира, работа — все это наши проблемы, как, собственно, и каждого из них. Но они говорят: «У немцев тоже нет работы», «Немцам тоже не хватает квартир», «Немцы трудятся, немцы платят налоги». Одним словом, немцы, немцев, немцам — во всех падежах. Как будто «немец» — это профессия или даже специалист высокой квалификации, а не всего-навсего национальность. Да и трудятся они, чего уж греха таить, чаще всего в многочисленных сотах бюро, а улицы им метут и тарелки скоблят те самые ауслендеры, иностранцы, которых некоторые из них так любят. Особенно сильно любят, если ауслендер еще и культурный человек с университетским дипломом.

Ну да ладно, хватит брюзжать, тем более что все равно Германия скоро абсолютным большинством жителей примет ислам и Аллах всем нам поможет найти работу или новую Родину...

Нет, действительно хватит, ей-богу, майн Гот, достаточно, так ведь можно однажды себя и на лавочке перед хаймом обнаружить: сидишь и с ностальгической нежностью вспоминаешь...

О чем? А разве не о чем?

О молодости, ну да, конечно, о молодости, потому что там и первые ямбы, и первые звезды, а не только бычки в томате и «Солнцедар», от которого утром ломило голову, как от удара утюгом по затылку.

* «Хороших выходных».

Собственно, я уже вернулась туда, на свою родину — в русский язык, когда начала писать не на чужом — о России, а на родном — о Германии. А если я вернусь еще и на свою любимую улицу, то... горе ей и всему русскому менталитету. Потому что я в отличие от моей кошки не люблю шкодить на тихаря. Ругатель должен находиться в досягаемости ответного удара, чтобы, глядя в глаза обиженному обидчику, ответить на неминуемый вопрос: если все здесь так плохо, то почему ты все еще здесь?

Думаю, что если эти записки будут когда-нибудь переведены на немецкий, то немецкий читатель, особенно если это читательница, прошипит именно это уже на самых первых страницах.

Здесь и без всякого повода, без всякого недовольства чем-либо со стороны эмигранта могут запросто подойти прямо на улице к постороннему человеку и озадачить его, что называется, наповал: «А почему вы приехали в Германию?»

Звучит это «почему» как «не почему», а «зачем», то есть какого черта, собственно, так оно и переводится, если переводить не дословно, а точно.

У меня нет ни одного приятеля, ни одного, так сказать, друга, который раньше или позже не всадил бы мне в печень этот вопрос. И большинство — именно раньше, за первым же — *zusammen* — кофе или прямо в прихожей, загородив спиной комнату и протягивая руку, которую так не хочется пожимать. Потому что это и есть нацизм.

— Oh, Rußland, Wodka, Elzin! Warum sind Sie gekommen? — спрашивают, как допрашивают. И даже не понимают, до какой степени все они бескультурны, если доцент одержим тем же вопросом, что и уборщица.

Представляю себе такую картину: идет лицо немецкой национальности по Невскому проспекту, спрашивает прохожих, как пройти к Эрмитажу, а в ответ слышит: «А вы откуда? А, Германия — Коль, пиво, сосиски! А вы зачем в Россию приехали? А вы здесь не останетесь?..»

Да если б какой-нибудь распоследний алкаш с тремя классами к постороннему человеку так привязался, его бы другие проходимцы через улицу тут же утихомирили; еще бы по физиономии схлопотал за такое «гостеприимство».

Потому что наши люди — культурны. Это не парадокс и не сарказм. И на костылять могут, и вилку в левой руке до сих пор как-то наперекосьяк держат, и вино красное, не подогрев, прямо из холодильника в стакан ливанут, но сердцем русский крестьянин культурней немецкого профессора.

Стоп, стоп, а разве не лезли в душу прямо в галошах, сияющих, спрыгивающих одна за другой с конвейера фабрики «Красный треугольник», а милиционер, участковый, помнишь участкового, как он ворвался с тремя дружинниками в квартиру, чтобы проверить: что это вы там читаете по ночам?.. (А читали вы, разумеется, Солженицына.)

Не от этого ли вмешательства в личную жизнь со всеми вытекающими отсюда по- и действительно -следствиями и стремились в свободный мир, где никого не волнует, горит ли у тебя свет по ночам, да и вообще, жив ли ты еще...

Тем более что никто здесь почти не читает и не пишет, а пишут только те, кому за это хоть что-то платят, значит, так и пишут, чтобы платили, и, следовательно, опасности для общества не представляют.

Россия в самом деле удивительная страна. Мы мазохисты. Сами спим на полу, а гостью единственную в доме перину. У нас даже вожди такие же полоумные: всегда воевали не с чужими народами, а со своим собственным. Гитлер строил Освенцим для славян и евреев, а Сталин — тоже для славян и евреев, впрочем, и для немцев тоже, но не для немецких немцев, а опять-таки для наших, своих, и в первую очередь для товарищей по партии.

Так в чем же она, загадка русской души? В светлой наивности, плавно перетекающей в ослепительную глупость?

Думаю, что все же в культуре. И не в русской национальной культуре (Бердяев, Флоренский, Соловьев...) — гениями, лет через сто после их смерти, может похвастать каждый народ, — а в самой обыкновенной, человеческой.

Еще Петр I учил своих подданных не только «пальцами и яйцами в соль не тыкать» (чему так и не научились), но, главное, «не плюй в тарелку соседа»...

Мы других шибко любим — вот что. А к себе самим испытываем отвращение, как к пресмыкающимся (я себя тоже люблю, между прочим, как змею подколодную), и стараемся навредить себе как только можем.

А может, и хватит пресмыкаться-то? В Петербурге и в первопрестольной — метро мраморное, позолотой крещенное, а в Нью-Йорке и Лондоне — льется под ноги коричневый урин из недопитых баночек «кока-колы». И ведь, заметьте, совершенно не важно, какая политическая погода стоит на дворе, просто у нас другим под нос гадить не принято.

В Германии, правда, всегда был культ чистоты, улицы вылизывались до полной стерильности, то есть до отсутствия на них даже бактерий, без которых, как известно, нет жизни. Но культ и культура — далеко не синонимы. Наоборот, одно часто исключает другое.

Иногда я включаю телевизор, и через десять минут мне становится нехорошо: на экране самодовольный, весь в бицепсах молодой человек смачно чавкает шоколадкой, поднося ее к носу собачки — и тут же отправляя себе в рот, следующий такой же трюк — с девушкой, в общем, что-то вроде «А ну-ка, отними!», были у нас такие конфеты, но вот таких «джентльменов» даже советская власть не воспитывала.

Или, например, реклама парикмахерской, текст за кадром: «Мои соседки завидуют мне, что я такая красивая, а я им не скажу, что я всегда хожу делать прическу к...» — дальше, разумеется, следует адрес. Но дети, для которых телеэкран — бесплатная няня, вырастают с твердой уверенностью, что жить надо не по совести, а по зависти, что с прекрасным полом нечего церемониться; здесь не уступят место женщине, а если кто уступил — можешь смело обращаться к нему по-русски.

(Это такая же народная примета, как — на весь трамвай — великий, могучий, не забытый в скитаниях, в общем, памятник русской культуры трехэтажной постройки.)

И вообще мне кажется, что, как это ни странно, все то, что советская пропаганда рассказывала нам о капитализме, было правдой. И только то, что она плела о социализме, — ложью, в чем мы никогда и не сомневались.

Человек человеку — волк. И у немцев это получается как-то уж особенно хорошо. Я бы даже памятник Рему и Ромулу из Италии в Германию перенесла, как наиболее соответствующий менталитету.

А все остальное, доходящее до анекдотичности законопослушание, например, — это уже мелочи, карликовые ростки, которые приятно разнообразят гладкоскользкий пейзаж нордического характера. Во всяком случае, как-то «оттепляют» представление о нем.

Выхожу я однажды на тихую узкую улицу, уже и вовсе обезмашинело, все порядочные люди давно спят, только какой-то покачивающийся субъект торчит под светофором и, когда я с ним поравнялась, спрашивает: «Не знаешь, где тут еще светофор, этот сломан, а мне надо на ту сторону». Знаю: довольно далеко, за поворотом. «Так что же мне делать?!»

Представляете себе русского алкаша, застывшего в отчаянии перед такой дилеммой?.. Да мы все, вместе с нашими начальниками ГАИ, на красный свет как к родной маме в объятия бежим.

Немцы безошибочно реагируют на световые и звуковые сигналы.

Они уже твердо знают, что убивать евреев — нехорошо. И что антисемитизм — это совсем плохо. Поэтому, если какой-нибудь новый Адольф фон Шариков придет и скажет, что мы с вами сейчас начнем убивать евреев и становиться антисемитами, они напишут плакат и выйдут в знак протеста на демонстрацию. Но он же не такой дурак, чтобы повторять прошлые ошибки. Он, на-

оборот, напомнит всем, что антисемитизм — это позор нации, и мы сейчас будем с вами бить не евреев, а всех «не наших», которые понаехали и из-за которых у нас тут безработица, криминалитет и все прочее...

Не правых надо бояться, не тех, кто знает, что и зачем он делает, может, правые в глубине своей души более левые, чем левые, но рынок идей уже поделили, и им достались именно эти, правые идеи, которых никто не взял... Бояться надо тихих, послушных, старательных...

Но вот что интересно: немцы никогда не вызывают у меня жалости... Их можно ненавидеть, но ими нельзя пренебречь. В ненависти ведь, согласитесь, есть некий холодок уважения, чувства дистанции. Словом, я нахожу в немцах все то, чего мне недостает в евреях.

А интересно, кого в мире было все-таки больше: великих евреев или великих немцев? Наверное, великих немецких евреев или великих еврейских немцев. Потому что это как бы пламень и лед в одном сосуде.

И вообще чего я к ним привязалась, люди как люди.

XVII

Честно признаться, я и до сих пор толком не знаю, что это я такое пишу, то есть к какому жанру относится мое, так сказать, произведение. Я хочу только одного: чтобы оно как можно скорей окончилось и отпустило, если не душу — на упокой, то хотя бы тело — в бассейн.

А границы жанров в наше эклектичное время везде смываются или же легко приподымаются одной рукой — как веревочные оградки, поделившие прямоугольный рай цвета медного купороса на дорожки для плавающих.

Кто может мне, например, точно сказать, где кончается свободное предпринимательство и начинается свободная спекуляция? То есть какую прибавочную стоимость присваивать можно и нужно, а какую цену следует осудить как «накрученную»? Вопрос этот обычно решается эмпирически, попросту говоря: по какой цене берут — та, стало быть, и научная. В блокаду, например, знаменитые часы Буре, полкило золота с цепью, шли за буханку. Смеем предполагать, что первые «новые русские» появились уже тогда, только их тогда как-то иначе называли.

Я не знаю, где граница между севером и югом,

Я не знаю, где граница меж товарищем — и другом...

Вот и я не знаю... и лезут ко мне всякие господа-товарищи в непрошенные лагерные корешки (лагерь — это место концентрации русских евреев, где плотность заселения переходит уже в почти сплюснутость), болит у них, корешей, душа за культуру в свободное от спекуляции машинами время, а поэт — утешай...

Ну а что касается этих записок, то они по своему внутреннему жанру что-то вроде дневников Анны Франк или ленинградской школьницы Тани Савичевой:

Вот уже и Петрюковых нет...

И Гришмановых...

И Кацнельбобенов...

А мы все еще здесь, на Viehwesen, 22; замечательный, кстати, адрес, я его для книги даже менять не собираюсь, еще и вынесу в заголовок большими многозначительными буквами, потому что не найти метафоры точней и невероятней, чем самая обыкновенная повседневная жизнь.

Мне, между прочим, посоветовал так назвать свою книгу об эмиграции еще там, еще тогда, один очень толковый, хотя и царапающе циничный, социальный работник. (Циники глупыми не бывают, это прерогатива, увы и ах, прекрасодушных болванов, которые изо всех сил тшчатся стать ну очень хорошими людьми, но у них это из-за глупости не очень-то получается, могут нагадить совершенно произвольно, из лучших, так сказать, побуждений.) Он же, если

кому и пакостил, то по-немецки, из мести, а из властолюбия, наоборот, всем искренне помогал, не щадя темени и времени своего, и вообще в отличие от многих своих коллег не зря получал зарплату. В юности обременил себя двумя высшими образованиями, читал Оруэлла и, конечно, знал сакраментальную фразу «Все животные равны, но есть животные равнее других...».

— Если я неправильно паркую машину, — смеялся он, делясь со мною своими наблюдениями, — я плачу штраф, а еврей, вместо того чтобы заплатить по квитанции, кричит: «Караул, антисемитизм!»

Мне нечего было ему возразить, он поневоле стал хорошим специалистом по «еврейскому вопросу», но он-то — по долгу службы, а я — на кой черт и за какие грехи?!

Да, именно так, Viehwesen, 22, скотский хутор, где все пытаются ставить свои длинные еврейские «пяточки» в чужие дела, а если еще учесть отношение к этому патетическому адресу аборигенов, заносчивых жителей почти кассилевской страны — Швамбрании, то становится ясно: никакой научной или не научной фантастики не бывает; просто есть реалисты, которым удастся заглянуть туда, куда другим реалистам вход воспрещен, и последние, чтобы не выглядеть недотепами, объявляют осязаемо существующие планеты плодами воображения первых.

Мне тоже, прочитав эту книгу, могут заявить, что так, дескать, не бывает, что нет ни Германии такой, наверное, автор просто принял за ворот лишнего, как говорят немцы, «über Hals», и вообразил себя Колумбом, спутав Индию с Америкой; и уж чего совершенно точно не может быть — так это такой улицы на штутгартской карте и такого свиного общежития.

Не верите? А мы сейчас снова туда вернемся, потому что что же нам делать, куда же нам еще возвращаться, если мы там прописаны-анмельдованы, если там — место автора в стойле и его доля в кормушке. В том-то и дело, что возвращаться нам, господа эмигранты, больше некуда.

А жанр... (Мы его, если мне еще не изменяет память, так и не установили.) Ну что ж, отнесем эти записки просто и скромно к «пушкинской прозе». Почему к пушкинской? А помните: «Родила царица в ночь не то сына — не то дочь». Also, приехали.

XVIII

И опять потянулись дни, и даже не один за другим, а узеньким сплошняком, серой тяготинкой, как обезвкусевшая уже жвачка, когда пытаешься отодрать ее от зубов.

Будто нет, не было и не будет никогда ни чисел, ни месяцев, ни страны, ни мира, а только этот растрескавшийся панцирь асфальта, над которым торчат несколько замшелых барачков да несколько пробившихся-таки к свету пыльных травинок.

Чудо-юдо...

Чудо — Jude...

Viehwesen, 22...

И еще автор заранее просит извинить его за ненормативную лексику, прокишью в повествование из ненормативной, так сказать, жизни.

Бесплатную газету (сорок страниц вздора, од ветчине, славословий в адрес отцов города, достойных советской, как мы тогда говорили, много-вы-тирашки, сексуальных призывных стонов под видом массажных объявлений, а Кафку, «Der Schloß»,* мне еле откопали в городской библиотеке, давно не переиздавался), так вот, эту газетку выгружали у наших ворот по четвергам целыми тележками.

* «Замок».

Очевидно, юным бизнесменам, школьникам-разносчикам, было сподручнее вывалить все свое задание здесь, чем выискивать редкие на нашей улице почтовые ящики.

И вдруг — через полчаса — уже ни одной газетки...

Жаль, в кои-то веки понадобилось, там должно было быть несколько строчек о первой выставке мужа, все-таки как-никак сувенир.

Спрашиваю хаузмастера, куда подевалась гора сегодняшней прессы, а он хохочет:

— Да герр Панасюк все, до последнего листика, к себе оттащил, чтобы в поисках «Wohnung» und «Arbeit» не иметь конкурентов.

(Вероятно, «герр Панасюк» полагал, что конкуренты живут только здесь, на Фиевазен, а то бы он весь город обегал, чтобы уничтожить почти полумиллионный тираж.)

Костик вбегает радостный, возбужденный:

— А на вашем месте,— мы уже переехали — через коридор — в комнату попросторней,— Доберман поселился!

И чего это он, думаю, в таком восторге, какая, в сущности, разница, кто там теперь живет: слева Оберман — справа, значит, Доберман. А где-то в Израиле — Губерман.

Мне и в голову не пришло, что он — о настоящем, изящном, как балерина, на четырех, правда, пуантах, очаровательном пинчере. (Костик тоже любил животных, и наша с ним полная адаптация произойдет, когда у него в доме появится сеттер с влажными, бархатными, как бы «анютиными глазками», а пороги моей квартиры переступит наша рыжая хвостатая девочка, приехавшая наконец для воссоединения с семьей.)

Но тогда я, трезво оценив ситуацию, покачала перед зеркалом головой: плохой симптом. Ты, кажется, начинаешь туго соображать...

Вообще местные газеты по своей бездарности и безликости вполне могли бы вызвать на социалистическое соревнование всю советскую прессу имени нашего дорогого, сочно причмокивавшего, не столь харизматического, сколь марзаматического «лично товарища»... Вот только читатели здесь в отличие от российских не строптивы: всему верят и возмущаются не корреспондентом, а только вместе с ним каким-нибудь фактом. Да и то не возмущаются, а обсуждают, переливают полученную информацию из пустого в порожнее.

И пользуются каждую неделю новыми косметическими кремами и лекарствами, которые заботливо рекомендуют производители и продавцы, заботясь, естественно, главным образом о том, чтобы ваши марки стали их марками. (Немецкое общество можно смело охарактеризовать как общество «филателистов».)

Если вычесть эту потребительскую наивность, то мне иногда даже кажется, что Германия и есть страна того самого развитого — слышите воркующее ударение на «о»? — социализма, о котором мечтали в нашем пенсионном правительстве.

Тишь да гладь, все улыбаются, можно спокойно играть в машинки...

С той только поправкой, что здесь 75 лет расцветом творческих сил не называют нигде, даже в бундестаге...

— Слушай, а какая разница между бундестагом и бундесратом?

— Отхлынь,— говорю,— сынок, не знаю, наверное, как между статосратом и сратостатом, все одно — дирижопль.

И заслоняю глаза тяжелыми портъерами век, поленившись сходить к открытому пятнами ржавчины, как глобус морями, общественному умывальнику.

Еще один нехороший симптом: так можно сначала перестать умываться, а потом и вовсе вставать...

Иногда ко мне в гости приходит известный поэт местного значения. Он пишет не на немецком, а на швабском, который, кроме него, никто не понимает, и поэтому он пользуется уважением.

Когда он первый раз спросил про меня на вахте, ему ответствовали: «Никаких русских писателей тут не живет. Одни евреи».

А когда он, уже зная трехзначный номер моего обиталища, пришел во второй раз, причем не один, а с друзьями и ящиком пива, обалдевшие евреи закричали, подхватив за кем-то первым (в любом идиотизме всегда есть кто-то первый, только его потом не найти), заскандировали всем двором: «Ура! Немцы идут!»

Я усмехнулась, наблюдая эту картину из своего окна: в 41-м вы бы так не орали.

Что поделаешь, совсем одичали соотечественники от скуки.

Потому что все пакетики уже перепробовали, если это вообще возможно, и жизнь начала терять смысл. Хотя и не перестали заглядывать в чужие сумки, ощупывать глазами беременные продуктами полиэтиленовые мешки — что ж это там такое, выпуклое, не иначе, как что-то из-под прилавка.

Еще одна примета, по которой можно безошибочно узнать советского человека: он смотрит вам не в глаза, а сначала в кошелку. Причем, что самое смешное и грустное, произвольно, нечаянно, так же, как немецкая дамочка — на ярлычок вашего макинтоша.

Влетает... кто бы вы думали? Правильно, Костик, потому что именно он всегда влетает, но в коридор, а перед комнатой медлит, чтобы и отдышаться и постучать, его так родители научили — ждать, пока пригласят войти, и этим он отличается от основного населения хайма. Он возбужден, кажется, нашел халтуру, захлебывается словами: «Не знаю, на каком я сейчас свете, куча дел...» и т. п.

Вот он, родной наш, нежно любимый менталитет: все дела свалены в кучу, человек копошится в ней, в этой куче, рыпается, пытаясь выбраться, — и снова проваливается. Потому что, пока он выкарабкивался, на него навалилась еще одна куча дел, и так без конца... В немецком языке такое выражение невозможно. Оно бы не пришло ни в одну немецкую голову, на полгода вперед знающую, когда и на чьей подушке она будет предаваться страстям. Я не знаю, какая из этих двух крайностей ужасней.

И еще несколько слов о менталитете. Иногда вдруг кажется, что встречаешь в чужой стране старых своих знакомых, только зовут их иначе и говорят они на другом языке, а кроме этого — все совпадает. Я даже думаю, что и у меня есть везде по двойнику: и во Франции, и в Гренландии, и в каком-нибудь африканском племени НИ БУМ БУМ...

Посудите сами. Был у меня в прошлой, ленинградской жизни приятель, который огорчал свою лучшую половину тем, что ни за что не хотел иметь детей. О себе он говорил при этом в третьем лице и с нескрываемой нежностью.

— Сейчас кто у нас мяску кушает? — спрашивал он и сам же отвечал: — Сережа кушает мяску... А потом что он будет?..

И, заранее возмущаясь такой перспективой, пододвигал к себе поближе тарелку.

А здесь сижу я в гостях у одного своего немецкого, как их называет мой муж, хахаля, который, как и Сережа, который кушает мяску, тоже никогда не хотел иметь детей. «Почему?» — спрашиваю.

— Потому что, — отвечает, — я все подсчитал, налог за бездетность, конечно, большой, но ребенок может съесть еще больше.

И пододвигает к себе поближе тарелку.

Оба они уже плешивые, и оба кушают в основном бананы, как наши далекие родственники.

Потому что мяску им никто уже не готовит. Да и не по зубам уже...

Мне не нравится, что в местах скопления так называемых контингентных беженцев возникает какой-то новый контингентно-беженский диалект, основанный на приживлении русских черенков к немецким корням и уже проникший в русскоязычную прессу Германии.

Юные натуралисты! Изобретательные мичуринцы! Будьте осторожны при разведении новых культур — мы можем получить уродливые и безвкусные плоды.

Представьте себе, что сказали бы читатели в России, увидев среди вроде бы русского текста «хабать», «шпрехать», «кукать», «дрюкать» унд зо вайтер...

Они этого «фрессать» не станут. (А немцы тем более.)

Костик решил объявить тараканам последний и решительный бой. Он отправился с пособием в аптеку, готовый отдать все, что получил, за хорошее средство против этих никого не кусающих, но катастрофически размножающихся жильцов хайма. Местная эпидемиологическая станция с ними не справилась: отравилась только одна жалобная собачка, а они просто исчезли на две недели и вернулись домой посвежевшие, бодрые, с новым приплодом...

В первой аптеке не повезло. Потому что Костик по рассеянности, или от волнения, или скорее по своим выдающимся способностям влипать в истории попросил отраву не против «шабен», а «геген швабен», то есть против коренных жителей нашей гостеприимной земли. И, увидев себя в зеркальных очках аптекаря, вылетел за дверь, не дожидаясь ответа. (Или полиции.)

Наконец-то впервые меня не бросило в ярость от вопроса: «Почему вы сюда приехали?» Так как задавший его, во-первых, долго краснел перед тем, как выговорить эту хамскую тутошнюю банальность, во-вторых, он лично, в этом можно было не сомневаться, радовался, что лично я приехала именно сюда, а не, допустим, в Африку, а в-третьих, после вопросительного знака, прозвучавшего как восклицательный, фраза закруглилась таким вот неожиданным образом: «Из Германии талантливые и умные люди всегда уезжали».

Мне ничего не оставалось, как, польстив, но совершенно искренне возразить в том смысле, что он-то вот не уехал.

Последовала грустная, какая-то беспомощно-мечтательная улыбка, будто вслед уходящему поезду.

А я поймала себя на мысли, что мы с моим немецким товарищем идем по заросшим заржавленным рельсам по Viehwäsen, как когда-то шли с Сережей Довлатовым по Чугунной.

Как ребенок норовит в своей кроватке принять форму эмбриона, так человек, можно сказать, заново родившийся в другой стране, постепенно окружает себя все тем же и все теми же, что и на своей печальной Родине. Во всяком случае, я не могу себе представить, что моими друзьями станут перепродавалы машин или вчерашние партийцы, даже если бы, кроме них, вокруг меня вообще никого не было.

А вот что Татьяна Григорьевна Гнедич нашла себе в лагере (другом, сталинском) мужа-сантехника и научила его ругаться «Феб с ним», это я представляю себе весьма хорошо и отчетливо.

В городской библиотеке моя рука набрела случайно на учебник русского языка для немцев. Читала я его ночь напролет, не давая спать домочадцам, потому что то и дело содрогалась от хохота. Выражение «живой ребенок», например, переводилось правильно, в том смысле, что «играющий» («подвижный» —

это они уже не догадались), но зато «живой дедушка» разъяснялось как «Наш дедушка все еще жив». С оттенком сожаления очень бы вязалось дополнить определением «богатый дедушка», видимо, таков и был ход мысли переводчика.

Представьте себе такую картину: вас вызывают в профком и спрашивают: не нужно ли вам что-либо из мебели, не пришла ли в негодность ваша одежда?

Наверное, в такой невероятной ситуации советский человек тут же бы и родился, причем независимо от пола. А в Германии это повседневная реальность: два раза в году каждый нуждающийся получает от социоламта деньги на приобретение новой одежды.

Вас приглашает социальный работник, в данном случае интеллигентного вида мужчина, кладет перед собой лист бумаги и... приступает к допросу:

— Трусы есть? Сколько?.. Так, записываем... Ночная рубашка? Носки?.. — и так далее, хотя... куда уж далее...

И такое вдруг чувство, будто он в вашей корзине с грязным бельем роется, пересматривает все, как кино...

Ходят слухи, что социальные деньги в Германии (и это неудивительно, вот еще и югославов приняла эта маленькая страна) подходят к концу, и «Bekleidungs-geld» выплачивать перестанут. А я почему-то думаю, что выплату не отменят, но введут процедуру личной проверки нижнего белья на каждом... Это к тому же позволит создать новые рабочие места «проверяющих наличие и состояние трусов».

Пришла немецкая, как она себя называет, подруга. Она совершенно не понимает, что понятие дружбы предполагает и некие общие представления о том, что смешно и что трагично...

Известного анекдота от Гегеле, ответившем студенту, что если его, профессора Гегеля, теория расходится с фактами, то тем хуже для фактов, она не осилила. И долго объясняла мне, почему это неверно.

Зато очень расстроилась, когда на ее рассказ о поездке в Польшу и раздаче там своих платяев, притом не просто так, а заставляя каждую женщину при ней примерить, чтобы не брали для продажи, я засмеялась...

Попытка же втолковать ей, что она дважды оскорбила облагодетельствованных ею персон: и подозрением, и самой процедурой — привела только к вспыхнувшему от гнева щекам и мстительному ответу, что вы, мол, сначала без ошибок говорить научитесь, а потом уже будете себя с немцами сравнивать...

Патриотизм всегда посещает ее так же некстати, как она — меня...

Наконец подвернулась и мне возможность подработать «по-черному».

Те евреи, которые еще не живут в Германии — и чтоб им всем, как говорится, так жить, — думают, что речь идет только о простой, неквалифицированной работе, как говорили в России, «работе для негров». Странные представления были в стране, где пение «Интернационала» сопровождалось вдохновенным вставанием. Работа в Германии — это аристократический род занятий, а по-черному — заячье счастье бедняка, какого бы цвета ни была его дубленая кожа. По-черному — это значит прошмыгнуть, как черная кошка в темноте, спрятавшись от налогов. Вот что такое — «по-черному»...

Мое же «по-черному» предполагало ослепительно белый халат булочной продавицы.

Первым же посетителем, которому я начала, как меня научили, отдавать улыбку, когда он еще только взялся за ручку стеклянной двери с той стороны, оказался «уж», директор моего социоламта. Получив из моих дрожащих рук две несколько раз уроненные на пол булочки с маком, очевидно, к первому рабочему завтраку, он поздравил меня с началом трудовой деятельности, то есть с тем радостным, как он надеялся, фактом, что я наконец слезу с его шеи...

Только окончила я лепетать ему уже в уходящую извивающуюся спину, что это, мол, пока бесплатная практика, как перед моей витринкой-трибункой, на которой я не имела понятия, что лежит, потому что названия репертуара... простите, товара и ценники еще не принесли, возникла старушка. Миленькая такая, чистенькая, славная швабская бабушка, с аккуратно подпиленными коготками, один из которых указал на пышный хлебный кирпичик.

Но это было не все. Она попросила его разрезать. Лихорадочно соображая, как это надо делать, вдоль или поперек, и есть ли тут вообще нож — мне никто ничего накануне не показал, — я вдруг нашла спасительный выход:

— Смотрите, вот половинка, именно этот хлеб, который вам нравится.

— Нет, я возьму тот, и целиком.

— Зачем же тогда половинить?

— Я хочу видеть, как он выглядит изнутри.

Вот тут у меня и вырвалось:

— Лучше, чем мы с вами, хотя и того же возраста.

По-немецки этот диалог прозвучал еще более восхитительно, это был мой бенефис, последние гастроли все равно уже погорелого театра.

Визит одной знакомой литературной дамы, живущей в другом конце города, но именно в этот день оказавшейся именно здесь и внезапно проголодавшейся, уже ничего добавить не мог. Я «отпустила» ей, как выражались в России, брецель, сразу же отпустила, не тянула к себе обратно, и выслушала ее кисло-сладкое «похвально, весьма похвально», прочтя по брезгливо поджатым губам, что больше мне в ее гобеленовом салоне делать нечего, могу даже не беспокоиться...

А я и не беспокоилась. Ну и черт с ней и с ними со всеми.

Вместо обещанного полтинника мне дали по окончании спектакля гонорар в виде мешка позавчерашних выпечных изделий, но я-то знала, что и этого слишком много.

Словом, еще одна басня про сапожника и пирожника.

На бирже труда, в арбайтсамте, мне выдали довольно странное разрешение на работу.

Мой немецкий друг, который никогда не врет, и поэтому с ним так легко, и можно тоже не лгать, и ничего, в том числе и себя самое, не приукрашивать, потому что нас обоих интересует суть, а не как она выглядит, вдруг посоветовал мне утаить мою российскую трудовую книжку с весьма романтическими после удаления меня из советской журналистики (на мой взгляд, так замечательными) профессиями: уборщицы и кочегара...

Ничего мне не объяснив — да и что я тогда могла понять, — густо краснея, велел предъявить только билет Союза писателей.

Теперь-то я знаю, как он был прав, потому что меня бы уже давно послали на курсы переобучения на швабскую, непревзойденную, виртуозную «Putzfrau» и мне было бы некогда писать мои русские и немецкие книжки, и эти записки тоже, и не то что ни один большой зал, но ни одна распоследняя забегаловка не пригласила бы меня с литературным концертом...

В результате же не слишком ожесточенной, даже и не борьбы вовсе, а скорее игры в выяснение истины я получила документ со всеми необходимыми печатями, удостоверяющий, что мне разрешено на территории Германии работать... писателем.

Что и делаю изо всех сил.

Ну, если мне, конечно, предложат в арбайтсамте твердое вакантное место старика Гете, то я серьезно подумаю...

Люблю читать объявления. Всегда узнаешь что-то новое, необыкновенное, особенно здесь, в хайме...

«Вы ищете квартиру? Мы вам поможем!

Обращаться: барак № 2, комната 293, койка вторая, сверху».

Очевидно, сам маклер живет здесь из простой человеческой любви к нарам.

«Если горееет» — так назывались переведенные кем-то для нас правила пожарной безопасности. Далее было сказано, чтоб в лифт (где они его тут видели, лифт, может, в подвале?) не «пхались во избежания застрявания и згарания», «соседов пердупредили», «паники не вспыхивали», а «звоняли» по такому-то телефону...

Вот так, очень даже замечательная инструкция, особенно если учесть, что для русских филологов работы не находится.

Впрочем, даже правильно написанные инструкции звучат обычно не лучше. Мне никогда не постичь бюрократическую письменность, причем независимо от языка: что готика, что кириллица — один, показывающий рожки восклицательных знаков, черт, который, как известно, всегда был интернационалистом.

Надо бы предложить проект премии за самую понятную немецкую инструкцию, вдруг пройдет? Кое-какие из моих прожектов уже сбываются...

Костику с Таней удалось наконец снять квартиру. В деревне, на последней, возле самого уже темно-зеленого лесного гребешка, улице, в последнем, но так же, как все первые, обгераненном домике, на последнем — но к чердаку им было не привыкать — этаже. Чудо состоялось, потому что они наплели хозяину, что не эмигранты, а приехали по студенческому обмену. Нужно было, наверно, сказать, что по обмену шпионами, тогда бы, глядишь, и более приличные апартаменты нашлись, и, глядишь, в самом сердце нашего увлекательного города. Потому что все знают, что у кого-у кого, а у шпионов денежки водятся, не то что у неработающих инженеров, к тому же приехавших из такой ненадежной страны...

Но Таня, справив новоселье, вместо того, чтобы жить да радоваться, опасаясь только визита хозяина (потому что посреди кухни, на новеньком светломедовом линолеуме уже лежал роскошный коричневый блин — отпечаток горячей сковородки), стала вдруг, возвращаясь домой из города, нервничать и вести себя странно.

Всю получасовую дорогу от станции она несла купленные продукты в крепком, глубоком полиэтиленовом мешке «Альди», а возле дома вдруг нырнула в лесок и спешно, а иногда и безуспешно пыталась переложить альдивскую снедь в тоненький прозрачный пакет дорогой фирмы...

Не знаю, нужны ли были такие ухищрения, но соседи видели, где она (якобы) отоваривается, и через полгода дошло до того, что одна соседка даже кивнула при встрече...

А я, чтобы круто повернуть свою жизнь, поехала на несколько дней в Испанию. Здесь так и говорят: «Денег на отпуск нет, придется в Испанию...» Услышать бы такое лет десять назад в городе Ленина, в нашей несравненной, теперь я говорю об этом уверенно, Северной Пальмире...

Когда автобус притормозил у первого — французского — шлагбаума (еще одно типично немецкое русское слово — помните: «...Или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид»), половина пассажиров с радостными воплями вскочила со своих мест, и я сразу поняла, хотя в воплях не было слышно ни одного русского слова, они носили исключительно утробно-пещерный характер, что это мои земляки...

Признаться, и у меня внутри что-то и по сей день замирает при пересечении государственных границ, хотя коллекции фотографий, сделанных моим стареньким безотказным «Зенитом 3М» (подарок папы за поступление в университет), уже начали вытеснять из стеллажей мои многотомные рукописи.

Ну неужели, неужели это так просто: та елка — Танненбаум, а вон та, через несколько шагов, — уже с артиклем «ля»... А нам всю жизнь морочили голову, что обе они так далеко, получалось, что и вовсе недостижимы. Папа мой так и умер с твердой уверенностью, что Берлин, до которого он когда-то дошел пешком, перенесен в другую галактику, куда на поезде не доедешь, на простом самолете не долетишь...

Что мне еще запомнилось из того волнующего первого момента, так это два неумышленно метафорических памятника, по ту и другую сторону пограничной будки: над Францией полыхал, подмигивая окантовкой из маленьких огоньков, темный загадочный женский силуэт, а за спиной остался как бы символизирующий Германию монумент... сардельке: толстое, будто беременный полумесяц, на который натянут фильдеперсовый — пятидесятих годов — чулок, покрашенное в коричневый цвет чучело колбасы, водруженное на мраморный пьедестал.

А вокруг них шумел безграничный лес, в котором паслась всегда поднятая, чисто символическая «зебра» шлагбаума...

Заехав в «Каритас», одно из многочисленных здесь благотворительных обществ, чтобы подыскать наконец плотную портьеру и не ощущать у себя в гостях всех жильцов из дома напротив, я остолбенела еще на пороге: дама, вся с головы до ног окутанная норковыми мехами, с недовольной миной рылась в коробке для поношенного белья и, увидев меня, попыталась выразить свое возмущение: дескать, ничего здесь хорошего, в этом «Каритасе», нет, и куда все девается, и как с этими безобразиями покончить...

Говорила она по-немецки с характерным руководящим акцентом, что, как и шуба, особенно весной, выдавало именно наш, и никакой другой, контингент, потому что только советские евреи приходят просить милостыню в мехах, да еще и с таким видом, как будто они инспектируют дающего и, ежели что не так, могут снять его с его дающей должности...

Я сделала вид, что не понимаю ни одного из двух предложенных ею языков, что я из Турции или откуда угодно, и она, поджав губы, отошла к стойке с куртками и пальто.

Бедная женщина, вряд ли ей повезет и там найти что-нибудь подходящее...

XIX

Коли уж автор незадолго до — отлистните десяток страниц назад — так сурово обошелся с немецким менталитетом, то грешно ему не попытаться обобщить и кое-что насчет своих дражайших (по обыкновению, дрожащих от страха) соотечественников.

Потому что местечковая ментальность, хотя, видимо, и не претерпела серьезных изменений со времен Шолом-Алейхема, но не стала от этого легче переносимой.

Во всяком случае, от налипшего на уши акцента ее хочется с головой, как в Волгу, — в глубины Толстого и Достоевского, Тургенева и Гончарова...

Теперь, когда все они, оберегая картонными переплетами, как надежными шлюзами, источники души и скорби моей, стоят наконец друг за другом в моем немецкой резной работы книжном шкафу, я могу уже вполне спокойно и внятно порассуждать и о чем-то другом, в частности, о диковинном еврейском народе...

Встречаются иногда стройноногие, кофейнокожие, печальноглазые, о которых и хочется, и не стыдно сказать: «Дети Израилевы». Но этот генотип нации в России практически не сохранился. Такое впечатление, что иудеи вымерли — остались евреи...

Помню, встречали мы как-то в Ленинграде поезд из Одессы с нашей любимой тетей, так гул именно этого состава, помноженный на его внутреннюю крикливость, заглушал все остальные задолго до его прибытия на перрон...

Вообще один децибел явно мал как единица измерения шума, который могут наделать евреи. Это касается и науки, и войны, и просто разборок в очередях за яйцами или туалетной бумагой. Впрочем, в очереди, заметив выдающийся нос (этого достижения у евреев никто никогда не отнимал), ему быстро давали понять, на какой морде он вырос и куда ему соответственно надо ехать. В то время как все остальные желающие могли скандалить в свое удовольствие, посылая друг друга по гораздо более близкому и не такому обидному адресу.

Очевидно, именно этот вид расовой дискриминации ощущался активными участниками борьбы за товары широкого потребления как особенно оскорбительный, и не он ли в конечном счете привел русских евреев к окончательному Исходу — в новую, так сказать, всесоюзную здравницу — солнечный Израиль...

Сначала уезжали отдельные отщепенцы, которым возжелалось свободы, а потом уже и все — поголовно — покупатели.

Причем именно они, так долго собиравшиеся, все взвешивавшие, пробовавшие долларовую бумажку, как говорится, на зуб (и не простой, а золотой), в конечном счете, как показывает история, слишком поторопились. Прилавки России наконец-то изнемогают от изобилия, напоминая фламандские картины в посещаемом заморскими гостями нашего города Эрмитаже, а эти дуралии отняли у себя сказку о золотой рыбке: мечту о царстве-государстве, где их ждут с распростертыми объятиями...

Теперь вот летят панические конверты через все континенты: там — вэлфер урезают, здесь — хильфу, а на исторической Родине в «корзину» падают последние крохи, с воробьем не поделишься, а и есть ли там наши вездесущие расторопные попрыгунчики, похоже, что одни пластающиеся над зазевавшейся жертвой коршуны, как и везде.

В сущности, не так уж и стыдно быть простым и незамысловатым потребителем-покупателем. Именно для него производят во всем мире всякую всячину, тысячи сортов хлеба и мыла, в частности, вот это, которое мне подарили, — в виде рафаэлевского ангела, глядя на которого невольно вспоминаешь стишок из счастливого детства: «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...» — и фотографию еще не терроризирующего Россию кроткого Вовочки.

Пусть себе покупают, пусть моются себе и нам на здоровье, Рафаэлю уже все равно в его далекой, окрашенной вечной синькой небес, последней Италии, лишь бы из них самих мыла не наварили. Рецепт-то наверняка сохранился, лежит у кого-нибудь под подушкой с тщательно вышитыми цветочками или кошечками. И будет лежать до поры...

Под гобеленами, под одеялами, за приспущенными плюшевыми шторами — зло... «Пусть на улице убивают, лишь бы меня не трогали...» Но ведь если все будут рассуждать именно так, никто никого и не тронет... Слава обывателю, предотвратившему третью мировую войну!

А все-таки она будет. И начнут ее опять скорее всего именно они, немцы. Как так? А так... Вялотекущий реваншизм как одна из форм вялотекущей шизофрении. Потому что в глубине своей общенародной души они так и не смирились с поражением. Потому что в конце концов даже святому осточертеет отдавать долги уже прапраправнукам жертв своих прапрапращуров. И тогда достанет искры, чтобы из нее возгорелось пламя... Весь народ придет в состояние коллективного аффекта, сообщающего восторг групповому усилованию. И тогда это будет уже даже не война, а свирепое убийство всех всеми, потому что каждый второй окажется к тому времени безработным, а в магазинах останутся, как бывало у нас, только соевые конфеты и резиновые сапоги. Они не вынесут этого. Они привыкли баловать свое холеное тело, спать на водяных, плавно покачивающих, матрасах, ступать в бархатных шлепанцах по полу с внутренним подогревом, пересчитывать семечки витаминов в каждом огурчике... Они послушны любой палке, но не идее. Голодать ради идеи они не станут. И тогда кто виноват? Чужие...

Все сюрпризы поддаются примерному прогнозированию...

Тем более что немцы — очень мужественные люди.

Оставшись без глаза от бенгальской искры на карнавале, немец так дотошно, так тщательно передает свои ощущения телезрителям, как будто эта, неприятная, конечно, история произошла не с ним самим, а он только пересказывает содержание прочитанной книжки. Он то ли действительно не испытывает боли и бешенства, то ли каждое утро выполняет специальные упражнения, вырабатывающие особую технику их сокрытия или преодоления. Иногда кажется, что от немцев веет металлическим холодком анестезии, они как бы заморожены изнутри. И поэтому с легкостью переносят свою боль, а чужой и вовсе не замечают.

Завершают же нордический характер злопамятность, мстительность, эгоизм, ростки которых тщательно окучиваются обществом и в зрелости приносят плоды в виде крепких орешков, о которые можно запросто сломать зубы...

А евреи — наоборот. И тоже ведь есть свои пред-пред-предпричины, и объяснить все можно (софистика с казуистикой уже приготовились, привстали в первом «па» узорчатого фокстрота), вон и мать Моисея, нанявшись к собственному чудом спасенному сыну кормилицей, вместо того чтобы от счастья святой сделаться, душой вознестись, добилась за эту работу еще и денежного вознаграждения. В их талантах, египетских... А по нашим талантам, душевно-литературным, — дрожь да озноб... Цинизм это безграничный, торгашество, предательство смысла...

Словом, из всех знакомых евреев мне наиболее симпатичен тот, которого дети разных народов дружной бригадой приколачивали к кресту: кто — словом, а кто — молотком, у кого что нашлось. Не думаю, правда, что ему удалось спастись — туда, в Небо, это уже более поздняя редакция Учебника Воспитания Несмышленного Народа, но мне лично утешительная сказка с хорошим концом вовсе не требуется. Достаточно уже того, что это БЫЛО...

И еще несколько откровенных признаний, чтобы у читателя не сложилось впечатление, будто автор судит и приговаривает к позорному столбу весь мир, упиваясь прозрачным вином собственной святости.

Во-первых, меня всегда радовали победы израильтян, хотя в суть арабско-израильских конфликтов я не вдавалась. Просто было приятно, что не клязнят, а воюют, как нормальные мужики. И еще как бы, совсем немножко где-то внутри, в глубине этого «внутри», сладко подзванивало, что мстят за всех «срезанных» на экзаменах в российские университеты, за всех не принятых на работу по «пятому пункту»...

Во-вторых, хотя я и отказалась в свое время наотрез менять «крамольный» еврейский паспорт на русский, ибо судьбу не меняют и от родителей не отрекаться, но что-то во мне всегда краснело при обсуждении «еврейского вопроса» в русской компании, я как бы отодвигалась от разговора, как будто он меня не касался... Может быть, с точки зрения раввинов, это было и мудро, во всяком случае, разного рода Борухи, возникшие вдруг здесь из Борисов, никого, кроме меня, наверное, не смущают. (Это мне иногда хочется вдруг спросить: так что ж вы, бороваы, там-то боялись назвать себя настоящим именем или же, наоборот, здесь стилизуетесь?)

А вдуматься: так ведь и просто промолчать, отодвинуться — это есть оно, то самое, что нас бесит в других. И в первую очередь презренная попытка спрятаться от своей национальности, хотя и не пряча ее от других, но стыдась ее и одновременно возгордившись ею, кичась своим отщепенством, которое на русском языке называется изгойством, потому что «гоем» на еврейском языке называется русский. Вот они, два типа еврейской гордыни: гордыня пресмыкающаяся и гордыня шапкозакидающая, из которой произрастают как бы русские народные евреи: евреи-алкаши, евреи-красные командиры, евреи-космополиты

и еврей-антисемиты... Как будто национальность — это или орден, или клеймо, а не всего-навсего оболочка, фантик, в который завернуто обычное человеческое сердце...

Как смешно и печально смотреть на русских евреев, которые пытаются в Германии стать или хотя бы выглядеть немцами; поучая других своему нелепому, с акцентом на сто верст, немецкому языку, предавая сразу две свои родины: Россию и, как они думают, Израиль, они выглядят, само собой разумеется, не бывальными европейцами, а жалкими клоунами на хохочущей над ними немецкой арене. Даже не на арене, а на рыночной площади, потому что в цирке выступают профессионалы. Цирк — это уже большая политика...

Ну, что, сладкая моя, обращаюсь я к себе по-немецки, если уж тебя потянуло на беседы по национальным вопросам, лучше всего позвать гостей, Вольфганга или Гришу, или, еще лучше, сразу обоих; потому что с ними все это как-то забывается, можно даже перепутать, кто где родился: кто здесь, в благословенной Готтом Швабии, а кому «ридна мати» Украина... И поговорить о России...

XX

Утро напомнило кадр из итальянского кинофильма, хотя его героиня, хлопающая на крыльце не крыльями, а бельем наседка-соседка, меньше всего походила на Анну Маньяни или Джульетту Мазину, и вообще Феллини, Антониони, Висконти превратились для меня в воспоминания... о Петербурге. Вот как иногда получается в жизни: здесь Италия на расстоянии одной автобусной ночи, и сын едет туда на каникулы, и обувь итальянская — на всех прилавках, как гондолы — в венецианских каналах, банановыми связками, но та, моя страна самого солнечного в мире искусства куда-то от меня отодвинулась, как и моя Франция, и моя Германия...

Представьте себе человека, упавшего с самолета в джунгли: он должен брести куда-то, лишь бы идти, он должен стараться не забыть правила арифметики и рафинированный — по сравнению с рычанием и шипением — человеческий язык, он не имеет права царапаться и кусаться, даже если ему грозит опасность, и, пока он помнит, осознает, что он человек, он жив и может когда-нибудь наткнуться на узкую путаную тропинку, ведущую к широкой дороге и, значит, к спасению...

Я вдруг почувствовала, что главная опасность уже позади, кризис тяжелой и продолжительной болезни, имя которой — ожесточение, миновал, постепенно переставало трясти от приближающихся сограждан, возвращались мудрая снисходительность и спасительная ирония.

Или это, наоборот, происходило самое страшное: привыкание к ежедневному кошмару, как к должному, как в тюрьме или в лагере другого типа (это был лагерь, так сказать, только усиленного режима общения), и тогда маленькие радости, которые я уже как бы научалась (не научилась еще, но уже научалась) воспринимать, означали не возврат к человеческой, в моем понимании, жизни, а, наоборот, безнадежный отказ от нее, сползание в некое насекомое существование, проще говоря — деградацию...

Как бы там ни было, солнце сияло, несмотря на то, что мне опять не пришел конверт с квартирой; оно лепило и заставляло щуриться — как улыбаться...

Не случайно, мне кажется, представители желтой расы всегда будто бы улыбаются, даже когда учиняют себе хакакири или шинкуют кого-нибудь на крыше мечом. Желтые лучики морщинок у глаз обманчиво превращают лицо в круг солнцеподобный. Все восточные злодеи так улыбались: и Чингисхан, и Владимир Ильич, и даже моя рыжая кошка... А западные иначе: старательно, открыто, фарфорово, словно они рекламируют зубную пасту. Только, пожалуй, Гитлер ни на кого не похож, нет, есть все-таки, как мы уже говорили, один персонаж, булгаковский Шариков, когда профессора преображенские недооценили опасность, упустили момент и он сделался фюрером.

Несчастливая все-таки страна — Германия... Ведь живешь в ней, пользуешься ее благами, но, положив руку на сердце, относишься примерно так, как в браке по расчету к богатой и постылой жене, то и дело попрекая ее скандальным прошлым, которое она честно хотела забыть. И она затыкает все бранящие ее рты деньгами до следующего, иногда специально ради этого спровоцированно-го скандала...

Но утро, повторяю, выдалось ни с того ни с сего радостное, что-то ликовало вокруг или внутри, прошел, «жопу выключивая», как выразилась убийственно точно одна девушка из хорошей семьи, комендант лагеря, такая была у него, оттопыренная, что ли, походка; пошутил, хоть и не без язвительности, по своему обыкновению (а его, по обыкновению, не поняли — и поползли слухи), что все евреи должны сдать свои меха в социаламт как предмет роскоши.

Разумеется, больше всех напугалась владелица драного козлиного полушубка и такой же драной и нежно любимой ею кошки, у нее даже не хватило фантазии эту кошку как-то назвать, хотя бы Машкой, кошка и кошка, но зато хватило терпения трястись с нею через все таможи, сначала — в поезде, а потом — в автобусе. (Можно ли прибыть в Германию с кошкой, она заранее не справлялась, а кто не задает вопросов — тот не получает и отрицательных ответов. Это еще раз о вреде грамотности.)

Она теребила всех, предлагая лично убедиться в ветхости и непрезентабельности своего козла, и еще ее явно беспокоил вопрос, не отнесут ли к ценным мехам и кошку... Кто их, этих немцев, знает...

Разумеется, больше всех издевалась над недотепой и простофилей женщина породистой осанки, которую звали как грузинскую царицу; была она не тех, конечно, кровей, но из тех краев и, струхнув, я думаю, еще раньше, но раньше и сообразив, теперь вымещала свой испуг на остальных. (А шубу свою предварительно, на всякий случай, все же припрятала, сказав мне: «Вон как парит, в этом году больше уже не понадобится».)

Люблю неглупых людей. Если они даже сволочи, то все равно способные, работоспособные сволочи, просто им Бог таланта не дал, а умом и сомнением не обделил. Из них получаются профессиональные функционеры не важно какой партии, и, что бы они ни пропагандировали (с усмешкой вовнутрь), делают они это гораздо лучше, чем верующие в то, что они делают, прекраснотушные дилетанты.

Могу представить себе, что сейчас творится в Израиле: туда уже столько вчерашних партийных и профсоюзных боссов понаехало, что надо в каждом втором доме открывать синагогу, чтобы дать каждому руководящий «стол и стул»... Помните, у Льва Кассиля маленький Оська спрашивал: «Мама, а наша кошка тоже еврей?»

Еврей, еврей, в том-то и дело, что каждый сидящий здесь, за этой решеткой, на этом квадрате горячего уже асфальта, в той или иной степени еврей, даже Вася Иванов, даже влетающая в комнату без приглашения, как атомная бомба, лезущая на тебя при разговоре всеми руками, как на дерево, разбитная бабенка с узкими раскосыми глазами, все, все они евреи, и даже кошка-кошка, и даже сам до слез или сквозь слезы смеющийся автор...

Впрочем, я опять — по своей скверной привычке перескакивать с места на время — отвлеклась от того неожиданно погожего утра, когда два дома ослепили друг друга смеющимися стеклами и разбуженная солнцем и вестью об уценке в универмаге соседка из Львова, та самая, которая когда-то втиснулась перед нами в нашу, только нашу и ничью больше, комнату, выкатилась на крылечко, чтобы развесить на заднем дворе белье, и с ходу вступила в диалог со всеми окнами противоположного дома:

— Девочки, а в Кауфхофе были?

— Были!

— А бюстгальтеры там есть?

— Есть, там все есть!

— А на мои титьки, вы только посмотрите, какие большие, тоже есть?

И я вдруг подумала, что вот натянуть бы между этими домами бельевые веревки, чтобы небесно-голубые подштанники, пожарного цвета футболки, белые майки развевались, как флаги, — вот это и был бы любимый квартал Феллини.

И еще я подумала, что «бюстгальтер», конечно же, немецкое слово, но его здесь уже не употребляют, зато оно хорошо прижилось в России. Так же, как «ярмарка», «вундеркинд» и многое другое, что появилось в граде Святого Петра вместе с первыми швабами.

И что не только легендарный граф Орлов (не о полюбовности речь, которая — личное дело каждого, но о почтении к личности иностранца, ежели эта личность того заслуживает), не только он, непокорный — и покоренный, но и вся Россия не погнушалась поясно поклониться уроженке здешних краев, назвав ее государыней своей Екатериной Великой.

И пусть не душевного благородства (на это я не надеюсь), но здравого смысла у немцев хватит: чужаки — дешевая рабочая сила, грех и глупость отказать от такого подарка. А русскому человеку, будь он еврей или аузидлер, только дай шанс — уж он развернется и помощи ни у кого не попросит.

Словом, если не все, то что-то должно когда-то как-то наладиться...

А вечером сын принес мне письмо, которое ему отдали еще утром, но он думал уже не о нашей с ним квартире, а совсем о другом, в глазах его дрожали и переливались огоньки первой влюбленности, и слава Богу, а письмо было то самое, которое я уже устала и перестала ждать, и еще второе — от мэра города, который желал нам в его и — теперь — нашем городе счастья...

Тут, собственно говоря, и кончилась отчаянная повесть — и началась нечаянная жизнь!..

* * *

Метаастазы грозы раздаются в осеннем саду.

Я теперь поняла: боль не тлеет, а громко сверкает.

И рыданья небес, подхватившие с пеной — звезду,

С плеч покатых стекают...

стекают...

стекают...

Стихает.

Оглянись и увидь, никого и ни в чем не вина:

Нежно-розовый край...

Черный крестик — наверно, Иуда...

Мы стоим, как волхвы, над рождением нового дня,

И каким бы он ни был, для нас он — великое чудо...

Послесловие

Чтобы литературное произведение можно было считать завершенным, ему, вернее к нему, полагается послесловие. Это так же неукоснительно, как библиография — к диссертации, хрен — к осетрине, рогалик — к утреннему кофе... В любом деле — и тем более в повествовании — нужна последняя, изящно закругляющая событие виньетка...

Но, мой внимательный читатель, если ты был действительно внимателен при нашем знакомстве, тебе удалось уловить смысл и дух послесловия еще в междустрочии.

Ты догадываешься, что автор, в общем и целом, удовлетворен своей жизнью, но не собой, и это тоже неплохо, потому что самоуспокоение, где бы оно нас ни настигло, всегда находится в осязаемой близости от кладбищенского миротворения; ты почувствовал, если даже не посочувствовал автору, что ему целый мир — в той или иной мере — чужбина.

Однако он не кричит «Дайте мне другой глобус!», потому что и безо всяких услуг космического бюро путешествий заранее, априори знает, что все миры так или иначе — зеркальны.

Но это уже взгляд в сторону теоретической физики, а в точных науках, за исключением поэзии, автор компетентен не более, чем соловей — в кибернетике...

Поэтому оставим его с кружкой темного охлажденного пива в уже заслуженной прилежными посещениями и щедрыми чаевыми (знай наших!) Stammkneipe мечтать о какой-нибудь марсианской Франции (ибо к Франции, расположенной по соседству, у него тоже есть кое-какие претензии) и тосковать о своей горькой, отстоявшейся в памяти, светлой, без примесей, может, уже и не существующей на земле, призрачной и пьянящей до слез России...



Н о в ы е с т и х и

* * *

Ее репутация лакомки,
еще точнее, обжоры,
просто-таки прорвы,
оправдывается.
И это ему на руку.
Он наконец-то
понял,
как удержать ее:
всегда быть вкусным.
Разве не
причмокивала она
только что,
уминая
последнюю дольку
его губ?

* * *

Знаете,
меня интересует
ткань любви,
ее, ткани, непрочность.
Есть такие ярлычки на одежде:
стирать только руками
или
гладить утюгом до 40°.
Да, гладить руками,
но избегать перегрева, тем более
не доводить до каления.
Нет, правда,
вы меня не интересуете,
хотя и волнуете.
Но вот ткань, ткань...

Кротиное

Она не видит:

его валькового тулова, короткой шеи,
лап с вывороченной наружу ладонью,
переразвитой грудной клетки,
зачаточных глаз, затянутых пленкой.

Он не видит:

ее тонкой скуловой кости,
 меха из черного бархата,
 продолговатых утлых лопаток,
 кистей с громадными когтями,
 выдерживающими сравнение
 с самыми современными лопатами,
 свежего чернозема под этими когтями,
 рудиментарных глаз.

Я не вижу:

как она царапается о ежиху,
 чтоб он занюхал ей царапину,
 как он тычется хоботком
 в ее запавшее ухо,
 прикрывает ее зонтом
 от дождевых червей,
 протягивает в лапе
 совок, шелкунов, личинок,
 проворно бегаёт за ней
 по свежеврытым ходам
 и догоняет

Все знают:

об их роющем образе жизни,
 неугомонной почвообразовательной деятельности,
 их неуживчивости, хищности, прожорливости.

О них сказано:

в широком смысле —
 приспособившиеся к подземному быту
 млекопитающие.

Ладно, а в узком?

Она им не надышится.

Он на нее не наглядится.

* * *

Все же
 некоторые ночи
 куда нежней
 прочих.
 Особенно вон та,
 скорее половина ее,
 острая и короткая,
 на краю
 Мюнхена.

* * *

Он трогает рукой
 свое лицо, губы.
 Нет, не может быть.
 Следы таких поцелуев
 можно встретить
 только в «Темных аллеях»
 Ивана Бунина.

* * *

Вот говорят:
страх смерти, страх смерти.
У нормальных если и есть,
то когда нюхают ее, трогают.
Непосредственно.
А так, да, страх, но страх за близких:
в какую воду канул?
почему не позвонила?
куда провалился?
Эти ветреные мамы, дети, мужа, любовники!
За них, за них, особенно ночью, не за себя:
до сырого, липкого, смертного.



Р а с с к а з ы

ЕЖЕЛИ

Велика земля наша, привольна! Из конца в конец не оглядишь — ослепнешь, из края в край не перейдешь — охрмеешь, умом единым не охватишь — свихнешься... Реки текут обильные, тайга стоит — суропится, степь ковылем непролазным бренчит, на болотах клюква оскомится, кисельным боком дразнится. Живность везде. В небе сокол-молодец кружит, посвистывает, лягуха лупоглазая животом пучится, заяц-мозгляк в буераке кукожится — весну приветствует. Спокойно все, неспешно, обстоятельно. Нет суеты, не терпит ее природа, оттого и ушла из больших городов, от дыма да железяк. Трудно природе с человеком, вроде бы и мать ему, да давно отсохла-отвалилась пуповина, нет больше кровной связи, чужие стали... Ну а если уж живет кто по естеству, ему определенному, того бережет природа-мать пуще глазу...

В самом что ни на есть уремном месте, километров, может, за тысячу от ближайшего беспокойного соседа, раскинулся на приволье неприметный городок и живут в нем люди-ежели. Пришло когда-то с Севера небольшое малоразговорчивое племя да и прижилось на полюбившейся земле. Вырубили сколько нужно деревьев, поставили крепкие избы, распахали землю, наладили силки на зверя, закинули сети. Лет триста, наверно, прошло, а жизнь тут не меняется (по мелочам разве что), уклад ее прежний, заведенный, незыблемый, и чтут его ежели превыше всего, понимают: перемены, они — к вымиранию...

Мужики у ежелей — на загляденье. Все блондины, голубоглазые, статные, рост у каждого метр девяносто и лет всем по тридцать пять. Как пришли сюда в тридцать пять, так столько же и осталось — Бог даст, и через сотню лет будет им не больше. Все ежели на одно лицо, различить их невозможно, и зовут всех одинаково — Ежелев Федор Федорович.

Бабы, пожалуй, выглядят похуже. Они низкорослы (все метр пятьдесят), смуглы лицом и чернявы волосом. Им по двадцать девять, каждая Варвара Ефимовна, а по фамилии почему-то Финтюкова. Есть, конечно, у ежелей и дети. В семье по мальчику и девочке. Мальчишки поголовно беленькие, Васятки, им по восемь. Девочки — смуглянки, Верки, им по шесть.

Просыпаются ежели рано. Будильник трезвонит чуть не в пять.

— Давай, Федь! — тычут мужей ежелянки и бегут в хлев к корове.

Мужики оттягивают момент, сидят на широких полатах (ноги на пестром половике), вздыхают, чешут кудлатые головы.

Бабы гремят во дворах подойниками, им помогают девочки, отгоняющие от животных слепней (мальчишки вовсю гоняют по огородам).

Завтрак готов. На столе — парное молоко, творог со сметаной, ватрушки. Летом — всегда ежевика. Семья, свежеемытая и причесанная, степенно насыщается.

Поели — и за работу. Все ежели — специалисты по народному промыслу. Лучшая горница в доме отведена под мастерскую. Мужчины садятся вырезать ложки, женщины ткут и напевают чуть хриплыми голосами, им помогают девочки, отгоняющие от матерей оводов (ловкие отцы прибивают насекомых сами только что завершенными изделиями). Работают, пока не вернуться со школы мальчишки.

В полдень семья обедает. Женщины разливают по глиняным мискам духмяные щи с головизной, им помогают девочки, отгоняющие от еды мух.

— Ну,— спрашивает ежель сына, втягивая ноздрями аппетитный пар,— какие сегодня оценки?

Мальчишки — способные, материал схватывают на лету, но вот внимания и усидчивости им не хватает. Оттого и четверки вместо пятерок. Отцы, впрочем, не привередничают. Четверка — это хорошо, считают они и обещают как-нибудь купить сыну мотороллер.

После обеда мальчишки садятся за уроки, им помогают девочки, отгоняющие от братьев комаров. Женщины дотемна копаются на огороде, а мужчины ближе к вечеру отправляются на площадь, где угощают друг друга душистым самосадом (ежели умеренно курят и почти не пьют) и обстоятельно беседуют о видах на урожай.

По субботам ежели моются в бревенчатых баньках, заходят всей семьей, напускают пару, хлещутся до изнеможения березовыми вениками, отпиваются квасом.

Спать ложатся рано — на часах едва восемь.

Детишки, умаявшись за день, ровно дышат под лоскутными одеяльцами.

— Давай, Федь! — тычут мужей ежелянки, прижимаясь худыми твердыми телами, но ежели уже спят, обняв вместо жены толстую пуховую подушку.

Городок называется Ежевск, надо бы, конечно, Ежельск, да напугал когда-то полуграмотный дьяк, с тех пор и пошло.

Ежели — народ добродушный, необидчивый, коллективный. Самое неприятное для ежеля — невзначай чем-то выделиться. Самое страшное оскорбление — словечко «который». По заведенному раз и навсегда обычаю ничем один ежель не должен отличаться от другого.

Одеваются, само собой, все одинаково. Мужчины носят длинные бязевые рубахи с бахромой и узкие нанковые порты с заплатами на коленях. У женщин — расшитые осколками стекла пестрые доломаны. Детишки в одежде — точная копия родителей.

Непременный предмет национального костюма — остро отточенный топор, который все ежели носят подвязанным к широкому поясу. У мужчин топоры большие, с удобными гнутыми ручками, у женщин — поменьше, у детишек — совсем маленькие, легкие, с затупленным лезвием.

Все улицы в городке — Жельские, всем домам присвоен один номер — восьмой.

Больницы в Ежевске нет, все ежели отменного здоровья, никто никогда не болеет, не умирает и больше не рождается (оттого нет и кладбищ с родильными домами). Правонарушений ежели не совершают, однако милиция есть. Каждый мужчина по очереди надевает фуражку с гербом и степенно прохаживается по улицам или сидит в специальной милицейской избе и пишет отчет об отсутствии происшествий. В городке есть электростанция, пожарная часть, магазин, пекарня и почта, но специальных электриков, пожарных, продавцов, хлебопексов и операторов не водится. Ежели умеют все и работают на необходимых объектах по расписанию. В специально выделенном доме — городской совет, каждый ежель (мужчина) примерно раз в году его председатель, он же судья, народный заседатель, депутат всех уровней, нотариус, казначей, судебный исполнитель, председатель совета ветеранов, управляющий фондом приватизации и все остальное.

Для мальчишек выстроена школа. Пацаны ходят во второй класс. Взрослые по очереди преподают им, сорванцы прекрасно усваивают материал, но за лето решительно забывают, чему научились, и осенью все приходится начинать сызнова. Одно хорошо — учебники новые не нужны.

Хозяйство у ежелей — натуральное. В хлеву корова, свинья, десяток кур. На огороде овощи. Два раза в год в областной центр снаряжается санно-тракторный поезд. Туда везут изделия народного промысла и дары леса, обратно доставляются мука, мазут, спички, гвозди, сласти и чернила для ребятишек.

Все ежели одинаково мыслят, ведут одни и те же разговоры. Начнет, к примеру, ежель беседу с одним сородичем, а закончит с другим и не заметит — все втихомолку получится. Вопрос задаст одному — ответ получит от другого. Договорится с кем-нибудь и может быть спокоен — никто его не подведет.

— Одолжи мне две меры муки до осени,— попросит, скажем, ежель у кого-нибудь, перекуривая на площади.

— Охотно,— ответит ему любой.— Зайди завтра с утра.

Наутро наш ежель стучится в первый попавшийся дом.

— Насчет мушцы? — спрашивает его хозяин.— Забирай вон тот мешок. Я с вечера приготовил...

А по осени тот, кто занимал, непременно должок вернет, еще и с привесом и совсем не обязательно в ту же избу.

— Принес? — встретит его хозяин.— Поставь, будь добр, вон в тот угол...

В городок приходят иногда открытки и письма на имя Финтюковой Варвары Ефимовны, проживающей по Жельской, восемь, или денежные переводы на тот же адрес Ежелеву Федору Федоровичу. Их получают ежели, которые проходят мимо почты.

— Зайдите! — кричит им оператор.— На ваше имя пришло отправление.

И никогда никаких недоразумений.

Любой ежель может зайти в любой дом, и если там отсутствует хозяин — стать им. На дверях домов всегда висят таблички «свободно» или «занято». Выйдя по надобности в город, ежель обыкновенно не возвращается на то же место, а занимает свободное в доме, где в данный момент нет мужчины. Так же поступают женщины и дети.

«Мы все — одна семья» — это основная заповедь ежеелей. Все они по вероисповеданию ксилофонисты, поклоняются выставленному в молельном доме огромному ксилофону (маленькие есть в каждом доме), на нем же по очереди отстукивают аккомпанемент для своих духовных песнопений.

Ежели — отличные спортсмены. Основной спортивный снаряд — топор. Соревнования проводятся по метанию топора, его перетягиванию, поднятию связки топоров, плаванию с топором, ориентированию по топору. В зимнее время ежели в одиночку и парами фигурно катаются на топорах по льду. Рекорды у ежеелей постоянны, результат все показывают одинаковый, и поэтому победители — все.

По воскресеньям ежели играют в шахматы со своими женами. Мужчины — белыми, женщины — черными. Все партии протекают одинаково — с небольшим позиционным преимуществом мужчин, но заканчиваются всегда вничью, вечным шахом на тридцать шестом ходу.

Все ежели — отличные стрелки, они по очереди ходят в дозор и ни за что не пропустят чужого. Спокойные решительные лица и выставленные наперевес винтовки М-16 начисто отбивают у туристов охоту заглянуть в затерянный непонятный городок.

Ежели — оптимисты, на центральной площади постоянно треплется кумачовый лозунг с надписью: «ЕЖЕЛИ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» Редко, очень редко жителей города посещает неуверенность в завтрашнем дне (доходят кой-какие слухи из области), и тогда запятая на транспаранте замазывается, а восклицательный знак на конце превращается в многоточие...

Зимой ежели живут кучно, из города без нужды не вылазят.

Снегу за ночь навалит столько, что поутру выбираются наружу через печную трубу — дымоходы в домах широкие, с железной лесенкой внутри. Детишки пронырявают запросто. Бабы, верткие телом, тоже проходят хорошо, а вот мужики — никак. Не захочет жена разгрести у входа — так и просидит ежель в доме, пока на дворе не подтает. Однако такое себе дорожке выйдет: кто же тогда работу снаружи сделает?

Весной ежели тоже далеко не уходят: грязь вокруг, распутица, а вот летом начинаются у них настоящие дела.

Тайга подсохла и подготовила щедрые дары.

Мужики идут бить зверя. Промышляют медведя, лося, мускусную кабаргу, но более всех ценятся хорь и калиныч. У хоря шуба хоть куда, ну а про мех калиныча (зверя редчайшего) и говорить не приходится — этот идет исключительно для жен миллионеров.

Бабы отправляются по грибы, кедровые шишки, ягоды и тянут обратно полные мешки да корзины...

Собственно, летом в тайге все и началось.

В одном из окраинных домов Ежевска проживала некая Финтюкова Вар-

вара Ефимовна, ничем вроде бы от остальных женщин не отличавшаяся. На самом же деле различие было.

За ухом у этой ежелянки имелась довольно крупная родинка, под волосами не видная вовсе. Это была большая странность сама по себе, поскольку ни у кого из ежелей ни на лице, ни на теле никаких родинок не водилось.

Нашей Варваре бы взять и забыть об этом обстоятельстве, тем более что никто о нем и не догадывался. Ан нет — начала она думать и додумалась Бог знает до чего.

Она додумалась до своей индивидуальности и решила, что все у нее должно быть индивидуальное.

Все ежели выходят из дома, переворачивают табличку «занято» на «свободно» (мужская табличка — голубая, женская — розовая, детские — тех же цветов, только поменьше форматом) и возвращаются потом куда поближе. А на Варваринном доме — всегда все «занято», чтобы чужим nepовадно было. Детям строго-настрого наказала свой дом запомнить и в другие жить не являться, мужа специально пометила и других ежелей к себе не подпускала. Детишки — смышленные, сразу поняли, что к чему, а мужик — дурной, никак в толк не возьмет: для чего, какая разница? Удивится жениным разговорам и сразу все позабудет. Уйдет с мужиками поболтать и к Варваре уже не вернется — дом-то окраинный, есть и поближе свободные. А то и дойдет до «своего» дома, увидит табличку «занято», которую Варвара из хитрости держит, да и повернет к соседке.

Не сбегает Варвара за мужем, не перехватит где по дороге, так и останется на ночь одна, а то и на много дней и ночей, пока не забредет суженый случайно, «на общих основаниях» (если она перед самым его носом табличку перевернет). Одна и одна, со стороны ничего странного нет — мало ли, мужик на дежурстве или поперся в область на санно-тракторном поезде.

Вот и приходилось Варваре все больше полагаться на собственные силы, и от этого становилась она смелее в мыслях и независимее в поступках.

По вторникам, к примеру, работает в Ежевске магазин. Продавщица и не спрашивает, кому что нужно, сама знает: муки три килограмма, ведро мазута, пакет спичек, килограмм гвоздей, конфет сто граммов и склянку чернил. Плати и забирай, все давно подсчитано и упаковано. А Варвара придет — ей, будь-те добры, муки два килограмма, мазута бутылку, спичек пять коробков, гвоздей вовсе не надо, конфет — целый килограмм и чернил три склянки. Продавщица тарасится, ничего понять не может.

Или с телевизором (есть они у ежелей).

Народ смотрит мексиканские сериалы — в них все одинаково, оттого и нравится людям, а Варваре — тошно, переключит она на другую программу, новости послушает. Там каждый день все меняется, хоть и в худшую сторону, но все равно интересно.

Поутру соседка говорит Варваре:

— Здорово вчера Марианна уделала Лопеса Карлоса Бравоса, да-а?

А Варвара ей:

— Что-то у монетаристов опять консенсуса не вышло...

У бабы за плетнем — аж подойник оземь, хорошо, что соседки у Варвары каждый день разные, одна бы долго не выдержала...

С детьми опять же.

Сын каждый год — второгодник, дочка только и умеет, что мух гонять, — куда это годится?

Васятку отшлепала первый раз в жизни, запретила без толку по огородам носиться и засадила на все лето за повторение пройденного, Верке приказала рядом сидеть — слушать да запоминать. Проверила ближе к осени — Васятка не дурак же, разболтанный только: все верно парень докладывает. И про перенос слов, и таблицу умножения, и стихотворения разные. И Верка уже буквы-цифры всю разбирает, от брата почти не отстаёт. И что интересно — подростки ребятишки за лето, стали покрупнее сверстников, не очень, конечно, с первого взгляда заметишь, но она-то, мать, видит.

...Приперлась как-то в дом баба. Соли притащила полмешка. «Куда, — спрашивает, — ставить?» А Варвара ей: «На что мне твоя соль, своей полно!»

«Так брала же я по прошлому году!» — удивляется глупая. «Где брала — туда и отдавай!» — заявляет Варвара. — Мне чужого не надобно!»

У бабы такое лицо сделалось — хоть больницу в городе открывай. Но ничего — маленько на табурете отсиделась, воды ключевой попила да и перенесла мешок в соседский дом — там уже ждали...

Пошли промеж ежеелей слухи о какой-то дури. Никто, конечно, и предположить не мог по первости, что это одна какая-то баба хулиганит, что завелась вдруг в городе «которая». Думали, разные бабы дают сбой по временам, выпендриваются. Ну, и Бог с ними, какая же баба без выпендрежа — пройдет!.. Вот и прошляпили момент в зародыше.

А Варвара свою безнаказанность почувствовала, стала еще смелее, рисковала даже национальный костюм порушить — без топора по улице прохаживалась, он хоть и удобно прилажен, а все равно тяжесть, по ляжке ударяет да и не нужен каждую минуту.

На почте от открытки отказалась. «Не мне!» — говорит. Открытка известно какая — от ежеля, что ушел с поездом. Мол, дорогая жена, привет тебе из областного центра. Федор. А Варвара только-только мужа на соседнем подворье видела — дрова колет, дурак! Так не ей же открытка! Но пойдя докажи оператору! Опять поругалась...

А сама, когда в очередь дежурила на той же почте или в магазине с *индивидуальным* подходом к посетителям!.. Лучше и не рассказывать!

В общем, начала обстановка в городе накаляться, а потому, чтобы не засвечиваться, решила Варвара уйти на пару дней в тайгу, тем более конец лета — всего полно.

Отдала ребятишкам кой-какие распоряжения по хозяйству (дети у ежеелей самостоятельные), короб взяла пустой, мешков пару, соли щепоть, топор к ясу подвязала (тут уж действительно нужен!) да и пошла.

Тайга прямо за домом начинается. Правда, поблизости давно все обобрано, хочешь принести чего — подальше отойти надобно.

Идет Варвара, палкой траву щекочет, песни поет чуть хриплым голосом, думает о своем. Все о том же думает, и хочется ей чего-то непонятного, перемен каких-то в личной жизни. Тайга шумит, деревья огромные Варваре кланяются, сойки целкают, птица-секретарь на ветке прихорашивается, челкаши мокрохвостые скачут, лось грубошерстный с птеродактилем чего-то не поделили — копытами бьются, вспотели оба, вот-вот загрызут друг друга. Не выдержала Варвара — шуганула зверье, навела порядок в животноводстве...

Губан стоеросовый на прогалину выскочил и ну перед женщиной кочевряжиться! Чехвостится, лыбится, рукоблудничает. Варвара ему палкой по задку бесстыжему — ужю тебе, охальник! И как такого губаниха терпит? Тяжела бабья доля!

Однако не только она зверьем занималась да мысли думала — помаленьку и в коробе за плечами скопилось: ежевики килограммов семь, травка марципановая — первейшая подмога при почечуе, кора баобаба — от поносу, корень фейсаловый для освежения воздуха в уборной, грибки дрожжевые...

Темнеет в тайге рано — ухнет филин четыре раза, и готово, сразу ночь опускается, внизу и в шаге ничего не различишь, зато вверху все до космоса видно. Звезда в небе крупная, штучная, отборная. Одинаковых нету. Одна жемчугом отликает, другая вроде как малахитом подсвечивает, третья рубином пылает. Некоторые звездочки с бахромкой по краям — нарядные. Есть, которые в тумане, скрытные, до себя не допускают, имеются и совсем прозрачные — разглядывай, любуйся, нам таить нечего!

У Варвары, конечно, все готово, шалаш стоит как вкопанный, внутри на полметра лапника, простыня постелена чистая, в наволочке — лавровый лист, костерок у входа потрескивает, комара-людоеда дымом отваживает, пшенка в котелке булькает, фаршу мясного подсыпать — и готова еда.

Помешивает Варвара кушанье, слушает ночные голоса. Кикиморы из болота повылазили, хохочут, непристойности выкрикивают, дуры, стыдно за них. Леший в два пальца сморкается, некультурный. Русалка на ветвях все по какому-то Даргомыжскому убивается, плачет; как без ног на дерево забралась —

непонятно. По-татарски кто-то лопочет, это — незванный гость, шурале, он еще танцует здорово... Хотя и нечисть кругом, а не страшно Варваре, знает, что бесовщина ежелей сама побаивается, за версту обходит... А вот голоса знакомые, все одинаковые, мужики в дозоре ходят — перекликаются, чужих в город не пропускают, а чего не пускать, была бы здоровая конкуренция... Слипаются у Варвары глаза, забирается она в свой домик-пряник, ложится в смоляной дух, топорик, как заведено, под правый бок, чтобы при случае сподручно получилась... Спит. Не ведает, какое ждет ее происшествие.

Утром Варвара слышит — вроде стонет кто-то.

Светло уже, кругляк солнечный далеко по небу выкатился — все осветил да прогрел. Паучки звенят на проволочках, сороки над головой трендят, рывкает-зевает на реке заспавшийся гиппопотам, и сквозь привычные эти звуки пробивается чужое, незнакомое.

Изготовила Варвара топорик, идет на стон и видит — лежит на спине в широкой ложбине диковинный человек. Мужчина. Из себя мелковатый, не больше ее самой, голова плешивая, на носу очки из проволоки, весь в черной бороде, одет в брезент, смотрит на Варвару, морщится, стонать перестал. Варвара из мужиков только ежелей и знала. Этот — не ежель.

Варвара подрастерялась маленько — на месте переминается, топориком вертит.

Молчат.

Мужичонка первым опомнился.

— Здравствуйте! — говорит Варваре.

— Здоров! — отвечает она. — Чего лежишь и кто таков?

— Я, — отвечает мужичонка, — геолог. Ищу полезные ископаемые. А лежу потому, что ногу сломал.

Сунул он руку за пазуху, конфет достал в ярких обертках, Варваре протягивает:

— Угощайтесь!

Взяла Варвара. Вкусная конфета оказалась — не иначе, на ксилите сделана. Диковинно ей, как хмырь сквозь дозор прошел, ловкач, не иначе. Однако не оставлять же его раскоряченного — такого и заяц затопчет.

— Показывай, — говорит, — чего там у тебя. Я первой помощи обучена.

Мужичонка посмотрел на нее особенным взглядом (глаза — черные, непривычные), улыбнулся (зубы — белые, как у ежелей), штанину подзадрал, сморщился.

Смотрит Варвара — перелома нет никакого, вывих типичный. Сапог стащила, портянку размотала да как дернет!

Крикнул мужичонка, руки в стороны раскинул, побелел и затих. Варвара бинты достала, разжевала корня можжевельного, выплюнула кашицу на пострадавшее колено, обложила подорожником, затянула все, узелок аккуратный завязала. Сидит, ждет, пока не оклемается геолог. Еще конфету съела. Точно, на ксилите!

Застонал мужичонка, открыл глаза. А Варвара уже осинку срубила, подтесала, наверху рогатинку оставила.

— Ну-ка, — говорит, — примерься!

Поставила пациента на ноги, подперла костылем, рюкзачишко плохонький ему за спину приладила — гуляй, геолог!

А самой уже ясно: до областного центра здоровому ежелю две недели махать, а этот на десятом километре навечно останется с кикиморами.

Геолог и сам понимает, что жизненный путь его скоро может закончиться, прыгает на палке вокруг Варвары и уходит не спешит.

— Погода, — говорит, — сегодня хорошая! Солнце...

Варвара палец послунила, приложила к старому ясеню, туда, где кора чуть поотстала.

— Скоро дождь начнется. На несколько дней...

— Это как же вы определяете? — радуется геолог намечающемуся разговору.

— А ты глянь, — объясняет Варвара непонятливому. — Мокрицы наружу

выползают, а муравьи на их место забиваются и запасы переносят. Значит, надолго...

— Вы, наверное, из Ежовска будете? — переходит хитрюга ближе к теме. — Слышал я, город закрытый...

— Да уж чужого не пропустят, — отвечает Варвара. — С пяти километров дозоры отловят и отделают, а ближе подойдешь — и вовсе не вернешься!

Поскучнел геолог. К ясеню спиной привалился, за пазуху полез. Варвара решила — опять за конфетами. Нет, карту вытащил, пальцами водит, высчитывает что-то.

— Отсюда, — говорит, — до Ежевска три километра. — И опять бледный лицом сделался.

— Три километра сто пятьдесят метров, ежели по прямой, — поправляет Варвара. — А как пойдем в обход, чтобы не встретить никого, так все шесть километров наберутся.

Сказала и сама испугалась.

Не было такого промеж ежелей.

Неделю геолога выхаживала. Познакомились.

Варвара детей уложит — дети у ежелей сразу засыпают — и в подвал спускается.

— Здравствуй, — говорит, — Лазарь! Как самочувствие?

Геолог улыбается.

— Спасибо вам, Варвара Ефимовна, хорошее самочувствие!

— Ложись! — велит Варвара.

Лазарь укладывается на топчан. Он в одежде, что от мужа осталась, грязь таежную с себя давно смыл, волосы подрезал, симпатичный оказался и не старый вовсе, пожалуй, помоложе Федора года на два. Опухоль на колене спала, отвар колокольчика да ложка полыни на спирту кого хочешь на ноги поставят!

Сменит Варвара повязку, и садятся они чай пить с конфетами. Конфет у Лазаря полрюкзачка оказалось и ничего больше.

Варвара про ежелей рассказывает. Лазарь слушает внимательно, вопросы задает, записывает что-то в толстую тетрадку.

Потом — его очередь. Варваре интересно про большой город узнать, про жизнь вообще.

— Женатый ты? — спрашивает Варвара.

— Холостой! — смеется Лазарь. — Для женщин свободный!..

В шахматы играют. У Варвары — черные. Поддается он или что, но только она всякий раз к сороковому ходу мат ставит, когда ферзем, когда ладьей, а один раз — двумя конями против одинокого короля.

Лазарь доску отодвигает, руками разводит.

— Вам, Варвара Ефимовна, в соревнованиях выступать надо, — говорит не то шутя, не то серьезно (такая у него манера). — Вы, — говорит, — играете в силу женского мастера...

— Про Бетховена расскажи еще! — просит Варвара.

— Людвиг ван, — откликается Лазарь, — был глухой...

— А Даргомыжский?

— Этот пил сильно.

— Айвазовский?

— Айвазовский был армянин.

— Чайковский Петр Ильич?

— Детей любил сильно...

Так всю ночь и проговорят. Оставит Варвара гостю еды на день (на конфетах одних далеко не уедешь), предупредит лишний раз, чтобы сидел тихо, поднимется, лаз подвальный на замок запрет, ключ — в карман, поспит часок — и за работу. Лето заканчивается, с вареньями-солениями разбираться нужно, корову к Миколкину дню причесать, кобелю усы подстричь, петуху горло прочистить. Да мало ли!

Трудится Варвара на подворье, по дому хозяйничает, прядет куделю, несет из магазина мешок сахару, а лицо рассеянное, отвечает всем невпопад, и улыб-

ка непонятная на лице гуляет. Самой себе признаться не может, что ждет не дождется, пока ночь наступит и дети спать улягутся.

Быстро время пролетело. А как сел на крышу козодой, старые перья сбросил, новые приладил, кивнул бабе да и был таков — поняла Варвара, что это к разлуке.

Нога у Лазаря полностью зажила.

Лазарь — веселый, по подвалу вприпрыжку носится (большой подвал), напекает негромко, пританцовывает и Варвару на тур вальса приглашает.

— Рано радуешься! — страшит Варвара неумного. — Нужно еще из города выбраться!

Стала гостя в обратный путь собирать. Муки положила в рюкзак, крупы, сала, спичек, фонарь, батареек запасных, бумаги туалетной два рулона — как никак мужик из интеллигенции. Свитер теплый дала, топорик запасной.

Ночью вывела.

Вдохнул Лазарь свежего воздуха, закачался — обнял Варвару. Так и прошли пять километров незамеченные. Бог миловал, не зря же Варвара весь день у ксилофона просидела.

Посветили они друг на друга фонарями, поцеловались.

— Я, — говорит Лазарь, — никогда не забуду, что вы, Варвара Ефимовна, для меня сделали...

— Прямо иди, потом — налево! — пошутила Варвара (научилась кой-чему у Лазаря).

В дом вернулась, на ксилофоне подорожную сыграла (дети у ежелей спят крепко), чтобы шлось Лазарю ходче.

Двадцать пятого числа ежели баб не трогают. Запросто можно по рогам схлопотать. Ежелянки — злые, лицами морщатся, лист крапивный к телу прикладывают. Двадцать пятое число — день бабьей хвори.

Варвара, конечно, подготовилась. Загодя нарвала крапивы, сидит — ждет. Двадцать пятое сентября на дворе. Слышит — соседки все уже с мужьями ругаются, на детей кричат, скотине угрожают. Васятка с Веркой в угол забились, матери боятся, а Варвара никаких неудобств не чувствует. Так до вечера просидела безрезультатно.

«Это что же я — понесла?!» — ужасается Варвара.

Событие для Ежевска неслыханное. Дети в каждой семье имеются, но никто уже и не помнит, откуда они взялись, — стерлось за давностью лет. А здесь — здрастье пожалуйста!

Заметалась Варвара, что делать, не знает. Попробовала дрын-травой себе пособить, снадобье смешала из серного колчедана напополам с мышинными хвостами, сходила к Большому Ксилофону, пошептала в молельном доме — все впусти!

«Ладно, — думает, — может, само сподобится!»

Других проблем поднавалилось.

С мужиком. Надоело его, непутевого, на улице отлавливать. Ему все равно — какая баба, и дети для него — что свои, что чужие. Другая совсем идеология. Плюнула на это дело Варвара, табличку мужскую не переворачивает, держит из принципа на «занято» (свою да детские таблички и вовсе клеим примазала), других ежелей не пускает, живет безмужняя. Дровишек и самой поколоть можно, а материальная сторона? Деньги только мужикам выдают. Привезли обоз в областной центр, продукцию сдали — и, пожалуйста, с мешками к кассе. Что недополучили, будьте милостивы, примите по месту жительства почтовым переводом. А Варваре как?

С детьми. Первого сентября, как чувствовала, повела в школу сама. Первые пришли. Учитель Васятку сразу во второй класс отправляет, а на Верку и вовсе не смотрит.

— Как же? — начинает волноваться Варвара. — Он во втором классе в прошлом году обучался!

Учитель, спокойный пока, улыбается.

— Так-то оно так, — не спорит, — но ведь забыл за лето все, сорванец!

— Ничего он не забыл! — кипятится Варвара и мальчишке знак подает.

Тот как начал сыпать! Тут тебе и правила переноса, и строение лягушки, и вычитание столбиком. Стихи с выражением прочитал, рисунок нарисовал на доске, через голову три раза перекувырнулся и снова на ноги встал.

Учитель (он же директор) потный уже, нервничает, велит ребенку трехзначные числа в уме перемножить, а Васятка даром, что ли, все лето тренировался!

— Тридцать семь тысяч сто двадцать пять!.. Шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят один!

— Образ Муму! — кричит учитель.

— Лишнее животное в продажном мире чистогана! — шпарит мальчонка.

Сдался педагог. На стул свалился, ноги протянул, руки к полу свесил.

— Все помнит, стервец! Больше, чем нужно, знает! Будем с него лишние знания сбивать, чтобы был как все.

Чуть Варвара с учителем не подралась.

— Девочку мою, — требует, — во второй класс возьмите, она у меня дома за первый класс обучена!

Тут учитель не сдержался — кликнул в окно милиционера. Вошел ежель в форменной фуражке, Варвару с дочкой на улицу вывел, отругал, но отпустил по первому разу. Открытым вопрос остался...

С коровой, будь она неладна! Замуж собралась, дура, а ведь немолодая уже. Варвара с ней и так, и сяк — все ни в какую!

— Что, плохо тебе с нами? — спрашивает. — Сыта, одета, обута...

Отворачивается корова, не мычит, не телится. Заперла ее Варвара в хлеве, пока дурь не пройдет...

Ну, и осень сама по себе забот накладывает. Цыплят нужно считать, дом к лесу задом развернуть, чтобы медведь-шатун не забрел, опарышей из опары вынуть, силки на тараканов поставить — ближе к холодам непременно в комнаты переберутся...

Так в заботах месяц и отбегала.

Снова двадцать пятое число наступило. Октября.

«Ну, — думает Варвара, — сейчас или никогда!» — И крапивный лист наготове держит.

Ругань по всему городу стоит, сплошные скандалы кругом, а у нее в доме тихо. Ребятишки, глупые, радуются — игру затеяли, а Варвара потерянная ходит — точно, влипла! Уже и пояс на доломане не сходится. Скоро перед людьми за все отвечать придется. И за детей тоже. Васятка за лето подрос — других пацанов на полголовы выше, Верка круглиться начала. Что дальше будет?..

И вот уже приносят ей повестку к следователю.

Пришла Варвара. Сидит ежель в белой рубашке и черном галстуке. Письменный стол с телефоном. На полу толстый ковер.

— Паспорт, — говорит ей, — дайте.

Взял, данные переписал на бумажку.

— Я, — со всей строгостью объявляет, — сейчас с вас, гражданка Финтюкова, допрос снимать буду. Вы, — говорит, — обвиняетесь в подрыве жизненных устоев и в нарушении спокойствия в городе... Двадцать пятого числа, кстати, что делали?

— Ничего не делала, — признается Варвара.

— Да, — говорит следователь. — Тогда действительно все сходится. Распишитесь внизу страницы... Передаю ваше дело в суд!

А дальше — всеобщий позор и высылка из города вместе с детьми-переростками.

Видит Варвара, как грузят их тюки на санно-тракторный поезд. Судебный исполнитель рядом, глаз не спускает.

Прощай, Ежеск! Ходко идет поезд, шатко, валко. Сугробы режет (зима уже), прут индевелый лохматит, пни трухлявит. Стыло в тайге, зябко. Волчище матерый скоч на ветку и в дуло схоронился, на солону — сидит, дрожит, на обоз поглядывает: нельзя ли утащить чего из теплой одежды? Медведь корноухий бурюю шубу на белую сменил, в ледяное зеркало на себя любуется. Красивый стал — моржихе нравится, прыгает моржиха, лапами хлопает: браво, Ми-

хаил, вовремя перестроился!.. Пингвин недалеко стоит, пожилой уже, из пенсионеров, мороженое продает — райское наслаждение!

Дремотно Варваре. Спать нельзя — замерзнешь, подремать можно — иззябнешь только.

Видится ей Лазарь. В бобровой шапке, жилетка на нем, по животу цепочка пропущена, на ней часы золотые с боем. Смотрит Лазарь на циферблат, говорит: «Вовремя вы, Варвара Никодимовна, приехали!» «Да не Никодимовна я — Ефимовна!» — будто бы отрешивается Варвара. «Мне лучше знать! — возражает Лазарь. — Поскольку я теперь законный ваш муж. Никодимовна вы!..»

А вот и областной центр. Летное поле. Самолет стоит большой, весь в заклепках, пропеллером вертит. Поднялась Варвара по трапу, ребятишек к сиденьям пристегнула и себя не забыла. Летят. Стюардесса подходит — прямо из песни — тоненькая, прыщавая. На плече коромысло с полными ведрами.

— Попить не желаете? — спрашивает.

— Очень даже, — радуется Варвара. — И детишки мои желают, только стесняются.

— Вам сок гуайявы или воду с вершин Памира? — вежливо интересуется водоножка.

— Детям, конечно, сок, — говорит Варвара. — И мне тоже.

Стюардесса улыбается.

— Вы узел уберите с коленей к чертовой матери, — предлагает, — а я вам ведро с соком поставлю. Оно на столике не умещается. Неудобные у нас столики, Бог им в душу!

Приняла Варвара ведро, взяла три соломинки, раздала детям — никак сок через соломинку не тянется!

Вернулась стюардесса, губа закушена, но виду не подает — смеется, Верке «козу» сделала, Васятке язык показала, Варвару небожно в нос щелкнула.

— Не так, — объясняет, — дорогие мои, пользуете! Сок у нас густой, мать ему Куба... Его надо на соломинку наматывать...

Дальше летят. Ребятишки сока наелись — в уборную ушли со стюардессой. Варвара в окошко смотрит. Видит — навстречу другой самолет летит. А летчики, известно, все между собой знакомые. Тот летчик, как Варвариного увидел, машину остановил, в окошко высунулся, и начали они болтать. Самолеты стоят, пассажиры волнуются — на работу опаздывают, но мужики, пока все дела не обсудили, с места не сдвинулись.

Только разлетелись — стюардесса возвращается, детей на поводке тянет, вся белая.

— Все, — говорит, — кранты! Отлеталась я.

— Что так, едреный корень? — интересуется Варвара.

— Правило у нас, язви его в печень, — объясняет стюардесса, — во время стоянки унитазом не пользоваться. А мальчишка твой не утерпел и весь сок целно выложил. Видимость сегодня отличная — я в иллюминатор наблюдала. Прямое попадание получилось. Снесена крыша тракторного завода — первенца пятилетки. Есть пострадавшие. Сумма ущерба подсчитывается...

Варвара Васятку, конечно, отшлепала. Стюардесса повеселела, разругалась.

— Ты ему руку вывихни! — кричит. — Ноздрю порви!

Насилу ее потом летчики успокоили.

А Варваре перед самой посадкой снова Лазарь привиделся. В плавках, на ногах ласты, в руке секундомер золотой. «Хорошо, — говорит, — что приехали! Быстренько надевайте купальник. Тут двести метров на спине проплыть требуется, а мне некогда...» «Не могу я сейчас, — не соглашается Варвара, — с дороги только, устали мы, результат невысокий получиться может...» «Результат мы потом подкорректируем», — смеется Лазарь и свои ласты Варваре протягивает. Делать нечего, начала Варвара раздеваться, а Лазарь на ее живот смотрит. «Что это у вас такое, Варвара Никодимовна?» — спрашивает...

Однако долетели.

Отдали Варваре узлы, стоит она посреди огромного зала. Потолок в зале стеклянный, стены оловянные, пол деревянный. Везде циферки бегают, радио

надрывается, люди разные вокруг трутся, у детишек выспрашивают, где мамка деньги прячет.

Один с кнутом подошел, в поддевке, штаны ватные, сапоги дегтем смазаны.

— Куда ехать? — спрашивает.

— Улица Изобретателей Пороха, — отвечает Варвара, — дом тридцать четыре. Далеко это?

— Километров сто, — щурится возница.

— А что возьмешь? — интересуется Варвара и свои возможности прикидывает.

— У тебя узлов сколько? — тыкает мужик кнутовищем. — Восемь? Значит, все и возьму!

— Чеси отсюда! — отворачивается Варвара.

— Ладно, — вздыхает смазной. — Давай, так и быть, за шесть узлов! Два тебе останутся. Сама выберешь.

— Я с сумасшедшими не разговариваю! — сердится Варвара.

— Четыре, — спускает водитель. — По-братски разделим. Тебе половина и мне половина. За полчаса домчу!

На полутора узлах сговорились. Едут. Васятка с Веркой на заднем сиденье спят, мужик руль вертит, песню поет ямщицкую. Грустная песня, и все там про его жизнь — бензин дорогой, дороги ужасные, пассажир все больше скупой попадается, ГАИ три шкуры дерет, а дома детки голодные да жена неверная — ждет не дождется, пока старый муж в степи замерзнет.

Вздыхнула Варвара.

— Хороший у вас голос, — говорит.

— Эх-ма! — качает шоферюга головой. — Я ведь раньше в театре пел. Вот тогда у меня настоящий голос был, а теперь что...

— Так куда ж он делся? — удивляется Варвара.

— Политика, будь она неладна! Поверил демократам, пристали: отдай нам твой голос, а мы тебе прекрасную жизнь организуем. Ну и отдал сгоряча... Теперь вот ни голоса, ни жизни...

Диковинно Варваре такие речи выслушивать, однако свои заботы одолевают. За окнами машины дома огромные проносятся, площади широкие, памятники зодчества. Скоро приедут.

— Лазаря Гужевого, часом, не знаете? — решила наконец спросить.

— Как же не знать! — радуется водитель. — Человек известный.

— Как поживает-то он?

— А что с ним делается! Вчера кухонных полотенец накупил — двенадцать штук. А позавчера водопроводчика вызывал — кран у него на кухне раскапался...

— А сейчас дома он?

— Дома. Гостей принимает. Потом всю ночь будет мучиться — посуду мыть да вытирать. Нет у него сушильного шкафа...

Подрулил мужик к самому подъезду, взял полтора узла, как договаривались.

— Четвертый этаж, — кнутовищем показывает. — Вон окошко светится.

Стала Варвара по лестнице подниматься.

Детей впереди себя подпихивает, узлы тянет, волнуется.

Жильцы из квартир вышли — все после душа, в парчовых халатах, причесаны аккуратно, с сигаретами. Смотрят на Варвару через очки, молчат, плечами пожимают. Куда, мол, эта кувшинная в наш калашный ряд прется?

И уже не хочется Варваре никуда идти и никого видеть и все бы отдала, лишь бы вернуться к своему, обжитому и родному, да как вернуться?

Четвертый этаж.

Из трех квартир следят за Варварой недоумевающие ухоженные головы (одна собачья), четвертая квартира закрыта, музыка за дверью играет, веселье голоса слышится. Не ждет ее никто.

Поднимает Варвара руку, медленно-медленно тянет палец к звонку. Сейчас все решится...

Она не ошиблась. Лазарь оказался хорошим человеком. Он радушно принял Варвару и ее детей. На следующее утро они сходили к платному врачу. Беременность оказалась ложной — от мыслей и нервов. Прописанные таблетки быстро помогли — Варвара снова стала стройной и восстановила женскую особенность. Чтобы утрясти формальности, Лазарь и Варвара оформили деловой брак, который со временем перерос в настоящий. Васятку и Верку отдали в школу. Варвара устроилась в музей этнографии, играла на ксилофоне в любительском ансамбле. Своих детей у Варвары с Лазарем не получилось. Лазарь ездил в экспедиции, а появляясь дома, всегда привозил подарки, ходил с женой в филармонию и с ребятишками в цирк. Дети росли. Василий превратился в крепкого юношу, Вера стала приятной во всех отношениях девушкой. Шли годы. Лазарь вышел на пенсию и, если позволяло здоровье, копался на дачном участке. Варвара с удовольствием помогала мужу. У них хорошо росли можжевельник, валериана, вегетативный редис. Кое-что даже продавали, чтобы помочь детям, у которых не ладилось в личном плане. Варвара прожила с Лазарем долгую и счастливую жизнь, а когда Лазаря не стало, решила на склоне лет навестить полузабытые родные края. Василий и Вера, так и не обзаведшиеся собственными семьями, взялись сопровождать мать. Дорога далась нелегко — сказывался возраст. Ежевск больше не был закрытым городом. В его окрестностях было найдено крупное месторождение угля, которое разрабатывалось открытым способом. Варвара, Василий и Вера долго ходили по незнакомым закопченным улицам, пока не набрали на несколько полуразвалившихся деревянных домов. Какие-то люди вышли им навстречу, и отличались они от приехавших только одеждой. Смотрели на них дряхлые старухи Варвары в ветхих застиранных доломанах, а чтобы не упали старые, держали их с двух сторон пожилые дети — Верки в прохудившихся японских кофточках и Васятки в облезлых турецких свитерах с бахромой и узких нанковых портах с заплатами на коленях.

ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФАВНА

Много есть людей заземленных, чуждых высокой духовности... Все многоцветие мира воспринимают они утилитарно, под себя, с маленькой буквы. КАНТ для них — лишь яркая полоска ткани, ЛИСТ — не больше, чем физиология дерева, СМЕТАНА (ударение не в счет) — только продукт питания... Для них и КВАРЕНГИ — сладкие пирожки!.. Не для них пишу я.

Александр БРЮСОЕДОВ

Выходя за утренней почтой, Сергей Николаевич всегда был уверен, что вернется, и поэтому дверей квартиры не запирает.

Он мог спуститься на лифте, довольно уютном, с полом, устланным ковровым покрытием, с турецким диванчиком для сидения и крючками для развешивания одежды; в лифте были телевизор, сауна, уголок педикюра со всеми необходимыми принадлежностями, безалкогольный бар и много других удобств, но Сергей Николаевич не любил роскоши и поэтому добирался до почтового ящика пешим ходом.

Подвесив за спину пустой рюкзак для корреспонденции, он шел запыленными бетонными пролетами, меняя каждые десять ступенек направление, но неуклонно приближаясь к цели. Под ногами шуршала луковая кожура, сухо потрескивали яичные скорлупки, с грохотом, заставляющим вздрогнуть, разрывались выведенные половинки грецких орехов.

Равномерно двигая ступнями, обутыми в разноцветные импортные ичиги, Сергей Николаевич обыкновенно размышлял о жизни, вспоминал прожитое, строил скромные или честолюбивые (в зависимости от настроения) планы на будущее.

Когда-нибудь, наверное, он купит серебристого сенбершнауцера с беличьим хвостом и острыми металлическими зубами. Он будет любить своего питомца, часом ему за ухом черепаховым гребнем, учить его писать и считать и чуть-чуть недокармливать. И тогда его Джек станет потрошителем. За утренней

почтой они станут спускаться вместе, и огромный кобель с легкостью переловит и разорвет на части тех огромных крыс, что шмыгают у Сергея Николаевича между ног и только и думают, как бы вцепиться ему в самое дорогое.

Когда-то Сергей Николаевич был женат. Татьяна, а может быть, Марина, была прохладная, пахла дыней, и все в ней было дынное, спелое, сочное. Сергей Николаевич и после марша Мендельсона долго не решался к ней приблизиться и только втягивал и копил в себе чудесный запах напоенной солнцем бахчи.

Жена сидела в позе кактуса, но колючки были обращены внутрь — распознав Сергея Николаевича, она корила себя за скороспелость, но дело было сделано, ей оставалось только ждать, уповая на волю providения. Сергей Николаевич подобно ученому коту описывал круги, имея Марину (или Ларису) в центре, его домашние ичиги не оставляли следов на паркете, голова Сергея Николаевича моталась по ходу следования, глаза были прикрыты отечными красноватыми веками. Так продолжалось неделю или месяц, пока в Сергее Николаевиче не прорвалось что-то и радиус его ходок стал сжиматься и морщиться, как шагреневая кожа, изученная и описанная в подробностях французским толстяком-дерматологом.

Аромат Ларисы (пусть будет Лариса!) заполнял лобные пазухи Сергея Николаевича, конденсировался комками сахарной пудры в пересохшей гортани, выедал глаза, выворачивал наружу подсознание.

Потом случилось неизбежное — он вытянул руки, ощутил подернутые розой упругие бока жены (это было на рассвете) и сразу заскользил и заелозил пальцами. Он прижимался к душистой поверхности, облизывал созревший плод, немного мял его. Что с того?! До мякоти дело не дошло.

Суд оправдал его. Родители Ларисы кричали, что он уел их дочь, но доказательств представлено не было, ни одной улики, ни корочки, ни зернышка в квартире Сергея Николаевича. Рассказывая на заседании о жене, Сергей Николаевич страшно отрывал и поминутно пил воду, что несколько подпортило впечатление. Все же версия защитника была принята единогласно — Лариса, по всей видимости, просто сбежала с легконогим и винтокрылым южанином, сторонником рыночных отношений в любви и дружбе...

Довольно о Ларисе! Он, свободный нестарый мужчина, спускается за утренней экспресс-почтой с восьмого этажа, на лестнице никого нет, двери квартир захлопнуты, забиты гвоздями, заклеены крест-накрест липкой лентой от мух — никто не сможет помешать Сергею Николаевичу в его ежедневной церемонии.

Вот, слава Богу, и последний пролет. Огромный цельносварной почтовый сейф улыбается хозяину закругленными прорезями. Он полон.

Сергей Николаевич отключает сигнализацию, большой пневматический ключ овладевает упругой скважиной — недолгая вибрация, и сталь дверцы подается своему хозяину и повелителю. Сергей Николаевич погружает длинные нервные пальцы в оцинкованное чрево, сметает в подготовленную тару огромные конверты с сургучными печатями, надушенные цидульки, еще какие-то бумажки. Последней в рюкзак летит, шурша белоснежными крыльями, восьмиполосная ежедневная газета. Сергей Николаевич выгреб все. Моложавым телом он наваливается на дверцу и заставляет ее занять исходное, недоступное для посторонних положение. Теперь нужно закодировать замок. Сегодня он поставит свою любимую цифровую комбинацию, знать которую вам не обязательно.

Рюкзак неподъемен. Сергей Николаевич по рации вызывает кабину, ведет долгие переговоры, убеждает, просит, угрожает санкциями. Наконец в шахте раздается урчание — бастующие горняки дали добро, изящный кабинетик спускается с небес, распахивает створки перед одиноким усталым путником.

Сергей Николаевич без сил валится на турецкий, изрезанный перочинным ножиком диванчик, велит дисплею доставить его по назначению и принимается за почту.

Пакеты от общественных организаций. Все на чистейшем пергаменте. Везде на самом верху — грифы, хищные, высматривающие поживу. «Ассоциация Сергеев Николаевичей», «Общество мужчин, проживающих на восьмом этаже», «Консорциум интеллектуалов, спускающихся за утренней почтой»,

«Содружество граждан в расписных ичихах», «Кружок любителей помечтать о заведении собаки», «Товарищество деятелей с неясным прошлым и будущим, за которое нельзя поручиться»... Весь этот хлам, нескрытый и прочитанный, летит через окошко в шахту лифта. Когда забастовка у шахтеров закончится и правительство удовлетворит их справедливые требования, веселые чумазы ребята отбойными молотками разрубят слежавшуюся гору макулатуры и перевыполнят план по топливно-энергетическим ресурсам.

Надушенные писульки — от детей. Трогательный корявый почерк, грамматические и смысловые ошибки, лексическая небрежность, простительная в юношеском возрасте созревания. Дети наперебой приглашают Сергея Николаевича нацепить бороду и посетить их в удобное для него время. Что ж, он подумает над этим, когда будет посвободнее... Почтовый перевод на гастрономическую сумму... Он купит себе ананасов, анчоусов, антигриппину... Газета. Его любимая — «Глас вопиющего», ничем никогда не изобилующая, но из номера в номер подготавливающая к сюрпризу. Тираж — один экземпляр. Все полосы — чистые. Сергей Николаевич с удовлетворенным хохотком прошвыривается по страницам и хочет пустить белую птицу следом за пергаментными собратьями по цеху, но тут впервые за много лет подписки видит оттиснутую свинцовой примочкой статейку под названием: «Прочти, Сергей Николаевич, тебя это заинтересует!»

Тем временем раздаются гудки, кабина прибывает на этаж. Сергей Николаевич, забыв даже расплатиться, вбегает к себе. Навесив щеколду, он садится на пол в прихожей, набрасывает на утлый нос очковую оправу, торопливо вставляет в нее увеличительные стекла. Статьейка без подписи? Нет, подпись отыскивается на другой странице. Минотавров! Конечно же, он! Главный редактор газеты. Сергей Николаевич знает этого человека. Мать — русская, отец — педиатр. Минотавров — сосед Сергея Николаевича по лестничной площадке. Сергей Николаевич видел его двенадцать лет назад, когда Минотавров вселялся — вселялся, как бес, отчаянно ругаясь и сквернословя. Огромный, желтый, с набитыми камнями почками, кандидат в мастера по подкидному дураку, он сразу не понравился Сергею Николаевичу. Они повздорили, облили друг друга уксусной эссенцией. Оба лежали в одной палате, строили планы мщения, вышли в один день, но никогда больше не виделись...

«Интересное вышло в нашем городе происшествие, — читает наконец Сергей Николаевич. — Один придурок, спустившийся за утренней почтой, был найден бездыханным у своего почтового ящика. Бабушки-старушки, сидевшие на лавочке у подъезда усопшего, видели девчущку-носопырку с использованной удавкой в руке, но первоначально не придали факту никакого значения. Похороны завтра на Стародевичьем пустыре. Цветы и хлопущки — обязательно!..»

Сергей Николаевич охнул и потерял себе между лопаток. Задумчиво, с холлодом в груди походил по квартире, открывал зачем-то дверцы шкапов, трогал обои, щелкал выключателем парового отопления. Он гнал от себя мысли, не желая признаваться никому, что статейка весьма и весьма его задела.

Поразмыслив, он все же выел два яйца, выбросил скорлупу на лестницу, собираясь к детям, навесил на широкие скулы поясную бороду, представил пачку банкнот, поджидающую его на почте, — были, конечно, у него и другие дела, — уже надел дождевик с наушниками, но так и не вышел из дома. Забрался под мыльную душевую струю, вспоминал стихи, отлаженные школьным курсом, читал их нараспев, пока не уснул до следующего утра.

Назавтра он проснулся с ощущением. Оно было новым и не доставляло радости. Ощущение было похоже на средних размеров щуку, обложенную спереди и сзади несъедобными буквами-паразитами. Сергей Николаевич бросился в санузел, но щука не вылезала ни с какой стороны, спазмы постепенно прошли сами собой, и тогда Сергей Николаевич в сердцах шумно высморкался, отчего большие стальные часы в платяном шкапу вздрогнули и пробили время похода за почтой.

Слегка вспотевший, он надел белую рубашку, галстук-бабочку-лимонницу (брюки из китайского шелка, не сковывающие движений, на нем уже имелись), подвязал на спину рюкзак и снял с дверей щеколду.

Он был уверен, что вернется, и не запер дверей.

Спуск прошел успешно. Последний пролет мелькнул и растворился за спиной Сергея Николаевича. Снимая на ходу рюкзак, он крупно зашагал к видневшемуся на горизонте почтовому ящику, и тут дыхание в его трахеях перехватило, и не востребованный легкими кислород с шипением прорвался обратно в стратосферу.

Девушка стояла. Оборванная, но чистенькая, как и все ее сверстницы за двенадцать, она неуловимо отличалась от своих подруг по происхождению. Была в ней какая-то неприятная и тревожная уверенность в избранном ею деле, каким-то роком веяло от нее, какой-то заданностью и предопределенностью.

«Однако как же я должен себя вести?» — смутился Сергей Николаевич. Он мог просто поздороваться, подарить бабочку-лимонницу для коллекции насекомых, с девушкой можно было пройти тур вальса по достаточно широкой площадке... Можно было и приобнять, обцеловать и обслюнявить поросшие меленьким пушком щеки, прижаться поизносившимся телом, подзарядить свои конденсаторы свежей энергией...

Он шел, не ведая, что предпринять. Случайно в кармане жилетки он обнаружил лорнет и, зная, что поступает неприлично, все же навел его на девушку. И тут же селезенка мощно провернулась у него в подборушье... Нос у девушки был неизменно вздернут, каким-то макарон выкручен на стороны, приличного размера ноздри, поросшие скользкими синеватыми волосками, глянули Сергею Николаевичу прямо в душу...

Сергей Николаевич принудил себя громко расхохотаться. Да мало ли по городу девчушек с вывернутыми ноздрями! Небось каждая вторая — носопырка!

Так стояли они и смотрели в упор друг на друга. Сергей Николаевич — глазами, а пришла девушка — ноздрями. Кожа у девушки была гладкая, матовая, он провел по ней указательным пальцем, поцеловал в шею. Так простояли они час или полтора. Летучие крысы кружили над их головами, по ступеням скатился и здорово подпихнул Сергея Николаевича огромный мусорный бак, из которого посыпались матросские бескозырки с надписью «Варяг — Филадельфия». Сергею Николаевичу было не до флотской атрибутики, ногой он отпихивал бак, но цинковая громадина обратной инерцией накатывалась снова и снова и, наконец, сбила с ног.

Когда он поднялся, девушки не было.

Слегка обескураженный, он выгреб почту, вызвал кабину. Он слишком устал и выбросил корреспонденцию сразу, не ковыряясь, как обычно, в грифах, зато в газету вцепился зубами.

«Над седой рваниной моря ветер тучи собирает, — писал в единственной заметке мерзавец Фортунатов, — а носопырка вчера схайдакала еще одного почтолюбителя. Как и предыдущий болван, он был задушен удавкой-гарротой. Старички-пенсионеры, лежавшие под скамейкой у подъезда, видели преступницу и пытались ее урезонить, но у прославленных ветеранов не хватило мужских гормонов... Похороны завтра в картофельном ряду Кузнечного рынка. Форма одежды провожающих — матросские бескозырки с надписью «Варяг — Филадельфия». Вход по пригласительным билетам. Некрофилов и искательниц приключений просят не беспокоиться...»

Сергей Николаевич ворвался в квартиру. Метаясь по комнатам, он срывал с плечиков костюмы и телогрейки, набивал под завязку дорожные чемоданы, сунул в баул нераспакованный чайный сервиз. «Съезжу в Польшу, — думал он, — возьму два-три грамма скандия, коровьих лепешек, еще чего-нибудь. Отдохну, поправлю здоровье, забуду о напастях...»

Он вызвал по телефону ишака, навьючил его поклажей и, помахивая хвостом, двинулся в сторону государственной границы. Приглашения в братскую страну продавались на каждом углу, Сергей Николаевич купил два, себе и ишаку. Скотина, однако, в последний момент заартачилась, потребовала увеличения гонорара за знание иностранного языка, Сергей Николаевич распылся, избил животное, был зверски истукан сам и в полубессознательном состоянии доставлен обратно в дом. Поездка сорвалась, редкоземельные вещества пропали, ему грозил процесс от Общества защиты ослов, настроение Сергея Николаевича было препоганое всю ночь.

Закралась даже мысль: а нужно ли спускаться за почтой вообще? Быть может, следует оставить обычай, унаследованный от деда — шпрыхсталмейстера ее величества, на рассвете выходявшего за письмами самой Вильгельмины Скавронской?

— Ну уж нет! — громко произнес Сергей Николаевич. — Пусть трясут те, кому не выпало быть отмеченным мужественностью! (Терпсихоров, например, с его мерзкими статейками!)

Здесь самое время сообщить, что по профессии был Сергей Николаевич композитором и имел, как водится, Надежду Филаретовну — меценатствующую старушку миллионершу. Ежедневно получал Сергей Николаевич от нее денежные переводы, взамен посвятил пожилой женщине все свои кантаты и оратории, которые регулярно проигрывал ей по телефону.

Влюбленная в творчество Сергея Николаевича женщина (а стало быть, и в него самого) молила своего подопечного лишь об одном — беречь себя пуще глаза и в трудные минуты советоваться с ней, познавшей жизнь и имевшей связи...

Поразмыслив, Сергей Николаевич взялся за телефонную трубку.

Надежда Филаретовна была дома, лакей позвонил ее, Сергей Николаевич рассылался в приветствия, потом собрался с духом и рассказал о носопырке.

Надежда Филаретовна молчала, пожевывая губами, в трубке проскакивали посторонние шумы, кто-то далеко-далеко вызывал огонь на себя, его перебивал мелодичный женский голос, певший гимн весне и солнцу.

— Хорошо, что позвонили, — сказала Надежда Филаретовна, чиркая карандашиком в записной книжке. — Действуйте в соответствии со своими устремлениями. — Голос Надежды Филаретовны неожиданно сделался молодым, звонким, проказливым. Ее душил смех. — Будьте уверены, — продолжила она, — мы вас подстра... подстра... подстрахуем! — Тут же послышался отчаянный взрыв хохота, оборвавшийся короткими гудками.

Сергей Николаевич тоже развеселился и, с удовольствием распевая на все лады последнее словцо, подсел к роялю, где и наиграл вещицу сочную, игривую, неординарную. Впрочем, ее предстояло еще обработать, прежде чем показать Надежде Филаретовне...

Тем временем солнце вздымалось все выше, часы в стенном шкапу пробибли полдень — пора было спускаться.

Сергей Николаевич навесил на себя рюкзак и, холодея от подступающих предчувствий, вышел на покинутую людьми лестницу. Сегодня на ней было полно гусениц, и это радовало Сергея Николаевича. Он знал, что это самки тутового шелкопряда, и поэтому не давил их ичигами, рассчитывая к осени вымотать из каждой по приличному куску шелковой нити. Он шел, аккуратно ступая на свободные от насекомых куски суши, в руках у него был бумажный мешок, полный припасенных заранее шитиков и опарышей, щедрой рукой Сергей Николаевич расшвыривал тварям дефицитнейший корм — месяца через три еда должна была стократно окупиться.

Увлечшись кормежкой, он слегка подзабыл о носопырке.

Она стояла, опершись о стену, с закинутыми за голову обнаженными руками и чуть расставленными для устойчивости коленями. Ее соблазнительное тело было лишь слегка прикрыто прозрачными, далеко отстающими от молодой загорелой кожи лохмотьями.

Сергей Николаевич подошел вплотную и вжался в поджидающую его плоть. Нет, это был не секс — лишь сладостное его преддверие. Руки Сергея Николаевича не знали удержу. Ему почудился запах дыни... Нет, это была не дыня... Персик. Напоенная соком предков сакура. Китайский лимонник, стимулирующий дух и тело... Сергей Николаевич шумно дышал, он был натянут, как тетива, большие капли пота срывались с его лба и разбивались о бетонную плиту.

Она стояла безучастно, позволяя Сергею Николаевичу все. Сергей Николаевич в чувственном беспамятстве набивал полный рот чудесной плоти и не в силах переварить выплевывал обратно, тут же набирая новую порцию. Никто не беспокоил их, Сергей Николаевич потерял счет времени, он видел, разумеется, скрученную из конского волоса удавку в руке носопырки, но верил, что

ему ничего не угрожает,— Надежда Филаретовна слов на ветер не бросала... Где-то на верхних этажах гулко ухнул филин, Сергей Николаевич понял, что уже ночь и нужно возвращаться,— в квартире предстояло сделать влажную уборку. Сегодня он достиг всего, к чему стремился. Он разжал объятия. Помахивая удавкой, девушка в последний раз зыркнула на него чувственными ноздрями и, повернувшись, вышла наружу.

Сергей Николаевич в каком-то трансе вызвал лифт и только тут вспомнил о почте. Он торопливо набил мешок и без сил повалился на турецкий диванчик.

«Вчерашний день,— сообщал злобредный Холмогрудов,— часу в первом ни один кретин, спустившийся за утренней почтой, к сожалению, задушен не был. Пенсионерам на лавочках и под оными розданы ломы и саперные лопатки, даны четкие указания к действию... Носопырка затаилась?.. Что ж — подождем, пожуем солону...»

Сергей Николаевич, всегда склонный к выслушиванию себя с последующим самоанализом, на сей раз никак не мог взять в толк, хорошо ему или плохо. Он чувствовал себя крошкой-сыном, так и не решившимся задать отцу сакраментальный вопрос. Его тело продолжали сотрясать чувственные конвульсии, он никогда не испытывал ничего подобного по силе и яркости ощущений, хотя до *настоящего* у него с носопыркой еще не доходило. Несомненно, она открыла для него какой-то новый мир, в котором не было очертаний, рельефов и физических измерений, это был мир метафизики и импрессионизма, субстанция чувства во всей его открытости. Сергей Николаевич ощущал огромный волевой подъем, полнейшую свободу духа и одновременно ужасную усталость и ломоту во всех членах. Внутри него играла яростная симфония, которая могла перевернуть с ног на голову музыкальный мир, но не было сил подойти к роялю и записать ноты.

Не дойдя до композиторского, в форме валторны, диванчика, служившего ему для ночных отдохновений (со дня потери жены он не касался огромной трехспальной кровати), Сергей Николаевич медленно осел на пушистый ворс подаренного Надеждой Филаретовной ковра. Ему ничего не снилось — ведь ночью мы видим то, чего нам не дано испытать наяву. Сергею Николаевичу грезить не было необходимости — фантазии не преследовали его, и он храпел, как кожемяка.

Надо ли говорить, что он изрядно подзабросил свои хозяйственные дела. Перестал получать переводы, и денежные мешки от Надежды Филаретовны пылились без дела на почте, в магазине на углу портилась невыкупленная композиторская говядина, работники фабрики-прачечной то и дело выбегали из заполненных ароматным паром цехов — не везут ли перепачканное и изгаженное музыкантское белье с пущенными по периметру скрипичными ключами? Его заждались чистильщики сапог, пришиватели пуговиц, цирюльник, почитай, неделю не прикладывал пиявки к его тучнеющему телу. Сергея Николаевича ждали дети, мечтавшие увидеть его с бородой (пусть наклеенной), и только некоторые коллеги, завидующие его таланту и популярности, немного приободрились, предполагая, что Сергей Николаевич недужит по стариковству у себя в койке.

А он был вовсе не стар, и организм мощными толчками снизу вверх давал об этом знать при встречах у почтового ящика.

Они тем временем продолжались. Ежедневно по двенадцатому сигналу кремлевского куранта Сергей Николаевич, стараясь соблюдать приличествующую его возрасту степенность, спускался по обкусанным временем ступеням, проходил мимо покинутых квартир, из замочных скважин которых тянуло скверной, разором и запустением, и с подступающим к горлу комом выходил на финишную прямую — последний лестничный пролет, с которого была видна она. Погода стояла жаркая (Сергей Николаевич знал об этом понаслышке), и рубище, заменявшее девушке одежду, с каждым днем становилось все тоньше и короче, ошметки ткани все более отставали от восхитительного тела. Сергей Николаевич знал, что никакого белья под лохмотьями нет, и поэтому сам выходил на лестницу в махровом купальном халате, надетом на голое тело.

Они мгновенно слипались в огромный влажный ком, и Сергей Николаевич

плыл люксовым пассажиром в сказочную страну Эльдорадо, где все вокруг было покрыто толстым-толстым слоем шоколада...

Она позволяла все. В руке у девушки покачивалась удавка. Она набрасывала ее на голову Сергея Николаевича, слегка затягивала, но никогда не опускала петельку ниже ушей. Сергей Николаевич делал свое нелегкое дело, не опасаясь за жизнь, он знал — Надежда Филаретовна не подведет.

Каждый вечер он звонил и со всеми подробностями пересказывал свои свидания. Надежда Филаретовна морщила лоб, записывала каждое слово, иногда просила точнее сформулировать ощущения, по ходу разговора подсчитывала что-то на калькуляторе и отдавала приказания каким-то плохо различимым за ее спиной людям (они общались по видеотелефонной связи).

— Можете продолжать! — говорила она. — Время еще есть. Мы вас подстра... подстра... — Здесь раздавался обычный приступ смеха, экран монитора гас, на нем появлялась надпись: «Конец».

Сергей Николаевич, вышедший, как и все мы, из гоголевской шинели, ежедневно и ежеминутно задавался вопросом, терзавшим на части еще философов древности.

«Откель и докеда? — спрашивал он себя. — Докеда и откель?»

Подобно вымершим схоластам, этим птеродактилям риторики, он напрягал дух и поднимался мысленным взором к вершинам мироздания и подобно им же отвечал, со вздохом расписываясь в собственном бессилии: «Покудова, брат, покудова...»

Очевидно становилось Сергею Николаевичу, что не установит он первопричины носопырки, не спрогнозирует продолжительность отношений во времени и в замкнутом пространстве.

Спасали гедонисты, хорош и мудр был их совет, подсмотренный как-то Сергеем Николаевичем у основателя течения.

— Пользуйся, товарищ, пока есть возможность! — призывал мудрый старец, и Сергей Николаевич пользовался.

Тем временем лето окончательно вступило в свои права, из логов ушла последняя стынь, полуденное солнце ожогло хвори, зеленое пламя витийствовало повсюду, живое льнуло к живому, молодежь безумствовала, и даже старухи-процентщицы сменили ватные салоны на марлевые купальники и с неизменным топориком прогуливались городскими пляжами, высматривая к ужину юношу поинтереснее...

Время познания и связанных с ним тревожных медитаций прошло. Носопырка стала для Сергея Николаевича чем-то вроде второго завтрака или занятия с отягощением в гимнастическом зале. По-видимому, девушка почувствовала перемену в настроениях оппонента и привнесла в отношения новинку — это были элементы садомазохизма или нечто к тому близкое. Носопырка с силой закручивала Сергею Николаевичу уши, заламывала ему пальцы и стягивала удавку так, что на лбу Сергея Николаевича оставались глубокие красные борозды. Он тоже не оставался в долгу: пинал партнершу, царапал длинными композиторскими ногтями, старался посильнее вдавить ее в стену. Это разнообразило их каждодневные упражнения, но не более. Сергей Николаевич полностью владел собой. Испытывая традиционное наслаждение, он мог взглянуть на часы или даже зевнуть. Он не выкладывался, как последний юноша, и больше не любил, как в последний раз.

Ограничив свидание академическим часом, он не позволял себе задерживаться на площадке ни минутой более. Случалось, что носопырка медлила, надеясь на продолжение, и тогда Сергей Николаевич нетерпеливо подталкивал ее к выходу. Его ждало множество дел, откладывать которые он не имел права.

Убедившись, что носопырка исчезла, Сергей Николаевич выгребал естественные почтовые отправления, выбрасывал из лифта официальные бумаги (детские послания он оставлял и даже нумеровал конверты), просматривал газету. О носопырке ничего не писалось. Чаще всего полосы девственно белели, и газета незамедлительно отправлялась шахтерам, иногда Минотавров оттискивал что-нибудь гадкое, но к делу отношения не имеющее.

Сергей Николаевич сделался весел, деятелен и даже немного суетлив. Жизнь, разворачиваясь многогранными ипостасями, начинала дарить маленькие радости.

Популярнейший, тиражом в три миллиарда, журнал «Прасол-пространщик» выдал цветной разворот, изобилующий снимками Сергея Николаевича в различные моменты его становления. Вот он, во фраке с малиновой перевязью, стоит, усыпанный цветами, в обнимку с Бородиным и Римским-Корсаковым... Праздничное застолье, с фужерами к нему тянутся Танеев и Антон Рубинштейн — их уста разверсты для дружеского поцелуя... Какая-то гостиная. Сергей Николаевич играет на балалайке, Рахманинов, без пиджака, пляшет с белым платком в руке... Сергей Николаевич — в сауне, Алябьев со смешной гримаской трет ему спину, а строгий Стасов обдаёт душевой струей... Детские фотографии. Он — в колыхели, ее покачивает Глинка... А вот уже подросток Сережа, пухленький и миловидный, доверчиво расположился на коленях Чайковского...

Надежде Филаретовне этот монтаж стоил немалых денег, Сергей Николаевич сразу позвонил с благодарностями, но меценатша была в те дни слезлива, сморкалась в трубку, вспоминала Петечку, капризничала...

Ее настроение никак не передавалось Сергею Николаевичу — старухе все же стукнуло днями сто пятьдесят (он преподнес ей премиленькое скерцо), он же был молод, одарен, его ждали большие дела...

Отправив носопырку до следующего полудня, теперь он имел перед собой обширный фронт деятельности.

Одевшись не слишком вызывающе, с большой приклеенной бородой, Сергей Николаевич выходил из дома и шел по детским адресам.

Маленькие Алексеи и Дашеньки, отчаянно визжа, затаскивали его в квартиры. Сергей Николаевич, радушно улыбаясь, спрашивал детей, чем может он быть им полезен, и с радостью выполнял капризы шалунов и проказниц.

Он рисовал цветными карандашами, кормил аквариумных рыбок, пришивал оторвавшиеся пуговицы к ляпочкам и хлястикам, вытирал попы самым маленьким, боксировал вполсилы с теми, кто был постарше. Не выдержав, из дальних комнат выходили родители. Мужчины, стесняясь, предлагали сыграть под рюмку в шахматы, но чаще отцов дома не было, и Сергея Николаевича прихватывали матери. Услав детей куда подальше, они нашептывали Сергею Николаевичу свои тайны и норовили воззвать к физической близости. Сергей Николаевич не считал себя обязанным хранить верность носопырке и поэтому иногда (если был в состоянии) откликнулся на предложение, не делая из акта культы и сводя его к простой формальности.

Не менее радостные ощущения сулили и вызовы к новорожденным. Молодые родители, истосковавшиеся за годы тоталитаризма по таинствам вероисповедания, непременно хотели крестить младенцев и просили Сергея Николаевича совершить подобающую церемонию. Сергей Николаевич показывал, каким образом следует расположить ребенка на крышке рояля, после чего садился и самозабвенно играл *крецендо*, на том, собственно, процесс и заканчивался.

Не зная, как отблагодарить композитора, счастливые родители предлагали ему золотую утварь, домашних животных, шестротканую одежду — Сергей Николаевич, чтобы не обижать хозяев, соглашался принять какую-нибудь безделицу типа начатого коробка спичек с кухни или полоски туалетной бумаги, после чего уходил, оглядываясь на окна и долго перемахивался ладошками с гостеприимными хозяевами.

Два-три визита, и вот уже подкрадывался к Сергею Николаевичу зыбкий летний вечер — в ущельях улиц разливалась мокроватая синева, густо пах асфальтовый гриб, спустившиеся с крыш продавцы одеколона кучковались на перекрестках, полупрозрачные милиционеры, облизываясь, провожали свистками шикарные иномарки, далеко-далеко росли манговые деревья. Щемяще становилось Сергею Николаевичу, и ноги сами несли его к Композиторову дому.

Швейцарский галун блестел навстречу, тянулась из сумерек гардеробная рука, ведомый улыбкой от метрдотеля Сергей Николаевич проходил устричными лабиринтами, лавировал в антрекотовых завалах, взбирался по гречневым насыпям. Стараясь избежать скандалов, он не ступал в суфле и студни, а шедший позади ученик половой нес за Сергеем Николаевичем бумажный зонтик, оберегая постоянного клиента от брызг шампанского и кетчуповой струи.

Наконец достигал он стоявшего на отмели столика, садился на воздушную подушку, отирал салфеткой пот, раскрывал поднесенную карточку. Обычно

венно заказывал Сергей Николаевич жабу под маринадом, вареных корневищских колокольцев, какое-нибудь протертое сельскохозяйственное лобби, палисадниковой зелени, бутылочку «Борцовки» со льда. Ожидая заказа, щурился в переполненный зал, подскакивал, ерзал, махал знакомым, отвечал эскападами на дружеские филиппики...

Описываемый нами вечер начался традиционно, но окончился весьма неожиданно.

Как и было заведено, первым к Сергею Николаевичу подсел А., старенький композитор-песенник, тронувшийся много лет назад в кругосветное плавание. Безобиднейший и обделенный судьбой, он имел в лексиконе две фразы, с которыми непременно обращался ко всем, появившимся в зале.

— Не делайте разницы между собой и великими! — призвал он Сергея Николаевича.

— Не буду, обещаю вам! — охотно согласился Сергей Николаевич, наливая вторую рюмку.

— Почему бы вам не отпустить бороду? — тут же произнес А. еще одну свою фразу.

— Обязательно отпущу! — со всей серьезностью отозвался Сергей Николаевич и выпил на пару со старцем.

А. тут же исчез, Сергей Николаевич принялся за еду, отдаваясь вкусовым ощущениям и прислушиваясь к оркестру, — была здесь в репертуаре и одна из его мелодий...

Все жившие хоть сколько-нибудь половой жизнью поймут, что женщины, коих в зале имелось предостаточно, никак не могли заинтересовать *подраставшегося* за день Сергея Николаевича, не за этим пришел он в престижное заведение — хотелось композитору просто шумно отдохнуть на людях, покрасоваться, набить до поросычего треска желудок, поболтать с себе подобными.

Уже направлялись к Сергею Николаевичу приятели.

Двигался как заведенный человек-кукла с плексигласовой головой и негибающимися конечностями. Приближался, смешно потея, толстячок с ногтей, толкавший перед собой большую черную маслину. Шел напролом, не заботясь о приличиях, желтолицый циник с разлетающимися во все стороны фалдами.

Взглядов были люди самых различных.

Человек-кукла Б. окончил реальное училище, однако же стал не реалистом, а роялистом, шумно декларировал свои намерения, требовал императора, добивался возвращения в Россию Наполеона.

Толстячок В. был женат очередным браком на девственно чистой женщине и оттого скрипел по ночам зубами так, что пломбы сыпались у соседей. Почитал девственность первейшим своим врагом и боролся с ней всеми легитимными способами.

Желтолицый Г. слыл пионером и комсомольцем по части хирургии человеческих отношений — не признавая терапии души, он сплеча рубил гордые узлы рефлексии, каленым железом выжигал комплексы, во всем опирался на инстинкт, считая его единственно правильным вектором здоровому организму...

Заказана была полуканистра, приятели, по очереди откусывая от маслины, неспешно прочищали себя этиловым настоем — они разогрелись обществом друг друга, размялись репликами и готовы были к серьезному разговору.

Сергей Николаевич, державший до сих пор свои отношения в тайне ото всех, за исключением благостной Надежды Филаретовны, решил рассказать о носопырке. Мужчины слушали с нарастающим возбуждением, сучили ногами, вскрикивали, и стоило Сергею Николаевичу закончить, как тут же слова попросил человек-кукла Б.

— Не знаю, что и думать, — порывисто заговорил он, барабанив коленями по изнанке стола, — но нечто подобное происходит и со мной... Вы знаете мое чувство к Жозефине, оно неприкосновенно, но вот уже месяц какая-то *животырка* поджидает меня по утрам на гаражной стоянке. Ее тело свежо и упруго, в утехах на заднем сиденье она не знает себе равных... В руке у нее небольшой топорик, она прикладывает сталь к моему разгоряченному лицу, дает лизнуть отточенное лезвие...

— Рок и фатум! — заваливаясь на бок, воскликнул толстячок В.— И мне не удалось избегнуть того же! Поверьте, нет ничего преступней перманентной девственности!.. Под утро, измученный целомудрием жены, я выхожу опорожнить ведро от мусора, и на помойке, между баками, всегда застаю ее — *морщавку*, с волнующими и налитыми формами! Наша встреча пьяняща и упоительна, но почему в руке она сжимает начиненный свинцом парабеллум?

Горящие взоры мужчин сошлись на циничном лице хирурга Г.

— Признаюсь вам, друзья, — с усилием проговорил он (приятели едва ли не впервые видели его в растерянности), — что я и сам сейчас не в лучшем положении и не могу давать советов... На пустыре за домом, в кустах, мне дарит плотские утехы свеженький *обдолбыш*, подкидывающий пухлейшей ручкой реторту с кислотой... Надеюсь, однако, обойдется... Инстинкт непогрешим, давайте же верить в его правильный вектор...

Поговорить бы им со всей обстоятельностью, ободрить друг друга, прийти к общему знаменателю — но не суждено было! Случившийся проездом в зале подгулявший нувориш, выкаблучиваясь, заказал пожар и расплатился вперед в швейцарских франках. И тотчас побежали по интерьерам и холлам расторопные официанты с зажженными факелами, заплесали-заездили повсюду язычки пламени, запахло дымом, закричали дамы, ужасная перспектива повисла в воздухе, но подоспели, пряча концы в воду, пожарные, и все обошлось щекоткой нервов, как в общем-то и было задумано. Сергея Николаевича в числе первых подвергли эвакуации — по длинной металлической лестнице он был благополучно спущен через окно, стоял на булыжнике мостовой, оттирал со лба копоть, стряхивал сажу, бессвязно говорил что-то собравшимся зевакам, разводил руками и чему-то улыбался...

— Отринь! — молвил вдруг кто-то нездешним голосом. — Все это — суета, и тлен, и прах! Негоже проникшему во таинство елозить по брэнному бытию, аки червь впотьмах!

Сергей Николаевич поворотился и узрел чудо. Сама царица ночи — Великая Цаца — обращалась к нему!

— Ужели я, негодный, проник во таинство? — исполненный благодати, спросил он.

— А то нет! — повела Цаца обнаженным плечом. — Нешто я жену уела?

— Таки было?! — охнул Сергей Николаевич. — Сподобился, блуждая?.. Прости, небесная! — Он бухнулся на колени. — Гормон попутал!

— Прощен уж, — вздохнула Царица. — Детей крестивши, искупил.

— А дале что? — пользуясь моментом, попытался узнать Сергей Николаевич. — Чай, не пожрет геенна огненна?

— Сие неподвластно вам, грешным. Однако отмечен ты перстом указующим и, мытарство пройдя великое, приобщен будешь... Духом воспаришь...

Сергей Николаевич смиренно внимал откровению, в его голове переливчато звенел благовест.

Царица глянула на часы.

— Пора мне. Вот-вот Ярило выйдет...

Она крутанула на голове алмазную скуфью и истаяла.

Светало. Сергей Николаевич, пошатываясь, поднялся с колен и отправился домой.

Еще оставалось изрядно времени до полуденного ритуала, и дома он прилег. Он был готов для просветления, и оно снизошло к нему. Лицо Сергея Николаевича сделалось прекрасным, сладчайшая улыбка заиграла на губах, его тело стало легким, парящим и не касалось пружинного диванчика.

Однако же всему свой черед, и вот уже завозился-заворочался в шкапу поставленный наперед будильник, Сергей Николаевич восстал с ложа, и это был уже другой человек под тем же именем-отчеством и с той же фамилией. Спокойствием веяло от него, какой-то даже ублаженной мудростью. Перебирая исхудавшей дланью невидимые четки, в белые одежды облачился Сергей Николаевич, подвязал на грудь дедову веригу, на семь сторон света поклонился.

Неясный шум привлек внимание праведника. Сергей Николаевич отянул тяжелую портьеру и застыл, пораженный. Солнца не было, исчезла палевая листва, пропали бездонные окоемы — все было мрак, хаос и феерия. Ревел-шумел

за окнами Седьмой концерт Стравинского, срывал крыши, крушил, корежил, насиловал. Носились во мгле посверкивающие слюдяные Петрушки, гримасничали страшно, юродствовали, выли прокуренными голосами. И понял Сергей Николаевич: пора!

Духовную песнь запел он и вышел на лестничную паперть, босой и просто-волосый, и двери квартиры не закрыл, чтоб в случае чего все оставалось людям. Светлы и чисты были его помыслы, не содержали они и капли греховности, елейно было на душе Сергея Николаевича, и нес он в себе смиренность и всепрощение.

Так, поднимаясь духом, спускался он все ниже, бестрепетный и статный. Таким и закончил путь, сойдя до самого низу.

Стояла у почтовых ящиков, его искушая, отроковица, сиречь носопырка, в темном рубище, с головой, назад закинутой, к нецеломудренности готовая.

Сергей Николаевич, подошед, хотяше перст на чело положить, но разогнулась тут выя ея, и узрел он глаза носопырки, и ужасом наполнилось существо его.

Не было глаз. Два оловянных пятака чернели в пустых глазницах, и понял Сергей Николаевич, что вовсе не с блудливой девчужкой изволил он пол-года развлекаться — играл со Смертью самой.

И пал он ниц, и возопил утробно, отвратнейший смех был ему ответом. Уже ощущал он ледяное дыхание, и конского волоса удавка обвила плотно горло, но медлила аллегорическая фигура — разросшаяся вширь и в высоту, вся из костей, отбросившая бутафорское *мясо* — чего-то над собой подкручивала да примерялась.

Слабеющим взором окинул Сергей Николаевич верхнее пространство и узрел невесть откуда взявшийся в потолке крепенький *шкивок*, через который конец удавки, собственно, и пропускался. Не просто задушенным предстояло ему стать, а именно вздернутым — синелицым, притиснутым к перекрытию пащем с параллельно провисшими конечностями.

Сергей Николаевич почувствовал, что его ноги отрываются от бетонной поверхности, услышал треск позвонков внутри себя — в зобу страшно сперло дыхание, Сергей Николаевич каркнул, и тут же архангел громко дунул ему в евстахию трубу.

«Ужели все?!» — крутанулось в мозгу...

Он не успел додумать мысль, как двери всех квартир распахнулись, и к нему побежали жильцы, дробно застучали кованые башмаки ОМОНа, с улицы в подъезд врывались разъяренные пенсионеры с цепями и кувалдами, жужжа, спускался с верхнего этажа вертолет военной контрразведки, из шахты лифта выпрыгивали в помощь Сергею Николаевичу чумазые горняки. Его вынимали из петли, тормошили, ему улыбались, рассказывали последние новости. Мелькнуло деловитое лицо Надежды Филаретовны...

Пока еще не в силах победить Смерть, люди отогнали ее от Сергея Николаевича, и она с позором отступила.

Немного оправившись, Сергей Николаевич сообразил, что он не только *играл* со Смертью, что в общем-то свойственно некоторым, но и *обладал* ею, а значит, может считать себя приобщенным к сонму...

А много позже он и вовсе пришел к выводу, что в принципе не должна была Смерть победить его, ибо на таких людях, как он, зиждется духовное спокойствие масс и даже, если хотите, суверенитет субъектов.

АННА АРКАДЬЕВНА

Началось с лекции.

В обеденный перерыв на завод приехал небольшого роста человек в мятом костюме и без галстука. Печальным голосом он сообщил, что интерес к классической литературе падает и дошло уже до того, что многие из им опрошенных не удосужились прочесть даже «Анны Карениной».

«Действительно, — покачал головой Сергей Мыльников, — нехорошо как-то!»

В тот же день после смены Сергей зашел в библиотеку и взял книгу. Жены дома не было, он с удобством расположился на диване и раскрыл роман.

Сергей принял к сведению рассуждение классика о счастливых и несчастливых семьях, подумал тут же, какая семья у них с Мариной, и пришел к выводу, что в общем-то нормальная. Женаты три года, живут мирно, детей, правда, пока еще нет, но Марина считает, что ничего — успеется.

Он добросовестно прочитал о доме Облонских, в котором все смешалось, но пространно описанная ссора князя Степана Аркадьевича с его женой Долли мало тронула Сергея.

«Разберутся как-нибудь!» — решил он, а тут как раз пришла с фабрики Марина, загремела на кухне кастрюлями, позвала его, и Сергей безо всякого сожаления захлопнул книгу.

Через несколько дней он вспомнил о романе. Раскрыл. Аристократы убивали время пустыми разговорами и затеями. Вертящиеся столы, духи, сватовство какой-то Кити. Все это было бесконечно далеко и неинтересно. Мысли Сергея то и дело соскакивали на день сегодняшний. Когда наконец выдадут зарплату? Удастся ли избежать сокращения? Вспоминались недавняя игра «Зенита», разговор о садовом участке... Сергей никак не мог вникнуть в содержание, путал героев, но Вронский ему запомнился. Красивый, плотно сложенный. Брюнет. Военный.

Сергею он представился похожим на лейтенанта, который параллельно с ним пытался ухаживать когда-то за Мариной. Марина долго тогда мурыжила их обоих, выбирала...

Мыльников скользил по строчкам дальше. Вот наконец прибыл поезд, из вагона вышла женщина, и Мыльников раньше Вронского понял, что это Каренина. Ему показалось даже, что блестящие серые глаза Анны внимательно остановились на его, Сергея, лице. Анна была и в самом деле очень красива и несколько не стеснялась того особенного, ласкового и нежного, что было в ней. Сергей смутился: его Марина, всегда суховатая, сдержанная, была освобожденным профсоюзным работником и заметных проявлений чувств или настроений себе не позволяла.

Весь день Анна провела у Облонских, сумела примирить своего распутного брата Стиву с женой, влюбила в себя Кити, племянников и, как показалось Сергею, Вронского. Мыльникову это последнее обстоятельство решительно не понравилось. Нет, это была не ревность. Анна, хрупкое порождение века минувшего, вызвала в нем не любовь, а какое-то другое чувство, тоже щемящее и волнующее. Человек открытый, а потому подвергающий себя постоянной опасности, Анна, несомненно, нуждалась в верном друге. Вронский же, по предположению Сергея, мог стать для Анны скорее опасностью, нежели другом.

«Ведь у нее муж, и сыну уже восемь лет. Впрочем,— Мыльников пожал плечами,— может быть, мне показалось?»

Но худшие подозрения Сергея полностью подтвердились на балу. На лице Вронского было несвойственное ему выражение потерянности и покорности. Анна улыбалась, и ее улыбка тут же передавалась Вронскому; Анна была пьяна вином возбуждаемого ею восхищения.

«Дела! — озабоченно думал Мыльников. — Ну, дела!»

— Все читаешь и читаешь! — Марина в ночной сорочке неслышно подошла, протянула к книге полную руку. — Детектив? Ого, какой толстый! — Она глянула на переплет, потом на мужа. — Ну, даешь! В школе, что ли, не проходили? Пошли-ка спать, поздно уже!

Марина давно спала, а Сергей не мог. Поведение Анны на балу беспокоило его.

На выходные Марина часто уезжала за город, на какие-то бесконечные профсоюзные мероприятия и учения. Сергей не любил, когда жена ночевала не дома, и они постоянно ссорились по этому поводу. Но на этот раз он только пожал плечами, и уже Марина ощутила какие-то подозрения и даже засомневалась было, ехать ли вообще, но все же, испытующе поглядев на прощание на мужа, уехала.

«Анна вернется в Петербург, к семье, Вронский останется в Москве — все

обойдется»,— успокаивал себя Сергей. Классик, однако, не спешил с информацией. После сцены на балу целых четыре главы решал свои личные проблемы какой-то Левин. Убедившись, что про Анну там ничего нет, Мыльников пролистал торопливо страницы. Каренина вернулась в Петербург, но Вронский увязался за ней и шел напролом. Анна сдавалась на глазах.

— Оставь ее, хлыщ! Слышишь, оставь! — сжимая кулаки, заклинал Вронского Мыльников, но непоправимое свершилось. Сергей дочитал до события, стыдливо обозначенного классиком двумя строчками одних точек, все понял, накинул плащ и вышел на улицу под дождь. Когда, вымокнув до нитки, он вернулся, дома была Марина.

— Спихнула мероприятие на заместителя,— заглядывая в глаза мужу, объяснила она,— решила на второй день не оставаться...

Глаза Сергея горели мрачным огнем.

— Доигрались! — В сердцах он стукнул кулаком по столу.— Он сел в тот же поезд и все-таки добился своего!

Марина побелела.

— Сереженька, Сереженька, что ты, что ты! — забормотала она, пятясь к дверям.

Мыльников бросил одежду на стул, бухнулся в кровать и с головой накрылся одеялом.

Наутро у него поднялась высокая температура, врач выписал больничный. «Скоро о них узнает весь Петербург! — мучился Сергей, ворочаясь на жаркой простыне.— Узнает ее муж, и тогда...» — Он застонал.

Не доезжая немного до дачи, где находилась теперь Анна, Вронский вышел из коляски, чтобы последние метры, не привлекая внимания, пройти пешком.

— Алексей Кириллович! — окликнул его Мыльников.— Вы к Анне Аркадьевне?

Вронский встал как вкопанный и повертел головой по сторонам.

— Кто здесь?

— Вы меня не знаете,— путаясь, заговорил Мыльников,— но, поверьте, вам лучше ее оставить... У нее муж, ребенок! Не ломайте человеку жизнь... Все может закончиться очень печально...

Лицо Вронского перекошилось.

— Отчего вы пристааете ко мне?! Прочь с дороги! — заревел он, отбрасывая Мыльникова в сторону.

Задержать Вронского, сопротивляться — сил для этого у Сергея сейчас не было. Незаметно, садом, Вронский прошел к Анне...

Марина не отходила от постели, с чрезмерной старательностью, как бы искупая какую-то вину, ухаживала за мужем, и через несколько дней температура спала и Мыльников чувствовал себя уже вполне прилично.

— Полежи, отдохни, почитай! — Заботливо поправив одеяло, Марина ушла на работу...

Не в силах более сдерживаться, Анна открылась мужу.

— Я приму меры, обеспечивающие мою честь! — пригрозил ей Каренин.

«Он примет меры! — испугался Мыльников.— Нужно отговорить его!»

...Алексей Александрович Каренин сидел в кресле у себя в кабинете под овальным, прекрасно сделанным портретом Анны. На коленях у него лежала начатая французская книга.

Мыльников кашлянул, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произнесли звук «брр».

— Извините...— начал Мыльников.

— Как вы сюда попали?! — визгливо закричал Каренин.— Я же велел никого не принимать!

— Сударь,— страстно проговорил Сергей,— я пришел просить вас, человека просвещенного и гуманного, не предпринимать суровых мер в отношении Анны Аркадьевны. Поверьте же, она и сама отчаянно страдает от положения, в которое попала волею обстоятельств!

Каренин вскочил, затопал костлявыми ногами, затрещал суставами пальцев.

— Это она вас послала! Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Я ошибся, связав свою жизнь с нею! Мне нет дела до нее! Она не существует для меня!

Спохватившись, что выдает себя незнакомому человеку, Каренин тут же разом замолчал, выкинул руку к дверям:

— Извольте идти вон!..

— Сережа! — Маринина рука легла на его лоб, провела по лицу. — Зову тебя, зову, а ты все не слышишь, зачитался..

За окнами был уже вечер. Марина зажарила курицу, испекла пирог, открыла бутылку пива. Мыльников ел, смотрел на жену, медленно возвращался к привычной действительности.

Бюллетень продлили еще на несколько дней. Мыльников починил пылесос, сменил в ванной и на кухне прокладки, склеил разбитую когда-то чашку. На некоторое время он отложил чтение, оно забирало много сил, а силы должны были ему скоро понадобиться..

Анна была еще на даче, и Мыльников решил наконец приехать к ней. На крыльце дома стояла девушка. Сергей попросил доложить о нем. Через несколько времени его пригласили, и, оправив на себе пиджак, он вошел. Анна сидела за письменным столом, он поклонился.

Анна вопросительно улыбнулась ему, но он догадался, что только что она плакала.

— Анна Аркадьевна! — решительно начал Мыльников. — Поверьте, что я преданнейший друг вам и, если понадобится, заступник. Я знаю, вы только что получили письмо от Алексея Александровича и он хочет, чтобы ваша жизнь с ним продолжалась внешне, как и прежде. На это вы, разумеется, не согласитесь — ведь человек этот восемь лет душил вашу жизнь. Вы живая женщина, и вам нужна любовь! Вы боитесь — он отнимет у вас сына. Но, право же, поверьте мне, все обойдется! Не принимайте только, ради Бога, необдуманных решений. И не терзайтесь ревностью. Алексей Кириллович Вронский — парень неплохой и искренне любит вас. Съездите с ним на курорт, отдохните, развейтесь..

Мыльников запнулся, покраснел, дивясь и сам своей неожиданной смелости.

Онемевшая от изумления Анна смотрела на него во все глаза.

— Милостивый государь, — сказала она, наконец опомнившись, — ваше появление здесь, ваши речи дерзки, и я немедленно велела бы вывести вас вон, но... — Ее голос задрожал и пресекался. — Но вы непостижимым образом прочли самые сокровенные мои мысли. Кто вы? Ваше имя мне ничего не говорит. Откуда знаете обо мне? Впрочем, ваше лицо кажется мне знакомым..

— Сережа, Сережа! — вроде бы послышался Мыльникову голос Марины. Он досадливо отмахнулся.

— Я... — сказал он Анне, — я читал о вас.

— Читал?! — Анна дугой выгнула брови. — Да, я знаю, — пылко продолжила она, — обо мне сейчас много говорят разного в свете... Оказывается, уже и пишут!

— Сережа! — Голос Марины был все настойчивей и тревожней.

— Извините! — сказал Мыльников Карениной. — Не сердитесь, пожалуйста. И можете смело на меня рассчитывать..

Марина трясла его за плечи, в глазах жены был испуг.

— Фу, как ты меня напугал! — выдохнула она, опустилась рядом и спрятала голову у него на груди. Сергей гладил ее по волосам, что-то шептал, но мысли его были далеко..

Анна с Вронским уехали за границу, в Италию.

Мыльников хотел поехать с ними, но понял, что не успеет оформить всех положенных документов, и поэтому остался и наблюдал за их тамошней жизнью издалека.

Он давно поправился, а Марина «пробила» садовый участок, и в выходной они поехали убирать камни и корчевать пни. Сергей был весел, шутил, работа спорилась: он знал, что Анна и Вронский уже вернулись и вроде бы жизнь у них налаживалась. Случались, правда, между ними мелкие ссоры, но Сергей не придавал этому особого значения — ведь у них с Мариной тоже бывали размолвки.

А то, что Анна была лишена возможности видеть сына,— так у нее же была теперь прелестная маленькая дочурка!

На другой день, придя с работы, Сергей узнал, что Анна по ночам принимает морфин. «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя»,— вот, оказывается, что сказала она Вронскому.

Когда Марина уснула, Сергей забрался на антресоли и где-то в глубине нашел то, что было ему сейчас необходимо. Мальчишкой, как и многие, он собирал старинные монеты. Было среди монет и несколько бумажных ассигнаций.

Он молча постоял около Марины, потом решительно взял книгу и полностью в нее погрузился...

Ему хватило денег, чтобы подкупить девушку, прислуживавшую Анне. От нее он узнал, что ссоры между Анной и Вронским становятся все чаще и продолжительней. Анна мучится ревностью, постоянно в слезах, злоупотребляет наркотиками.

Кутаясь в плащ (все утро шел мелкий частый дождик), Сергей стоял у старинного московского дома, где последнее время в меблированных комнатах жили Анна и Вронский.

Вронский в явном раздражении вышел на улицу, сел в коляску и умчался. Коляска вернулась без него, и скоро в ней отъехал какой-то человек из челяди. «Анна послала Вронскому записку!» — догадался Мыльников. Посланный вскоре возвратился, тут же из дома вышла Анна — в ней было что-то жалкое — и сделала распоряжение кучеру: «На Знаменку, к Облонским!»

«Рано,— сказал себе Сергей.— Еще рано!» Волнуясь, он курил сигарету за сигаретой.

У Облонских Анна провела совсем немного времени, скоро она приехала обратно и, как заметил Сергей, еще в худшем состоянии, чем перед отъездом.

Наступил вечер. Продрогший Сергей хотел было забежать в трактир погреться и поесть чего-нибудь на последние деньги, уже нащупал в кармане серебро, как на пороге снова показалась Анна. Были запряжены другие лошади. Человек из прислуги Петр вскочил на козлы и приказал кучеру ехать на вокзал.

«Пора!» — понял Мыльников. Он отшвырнул окурок, свистнул «ваньку» и помчался за Карениной.

На вокзале Петр купил для Анны билет и проводил ее до вагона. Сергей успел проскочить следом, прежде чем наглый кондуктор захлопнул дверь и щелкнул. Анна вошла в купе, села на пружинный диванчик, встала, снова села на место.

«Нет,— решил Сергей,— сейчас нельзя подходить к ней, она не поймет, не послушает...»

Поезд подошел к станции, Анна, сторонясь других пассажиров, вышла. Казалось, она забыла, зачем сюда приехала и что намерена была сделать.

К ней подошел какой-то человек, подал записку. Она прочла ее со злою усмешкой и, решившись на что-то, пошла по платформе в самый конец ее. Подходил товарный поезд.

Быстро спустившись по ступенькам, она подошла близко к рельсам, и вот уже первый вагон медленно прокатился мимо. Анна смотрела на высокие чугунные колеса второго вагона. Она перекрестилась, и в то мгновение, когда середина между колесами поравнялась с нею, упала под вагон.

В ту же долю секунды какая-то мощная сила выбросила ее оттуда, и Анна, путаясь в платье, кубарем слетела с насыпи. Она не успела даже ужаснуться.

Вытолкнув Анну, Сергей Мыльников сам из-под колес вывернуться не успел. Что-то огромное, неумолимое толкнуло его в голову и потащило за спину. Ему показалось, что где-то, уже далеко, в другом мире, отчаянным голосом закричала женщина.

«Марина!» — успел подумать он.



Даровитый самородок Ремонт Приборов

Летом 1974 года я отправился в ДЭЗ № 10 Тушинского района получать новый паспорт взамен утерянного. Жившим при советской власти известна эта унизительная процедура. День, а может быть, и неделя были безнадежно испорчены. Томясь в порядочной очереди, я от нечего делать стал читать стенную газету ДЭЗа, заранее будучи готовым к призывам бороться за культуру труда и отчетам о количестве сэкономленных венчиков. Начав знакомиться с имевшимся поэтическим разделом стенгазеты, я вздрогнул! Уныние мое безвозвратно рассеялось. От шести стихотворений, кое-как отпечатанных на разбитой машинке, несмотря на их определенную бесхитростность, на меня повеяло истинным вдохновением. Правда, я не любил советской власти, а эти стихи ее яростно защищали. Но главным в них, несомненно, была глубокая вера, подлинная искренность! Меня окликнули. Я увидел смущенного юношу с горящим взором и с разводным ключом в руке. Это и был Ремонт Приборов, работавший тогда в ДЭЗе сантехником, а вечерами учившийся на инженера-ассенизатора. Разумеется, о публикации этих стихов не могло быть и речи. Советской власти требовались не убежденные сторонники, а прожженные циники. Мы немало сокрушались об этом в тот вечер на кухне моей тушинской квартиры, обмывая мой новый паспорт, полученный без очереди с помощью моего даровитого друга.

Ремонт Приборов — скромный, услужливый, талантливый, всегда при бутылке, а то и двух — вскоре прочно вошел в нашу компанию, подружившись и с Сопровским, и с Гандлевским, и с Цветковым, а впоследствии и с Тимуром Кибировым. Тогда же он взял себе этот псевдоним, хотя никогда не скрывал своей настоящей сибирской фамилии — Ремонт Бытовых-Приборов.

Ремонт Приборов — один из тех поэтов, настоящий расцвет которых начался с переходом России к капитализму. Его лира отзывалась едва ли не на все ключевые события последних лет. Вдумчивый читатель отметит, что эволюция Ремонта от коммуниста к демократу была противоречивой, но в том и прелесть его творческого пути. Печатается он редко и неохотно, отчасти от скромности, отчасти по причине материальной независимости, заработанной честным и нелегким трудом. Возможно, будущему литературоведу покажется интересным тот факт, что Ремонт робко попросил — и получил — разрешения написать некоторые циклы стихов от моего имени. В общем и целом я с удовольствием представляю читателю этого даровитого самородка.

РЕМОНТ ПРИБОРОВ

Экономическое послание Тимуру Кибирову в связи с его сетованиями на бедность и невозможность продать плоды своей музыки в условиях рынка

(писано от лица того же Б. Кенжеева)

Фантазия кипит в любой твоей поэме,
талантливый Тимур, но знаешь, в наше время,
особенно когда младенец и жена,
другая, ангел мой, фантазия нужна,

и хватка, друг-поэт, потребна нам другая.
Уже двенадцать лет я тихо постигаю
на тучном Западе (порой не без слезы)
изобретательности трудные азы.

Как буйволу, Тимур, не стать изящной ламой,
так денег бешеных ни модною рекламой
не заработаешь, ни шлягером, увы.
Хотя в карманах есть у жителей Москвы
немало разных штук, включая пять и десять,
ты волен рынок сей исследовать и взвесить,
но лирой трепетной богатства не ищи:
читатели твои, как и ты сам, нищи.

Не любы им клише, им дай чего повыше —
и все же им слабо пробиться в нувориши,
а для других, Тимур, скажу, зелена мать,
ты, право же, и сам не станешь сочинять.
Пускай ты архаист, а Кекова — новатор,
бесплатно совершай свой благородный труд.
Россией правят волк, гиена, аллигатор,
и за стихи, ей-ей, полушки не дадут.

Послушайся, Тимур, похерь свою гордыню.
Ведь деньги — это все. Они пленяют нас,
приобрести на них ты можешь дочке — дыню,
а для жены — шампанское и ананас.
Чем всеу рассуждать о девстве музы милой,
пой небо звездное, от музыки дрожи,
друзей не обижай и сердца не насилуй,
но днем, советую, хоть где-нибудь служи.

Уже не в том вопрос, чтобы косить на зоне.
Не тронут, не убьют — мы больше не нужны.
В Израиле теперь, в Берлине, в Аризоне
российских бедных муз упрямые сыны
и дочери, хотя и вкальвают люто,
но «Абсолют» глушат и гамбургер жуют,
чтоб привезти на Русь заморскую валюту,
создать зажиточность, порядок и уют.

И ты бы мог, Тимур. Душа твоя живая
ей-богу, не помрет и в лес не убежит,
когда б за рубежом ты жил, преподавая
«Бруски», «Цемент», «Гулаг», Айтматова, Главлит.
Не бойся, что пойдет поденная работа
метафоре во вред — компьютер и «тойота»,
японской мудрости прекрасные плоды,
вознаградят твои унылые труды.

Какой там Нахтигаль — куда ждет подарка
от скорби мировой пустынная душа,
от Кушки до Курил народом правит марка
немецкая, и фунт, и доллар США.
Пока вздыхаешь ты, не ударяя палец
о палец, накопить изрядный капиталец

ты мог бы, мой Тимур, вложить его в КамАЗ,
и за год без хлопот удвоить восемь раз.

С подобною деньгой ты бедности оковы
отбросил бы навек, купил свое Шильково
и на угрюмый быт навел бы марафет
не хуже, чем Толстой, Тургенев или Фет.
Покос, и полведра, и каши запах сытный,
опрятны мужики, и девки аппетитны,
и клевер так хорош, и барин знаменит —
вот счастье! вот права! любезный мой пиит.

*Экономическая баллада
о молодом аудиторе*

Спит Москва. В ресторанах погасли огни,
казино уж закрылись давно.
Лишь таксисты не спят да бандиты одни,
и горит над Тверскою окно.
Там под лампой зеленой, рабочий свой пот
утирая могучей рукой,
у компьютера верного ночь напролет
аудитор сидит молодой.

Позабыл аудитор, как время течет,
и покой позабыл, и семью.
Он шестнадцатый час изучает отчет,
за статьей проверяет статью.
Этот банк с подозрительным именем «Шанс» —
знаменит своей прибылью он,
отчего же его ежегодный баланс
с отрицательным сальдо сведен?

Побледнел над столицей месяца серп,
погрустнел аудитор Ильин,
он увидел, что вкладчики терпят ущерб,
что нарушен закон не один,
ибо систематически на дивиденд
основной уходил капитал,
и бессрочные ссуды под льготный процент
этот банк без залога давал.

Ночь бездонная, что ты так сердце томишь?
Он дискету бесстрашно берет,
и дрожит под рукою проворная мышь,
и крутится лихой дисковод.
Что ж, пиши заключение свое без прикрас,
твой компьютер бесстрастен и быстр,
пусть назавтра издаст беспощадный приказ
всероссийских финансов министр!
Только чу — в тишине, на московской заре,
бродят доки в нечистых делах.
Кто там затормозил на безлюдном дворе,
уж не банковский ли «кадиллак»?
Кто по лестнице черной крадется наверх,
освещая фонариком тьму,
у кого в «дипломате» стальной револьвер
и десяток патронов к нему?

И пускай не боится Ильин никого,
не знаком аудитору страх —
грозен банка директор и двое его
заместителей в черных плащах!
Не спеши, аудитор, давать им ответ,
пожалей своих малых детей —
предлагают тебе неприметный пакет,
в нем пятьсот миллионов рублей.
Но в ответ на угрозы бесстрашно молчал
молодой аудитор Ильин,
и, увидев пакет, головой покачал
непреклонный Отечества сын.
И всего-то злодеям сказал: «Не страшусь
я пролить свою честную кровь!
Даже если погибну — великая Русь
из развалин поднимется вновь».

Он на кнопку нажал — и сигналу вослед
файл отправил министру на стол,
а коварный директор достал пистолет
и на цель хладнокровно навел...
Ускользали убийцы рассветной порой,
уносился во тьме «кадиллак»
так погиб за идею наш юный герой...
Лучше денежку взял бы, чужак.

***Экономические стансы Светлане Кековой
в связи с повышением курса рубля
на Московской валютной бирже***

Когда в Саратов и Тамбов
на рынки разом, как зараза,
нагрянут с кучею мешков
пришельцы с дикого Кавказа
и, продавая виноград,
халву и прочие предметы,
в порядке сдачи норовят
неведомые дать монеты —

не верь им, нежный мой поэт.
Товар бери, но рубль российский
не унижай, на белый свет
с улыбкой глядя олимпийской.
Ты понимаешь все сама.
Ты так любила рыб когда-то,
но, глядя милого сома,
чурайся сома и маната.

Немало видел я таких
за годы юности беспечной,
но конвертируемость их
невелика, мой друг сердечный.
И много лет пройдет, как сон,
пока в Париже без вопросов
за камамбер возьмет гарсон
купоны дерзких малороссов.

Еще, цена твой тонкий дар,
тебе, кротчайшая волжанка,
с трехцветным флагом гонорар
в окне коммерческого банка
дадут — но спрячь его в чулок.
Что б там ни пела заграница,
настанет день, настанет срок —
и курс рубля учетверится.
.....

Когда страна своих детей
вознаграждала по делам бы,
я б продал в выпуск новостей
свои хозяйственные ямбы.
Но совершенства в мире нет,
дай хоть тебя по крайней мере,
мой романтический поэт,
наставить в современной вере.

Ты пишешь жаркие стихи,
твой взор бесхитростен и робок.
Не говори мне, что сухи
столбцы последних котировок.
Нет, видит в них душевный взгляд:
сражаются быки и тигры,
и, как в трагедии, кипят
сердец возвышенные игры!

Блажен, кто посетил сей мир,
когда Россией правит рынок!
Он призван если не на пир,
то на смертельный поединок.
Не затопчи его ростков,
войди под своды жизни новой,
где окликает Хлестаков
тень благородного Ноздрева.

СТИХИ ДЛЯ НОВЫХ РУССКИХ ДЕТЕЙ

Аккредитив

Не зря детишки просят маму
купить заморский шоколад
и сладкой парочки рекламу
заместо Тютчева твердят.
Но есть гораздо слаще пара!
В ней — избавленье от тревог,
и обещание навара,
и верной выручки залог.
Аккредитив и предоплата
нам часто снятся поутру.
Мы любим первого, как брата,
вторую любим, как сестру.

Их тайна, детки, выше неба,
сытней, чем хлебный каравай:
всегда их от партнеров требуй,
но сам — ни в жизни не давай!

Банк

Хранят сбереженья в коммерческом банке
полковник, певец, агроном,
поскольку боятся держать их в жестянке
и даже в чулке шерстяном.
Действительно, нет справедливости в мире!
В носке ли, в коробке, в уютной квартире,
в любом из надежнейших мест
все деньги инфляция съест.
А банк — итальянцы зовут его «лавкой» —
полгода пройдет или год,
вернет твои деньги с солидной добавкой,
а может, совсем не вернет.
Но не унывай! Если банк разорится,
банкир устремится в полет
и каждому вкладчику из-за границы
открытку бесплатную с видами Ниццы
с горячим приветом пришлет!

Киллер

Всем полезен добрый киллер,
наш российский Робин Гуд.
Если вам не уплатили —
дядя киллер тут как тут.
Он встает во мраке ночи,
тяжела его рука,
без усилия замочит
он любого должника.
Если грустно отчего-то —
позвони ему, народ!
Быстро сделает работу,
денег много не возьмет.

«Мерседес»

Завидууй русскому, Европа!
В стране лесов, в стране чудес
с утра садится дядя Степа
в бронированный «мерседес».
Такому дяде в руки лом бы,
но, даже лома не держа,
не убоится он ни бомбы,
ни автомата, ни ножа.
Всегда осанист, горд и важен,
он ни пред кем не тормозил,
а если пешехода, скажем,
задавит дивный лимузин —
как будут родственники рады!

Щедр дядя Степа и умен —
без слов по высшему разряду
оплатит похороны он!

Налог

Допустим, Петя продал шерсть
Алене с выручкой на шесть
«роллс-ройсов» — верно, в миллионах
купается? Как бы не так!
Один лимон он взял, простак,
причем деревянных, не зеленых.

Неужто рэкет, злобный вор,
наставив автомат в упор,
ограбил Петю? Нет, ребята.
А в чем же дело? Петя — лох.
Исправно платит он налог,
и не бывать ему богатым.

Налог на прибыль, НДС,
налог на воздух, землю, лес,
налог акцизный и дорожный,
раскрыв широко жадный рот,
казна несытая берет
по ставке самой невозможной.

Но настоящий бизнесмен —
не то что Петя. Буен, смел,
как дорожит он баксом каждым!
И вот урок тебе, сынок:
мы все должны платить налог,
за исключением умных граждан.



Марина УРУСОВА

Любовь и голод

РАССКАЗ

— Мир будет вечно молод, пока на свете есть любовь и голод. Клево, да? —
Муслышала Вероника на Арбате.

И говоривший, и компания его сверстников, не ведавшие еще ни того, ни другого, громко захохотали.

Август и сентябрь поливали москвичей дождями. То мелко-осенними в августе, то летними ливнями в сентябре. Не топили. В квартирах было промозгло. Включенные электрокамины округляли суммы на счетчиках электроэнергии, экономисты — договорные цены на продукты, а залы гастрономов — во имя или вопреки «русской идее» — впору было отдавать симфоническим оркестрам для репетиций.

В такие месяцы и дни художники откладывают кисти, а пишущие — перо. От чего ночи у тех и других становятся беспокойны.

Десять лет назад, в восемьдесят первом году, Вероника напечатала рассказ. О творчестве, о начале, о себе. Он назывался «Не верь глазам своим». Вот он:

«Сдерживать себя и не писать я больше не могла. Заводить будильник на семь утра и в семь вечера в лучшем случае возвращаться домой, растеряв в казенных кабинетах, городском транспорте и очередях замыслы, характеры, сюжеты, было все равно, что гореть бенгальским огнем.

Копились начатые повести, рассказы и даже роман. В них люди встречались и не успевали расстаться, ссорились и не могли помириться, назначали свидания и не успевали встретиться.

Перроны оставались пустыми, на городских перекрестках никто никого не ждал, лодки на приколе стояли у морского причала.

В городской квартире щелкал ночник. Голова поднималась над подушкой. «Где ты? Где? Когда ты вернешься?» Вопросы, обращенные в мрак за окном, оставались без ответа.

— Милая, ты здорова? — кричал в трубку другой женщине мужчина. — А малыш?

— Спортивный магазин? Скажите, когда можно записаться на мотоцикл ИЖ-Юпитер-4К? — интересовался женский голос.

— Мастерская? Вы чините гонконгские часы? — спрашивала другая.

— Нет, не могу. У самого в кармане ни шиша. Где я на это возьму? — сипел третий.

Эти вопросы также оставались без ответа.

И я ушла с работы.

Близкие растерялись. А стаж? А пенсия? — задавались они земными вопросами. Муж благородно молчал, сохраняя чувство собственного достоинства. Что ж, он готов, хотя и не очень, содержать жену. Но по нынешним временам, согласитесь, это было явлением из ряда вон, почти подвигом.

И от сознания ли своего благородства, а может быть, от возникшего ощу-

щения власти над ближним — чувства такого нового и пьянящего — захотелось стать суперменом не только в рамках семейного очага. И за спиной мужа в неуточный час стала закрываться дверь. А когда поворачивался в замке ключ, стрелка на часах показывала... немного... Скажем, два. Или три.

И я ушла от мужа.

В кармане обнаружили три рубля, а в закрытой кооперативной квартире на журнальном столике — стопка неуплаченных за полгода квартирных квитанций.

Я села за письменный стол. Но листы бумаги оставались чистыми. Я не могла найти ответа ни на один вопрос.

Было над чем подумать. И я принялась измерять расстояние от Садовой до Тверского бульвара и от улицы Горького до Манежа. Был май. Навстречу мне шли влюбленные. Они держались за руки или обнимали друг друга за плечи. Цвета сирень. Все стало вокруг голубым и зеленым. На мне был темно-зеленый костюм и голубой гольф.

В переулке с посольскими особняками на доме с облупившейся штукатуркой на невзрачной двери, выкрашенной коричневой краской, висела афиша с репертуаром на месяц. Сегодня значился Шекспир под музыку Бернштейна.

А что, если сын перчаточника подскажет мне, как растянуть купюру достоинством в три целковых на совершенно неопределенное время или как свести на нет стопку квартирных квитанций на столе у моего изголовья? Что, если вдруг?.. Я решила попытаться счастья. Перед дверью, выкрашенной коричневой краской, стояли плотные ряды. Я нашла себе место и встала.

Минув особняки с гербами чужеземных держав, держась за руки и в обнимку, к дому шли пары. Они не нуждались в подсказке, им было все ясно и так.

Из машины, подъехавшей к дому, с трудом и долго выходила театральная знаменитость. Юные обитатели Вероны, угадав прибытие мэтра, выбежали на улицу из коричневой двери, подхватили знаменитость под руки и повели в подъезд. Из-за седой щетины невыбранных щек, шевелящихся на ветру седин и пучкастых бровей глянул озорной бродяга, опиравшийся полвека назад не на юных Монтекки и Капулетти, а на шутовские костыли в очереди к мощам Иоргена.

А что, если сын перчаточника и вправду подскажет, как разменять купюру, свести на нет квитанции и более того — как чистые листы бумаги превратить в Берендеев лес или плещущую о берег волну?

Мысль стала навязчивой.

В самом конце переулка я заметила одинокую женщину, тщедушную и, как мне показалось, неказистую, которая семенящей походкой поспешно приближалась к страждущей толпе. Я покинула ряды и пошла ей навстречу. За своей спиной слышала догоняющие меня шаги. Обернулась. Девчушка с неорганизованной копной мелко вьющихся волос, с глазами, не затуманенными никакими вопросами, кроме вопроса о лишнем билете, бесцеремонно догоняла меня, стараясь перегнать. И когда я остановилась перед тщедушной дамой со старомодной брошью на белой блузе и сказала: «Нет ли у вас билета?» — за моей спиной звонкий девичий голос почти в унисон повторил мои слова. Женщина с брошью близоруко посмотрела мимо меня и сказала, обращаясь к той, что была сзади: «Пойдемте, есть».

Предпочтение было таким явным, что я растерялась. В глазах, как мне показалось, мелькнуло осуждение или даже презрение. Я недоумевала.

— Вам нужен билет?

Я обернулась:

— Да...

— Пойдемте... уже начинается...

— А может быть, вам стоит подождать вашу даму?

— Нет, хватит!

Юные Монтекки проверили в дверях наши билеты, юные Капулетти указа-

ли дорогу в зрительный зал. В фойе на полу с самым равнодушным видом лежали оборванцы, изображавшие все тех же представителей враждующих фамилий. Тибальд, Меркуций, Кормилица и граф Парис соперничали рублищем. Четырнадцатилетняя Джульетта под музыку Бернштейна указала Ромео путь на свой балкон. Охваченные всеобщей страстью оборванцы Вероны под такты джаза пели по-английски.

И на чистом листе бумаги, оставленном мною на письменном столе, чудесным образом стали складываться слова. И Берендеев лес поманил неудержимо в свои таинственные чащи, и звякнула якорной цепью стоящая на приколе ладья, и женщина в телефонной будке, волнуясь, говорила с мужчиной, и... И самые скучные в мире квитанции исчезли со стола в моем изголовье, и все золото мира... Я оглянулась почему-то и увидела в следующем за мной ряду старинную брошь и рядом с ней неорганизованную копну мелко выющихся кудрей. Я оглянулась, наверное, оттого, что счастливая обладательница пышной прически, покачиваясь в такт синкопам Бернштейна, конечно, забывшись, бесцеремонно шуршала конфетной оберткой. И вот на смену уже решенным вопросам пришел следующий: «Почему? Почему взгляд был так холоден и отодвигающ? Почему «есть, пойдемте» было сказано категорически не мне? Но отвлекаться мыслью от театрального действия было опасно. Джульетты сменяли одна другую. В программе их значилось четыре. Ромео также. Надо было быть бдительной, чтобы, не ровен час, не отправить, пусть мысленно, на тот свет тех, кому надлежало жить. Справившись с этой нелегкой задачей, я с удовлетворением покидала зал.

Молодой кудесник с лицом диктатора сдержанно раскланивался.

При выходе в тесных дверях рядом со мной оказалась та самая решительная особа со старинной брошью.

— Скажите, — я хотела сегодня получить ответ решительно на все вопросы, — почему вы отдали билет не мне? — Я, как могла, смягчила интонацию.

Она узнала меня, усмехнулась и сказала:

— Очень уж вы благополучны».

Прошло десять лет, что изменилось с тех пор? Ладья отправилась в путь. Прошумел Берендеев лес...

В эту осень в квартире Вероники в московский октябрь в приоткрытую балконную дверь подул ночной норд-ост. Листы бумаги слетели с ее письменного стола. Телефон от ночного мужского звонка был отключен. Одеяло ее...

Токи Бернара... Известны ли вам они? Это акульки зубы, которые сначала проходят по вашей спине и пояснице, примериваясь и пробуя, а уж потом вгрызаются и рвут вожаделенную человечину.

Требовались срочные меры самозащиты.

В скором поезде «Москва—Сухуми» голос проводника оторвал Веронику от созерцания мокрого Подмосковья:

— Чай!.. Чай!.. Бэсплатный чай!..

Им оказался кипяток без сахара и заварки.

Эта осень во многом состояла из случайностей. Одной из них была банка растворимого кофе в ее дорожной сумке.

— У вас не найдется ложки? — обратилась она к проводнику.

— Ложки? — удивился он. — Лож-ки? — переспросил, что-то соображая. — Ты — хороший дэвушка, — сказал, хотя возраст Вероники сильно приблизился к бальзаковскому. — Для тебя ложка есть! — И он ловко оказался одновременно с ней в узком дверном проеме служебного купе.

Следующей проблемой, но это уже в Гагре, было поменять брюки и свитер на сарафан. Если читатель помнит открытую площадь перед вокзалом и знает,

что оком из кипарисов — преграда-мираж, за которым вновь кипят транспортные страсти, он почувствует Веронике от души.

Надо было скорее добираться до моря, до дачи в мандариновом саду, до...

— У меня сегодня хорошее настроение,— сказал таксист.— Сколько? — Он потер указательный палец о большой.

Вероника не знала здешней таксы.

— Адын раз... Что тебе стоит? Адын...

В автобусе до Пицунды было местное население. Стоял конец октября. Солнце заливало шоссе и субтропическую растительность обочь. Огромные листья инжира пожухли и побурели, а низкорослые мандарины набрали темную сочную зелень.

Женщины-абхазки внешне подразделяются на две категории — это общеизвестный факт. Одни одеты во все черное, другие строго придерживаются последней парижской моды. Объединяет их радушный нрав и дружелюбие: друг к другу, к случайным попутчикам, к малознакомым людям. Мужчины-абхазцы, даже если они внешне грубоваты и суровы, в душе также преисполнены к ближнему любви. При первом же удобном случае они докажут это. Возле игральные ли автоматов, куда станут незаметно опускать монеты, и ваша маленькая дочка или сын смогут играть бесконечно. В камышах ли реки Бзыбь, если вы согласитесь сесть в предложенную машину. Мутная Бзыбь как раз на середине пути от Гагры до Пицунды.

Словом, в день приезда Вероники в Абхазию каждый любил на свой лад.

«Почему «адын»?» — озорно подумала Вероника, проезжая Бзыбь и чувствуя себя в безопасности.

На даче, кроме мандаринов, созрели фейхоа, и их зеленые с клубнично-розовой мякотью плоды падали в бетонный слив умывальника и гнили там. Зацвела мушмула, вял виноград, перезрели гранаты на дереве возле входа — хозяйева, молодожены, дача осталась им от родителей, жили в многоэтажном доме в центре, отовариваясь по талонам.

Электрокамина на даче — двухэтажной вилле — не было, но договорные цены в Пицунде существовали. А в залах Торгового центра, как и в московских гастрономах, — «русская идея» распространилась и сюда, — тоже следовало бы для репетиций разместить — и не один — симфонический оркестр.

Но...

В этом году в лесах на горных склонах был урожай каштанов. В домашних погребах виноград перебродил в маджари. А возле почты каждый день торговал хурмой матерщинник-дед.

— Вяжет? Як вяжет? — ярился он.— А ты ее в... Будет як мышиный глызык.

— Чашка плачет вся — значит, душа волнуется,— в кофейне гадала Веронике женщина-абхазка.— Но нервничаєте впустую. Не надо нервничать. Волнения уходят. Есть просвет, но крупинки, осадок остаются. Попозже будет перемена — чистый просвет. Есть человек нехороший. Ползет, как ехидна. Крадется, разнохивает, за глаза болтает. Есть подруга такая? Слон. Это хорошо. Это или богатство, или хорошее перемещение. Менять место не собираетесь? Потому что на хоботе. Хобот у него закручен и голову поднял... Ухажеров у тебя два: один — черный, как Христос, глаза, как у рыси. Другой — сильный, как медведь. За кого замуж хочешь?

Вероника растерянно смотрит на гадалку. Та, в свою очередь, начинает пристально смотреть на Веронику.

— Ты что,— догадывается,— замуж не хочешь? Может, ты работу любишь?... — Абхазка качает головой.— Ты любовь не забывай! Любовь... это...

жизнь! Я своего так крепко обнимаю по ночам. Хочешь на него посмотреть? Шашлычную знаешь?..

Если вы любите каштаны не варить, а жарить, то, чтобы они на сковороде не стреляли, надо сделать на них надрезы, а два или три оставить целыми — они и возвестят, что готовы. С хурмой и того проще — ее следует положить в морозильник.

Но если вы хотите, чтобы вино было темно-красным и густым и хотите вспоминать его в Москве всю зиму,— тут адрес должен быть верен.

— Попробуй...

— Что-то кисло.

— Так для себя же.

— Совсем без сахара, что ли?

— Ну.

— Без сахара нельзя. Уксус будет.

— А я солью.

— Все равно будет.

— А я второй раз солью.

— Это как чачу, что ли? Без сахара — чача. С сахаром — самогон.

— Ага...

И тогда... Тогда холодное море заменит вам токи Бернара. И хоть вы и не принадлежите к клану нудистов, все равно будете купаться в костюме Адама или Евы, потому что на пляже в реликтовой роще, кроме вас, будет лишь угасший мангал с остатками пепла да оценившаяся в роще сука.

И тогда тот, кто пишет, станет писать всю ночь напролет. А тот, кто рисует, будет по утрам писать снежную кайму на вершинах гор. Ибо такая погода в самом конце октября бывает, когда на вершины ложится первый снег.

Что снег в горах выпал, Вероника поняла не сразу, хотя шла по дороге, с которой были видны и вершины, и вся гряда.

Самые близкие горы были кудряво-зеленые, следующие за ними — синие с дымчатой поволокой, а далее — темно-стальные, скалистые, с острыми вершинами.

И оттого, что тень от облака местами лежала на горах, снег в этих местах был сероватый и сливался по цвету с небом. В других местах снег хоть и был белый, но не сверкал и потому походил на облако, опустившееся на горы. И только тогда, когда взгляд Вероники упал на вершины, освещенные редкими солнечными лучами, в груди ее что-то екнуло, а дыхание перехватило.

Почему так светло и торжественно стало на душе при виде снежных вершин, что рассияно сливаются с тем, что мы называем Небо? Будто сверкающие одежды явленного Спасителя. Будто напоминание, будто знамение, будто зов. Но отчего желанен он? Ведь, покуда живем, страшимся мы черты, за которой эта Даль. Отчего же ликование? Почему праздник? Ведь грозил Небу умирающий Бетховен. И здесь, в пицундской больнице, умирая, еще не очень старый Степан не ликует, бранится. «Степан,— говорит ему жена,— ветеранам на горе участки режут, написал бы заявление, Степан...» «По фигу мне все теперь, Мария, по фигу».

«Жизнь — сон, смерть — пробуждение». Но в этот миг столько стенаний, столько ужаса, столько слез.

А Даль сверкает.

— А-ли-да-ли-ла...

— Генацвале...

— Кхм-к-кх... — доносится из садов. Может, готовятся к свадьбе?

Осенью в Абхазии много играют свадеб. По абхазскому обычаю гость не может вставать из-за свадебного стола. Современные мужчины приспособлива-

ют себя к старине: надевают две пары сапог — на меньший больший размер и ладят шланг меж голенищ...

И вот если в такую пору собратья по перу или кисти встретят друг друга и пойдут на вечернюю прогулку по старому неосвещенному Лидзавскому шоссе, что ведет от рощи к центру, то вокруг них будут кружиться, освещать их и сигналить машины — так принято во всей Абхазии, не только в Пицунде.

— Послушай,— сказала художнику Вероника на Лидзавском шоссе,— на полпути к Гагре... по берегам мутной Бзыби... густые камыши... Эти машины, что кружатся вокруг, вмиг доставят нас туда..

Но голова художника упала ему на грудь.

— Я... плоскостоп...— сказал, нет, беззвучно взрыднул он.— И... импотент...

Мы больше ничего не знаем про художника. Но Вероника привезла в Москву из Пицунды готовую повесть.

Это было в благословенную осень, когда в благоуханном этом краю еще царила Любовь.



«Человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне...»

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ВАДИМА СИДУРА
И КАРЛА АЙМЕРМАХЕРА

Здесь представлены фрагменты переписки (70—80-е годы) между московским скульптором Вадимом Сидуром (1924—1986) и профессором Карлом Аймермахером, выбранные из более чем трех тысяч страниц. Переписка продолжалась с 1970-го по 1986 год. Последнее письмо В. С. было написано и отправлено 24 июня 1986 года, за день до смерти. Ответы К. Аймермахера всегда ожидались с нетерпением и были маленьким праздником; тем сильнее наступало разочарование, когда К. А. из-за своей фантастической занятости задерживался, отвечал не сразу и недостаточно подробно.

Молодой немецкий литературовед, славист, Карл Аймермахер познакомился с В. Сидуром в 1970 году. До этого он впервые увидел поразившие его фотографии скульптур у одного чехословацкого журналиста в Праге и не поверил, что подобное искусство возможно в СССР. После знакомства дружба обоих продолжалась до самой смерти В. Сидура.

Карл Аймермахер был первый немецкий друг (потом появилось много других), кто устраивал его выставки в разных городах, участвовал в установке его памятников, читал о нем лекции, опубликовал монографию о его творчестве, статьи, выпускал каталоги. На первой выставке во Фрауэнфельде (Швейцария) в 1971 году выставлялось всего двенадцать скульптур Сидура, собранных К. Аймермахером у друзей художника, проживающих во многих странах Западной Европы. Но уже на выставке в Бохумском музее современного искусства в 1984 году экспонировалось более сотни произведений...

Со второй половины 1986 года такие новые понятия, как «перестройка» и «гласность», начали набирать обороты, однако скульптор никак не мог предвидеть, что в Москве с 1989 года будет работать Музей Сидура. Он готовился совсем к другой выставке для своих произведений.

Переписываться по нормальной почте не существовало никакой возможности, тем более посылать свои работы. Но в течение десятилетий это происходило, несмотря на все запреты и вопреки всем препятствиям. Получилось так, что Вадим Сидур, никогда не покидавший своей страны художник, изолированный в собственном подземном мире (мастерская находилась в подвале), лишенный возможности выставляться и открыто высказываться, из-за своего искусства сам стал небольшим, но очень важным центром притяжения для людей из многих стран мира.

После войны бывший пулеметчик Сидур никогда не забывал, с кем он воевал, кто напал на его землю, кто его покалечил и навсегда сделал ИОВом в девятнадцать лет, кто расстрелял в Днепрпетровске его бабушку и тетю. На фронте он отлично усвоил «науку ненависти», которая помогла завоевать великую Победу. И в какой-то момент обычные ужасные предрассудки — переносить на весь народ преступления одного или нескольких злодеев — коснулись его так же, как и многих других. Но все это напряжение и недоверие рассыпались в прах при первом же знакомстве не с врагом на полях сражений, а с живыми немецкими людьми в его мастерской. Среди посетителей оказалось на редкость много ровесников Сидура, которые воевали с другой стороны. Они были потрясены этим искусством, как содержанием самих работ, так и формальными открытиями Сидура, специфическим современным языком его произведений, особенно многочисленными скульптурами 60-х годов на военную тему: всеми этими керамическими, металлическими и гипсовыми изображениями пулеметчиков, автоматчиков, инвалидов-любителей, инвалидов-отцов семейства и прочих безруких и безногих победителей. Теплые дружеские чувства, а также понимание были взаимными и полными.

Для Сидура, смирившегося со своей многолетней изоляцией и лишенного обрательной связи со зрителем, кроме чрезвычайно узкого круга своих и зарубежных почитателей, было большим счастьем прочитать в письме или услышать по радиостанции о том, что прошла его выставка в Саарбрюкене или Гамбурге и установили очередной его памятник в Оффенбурге или в Дюссельдорфе. Вадим Сидур всегда любой вид своей деятельности преобразовывал в объект искусства. Письма постепенно превратились в своеобразный дневник. Это почти еженедельное писание в течение многих лет стало для него постоянной и необходимой потребностью, такой же, как скульптура, графика, кино, стихи и автобиографический роман «Памятник современному состоянию. МИФ». Писать приходилось обо всем, что было главным в тот момент: о творчестве, о политике, о болезнях, о личной жизни, о «современном состоянии» природы и человека...

Несмотря на многие несчастья, Сидур всегда считал себя человеком, которому в жизни чудесно повезло: не погиб на войне, был счастлив в семейной жизни, до последнего дня занимался любимым делом.

Юлия СИДУР

1974

30 марта

Дорогой Карл!

Пока мои дела плохи*. Но как все закончится, предсказать трудно. Во всяком случае, любые доброжелательные упоминания обо мне на Западе помогают и сейчас нужны мне как никогда. Теперь особое значение приобретает издание книги, которой ты занимаешься. Посылаю тебе дополнительные негативы. Посылаю также «Памятник современному состоянию»**, где я испытываю свои силы в необычном для меня жанре.

К сожалению, статья о «Мише Скамейкине»*** прервала мою работу над «Памятником»****, и он разделился на две части. Надеюсь закончить вторую часть летом или осенью. Все будет зависеть от обстоятельств и состояния моего здоровья, которое оставляет желать лучшего.

Когда «Памятник» будет закончен, мне, безусловно, будет интересно, чтобы с ним ознакомились многие. Но пока мне хочется, чтобы о нем знал только узкий круг моих друзей. Очень интересно узнать твое личное мнение.

Я не теряю надежды, что планы об установке в Касселе «Памятника погибшим от насилия» в конце концов приобретут реальность, хотя о моей поездке в ФРГ сейчас не может быть и речи. Как бы не поехать совсем в другую сторону! Реально мне грозит исключение из Союза художников и потеря мастерской, т. к. я не хочу и ни в чем не буду каяться и, конечно, не буду «признавать свои ошибки». Но пока о том, что мне грозит, нигде упоминать не нужно, так как я все же надеюсь, что этого не произойдет.

27 ноября

Дорогой Карл!

Наконец получили возможность тебе написать. Большую передачу «Немецкой волны», переданную три раза, слушало очень много людей в Москве, Ленинграде и Киеве. Многие звонили мне и поздравляли. Нам с Юлей передача очень понравилась. В ней содержалась только одна маленькая ошибка о влиянии современной мексиканской скульптуры на меня. На выставке мексиканского искусства, которая проходила несколько лет назад в Москве, меня поразила опять же не современная, а древняя мексиканская скульптура.

Но эти мелочи не имеют значения. Главное, что «Памятник погибшим от насилия» сооружен и установлен, за что я вас всех уже благодарил и благодарю еще раз.

Очень хотелось бы увидеться и обо всем поговорить, потому что письма, даже самые большие, не могут заменить личного общения.

У меня дела до сих пор неясны. Мое исключение из партии утверждено выше-

* Речь идет об исключении В. С. из КПСС в 1974 г.

** 1-я часть художественно-биографического романа В. С. «Памятник современному состоянию. МИФ»; журнальный вариант опубликован в «Знамени» 1992, №№ 8—9.

*** Майкл Скэмелл, главный отрицательный герой статьи И. Юрченко: «Миша Скамейкин из Лондона» («Советская Россия», 12 января 1974 г.).

**** «Памятник погибшим от насилия» установлен в Касселе 13 октября 1974 г.

стоящими организациями, которые давят на Союз художников с тем, чтобы исключить меня из Союза. Но все эти сведения я имел еще до передачи «Немецкой волны» об установке памятника в Касселе. Так что, как развернутся события дальше, пока сказать не могу.

Меня очень тронуло, что Беккет прислал приветствие.

Очень рад, что ты прочел «Памятник современному состоянию» и мой МИФ тебе понравился. Ты очень хорошо знаком с моими скульптурами, рисунками и живописью, а МИФ служит как бы их продолжением и до какой-то степени объяснением их возникновения.

Сейчас я усиленно тружусь над второй частью. Это занимает почти все мое время, хотя я продолжаю много рисовать и занимаюсь скульптурой.

Продолжаю работать над кино, но с этим делом все несколько сложнее, потому что это зависит не только от меня, но и от других людей...

1975

3 марта

Дорогой Карл!

Я закончил одно из самых важных дел в своей жизни — фильм о проблемах творчества. На мой взгляд, получилось настоящее, серьезное, высокохудожественное произведение и по форме, и по содержанию. Фильм продолжается 105 мин. Надеюсь, что летом он будет у тебя, если ничто нам не помешает. Это фильм о мире художника и о творческом процессе вообще. Фильм немой. Может быть, только в начале и в конце будет немного озвучен. Он называется так же, как и моя книга, — «Памятник современному состоянию».

Фильм художественный, игровой, проблемный, но не коммерческий, а скорее рассчитан на интеллектуалов. И что еще нужно подчеркнуть — это первый в нашей стране «самиздатовский» художественный фильм, то есть не утвержденный свыше. Мы считаем свой фильм не любительским, а профессиональным. Режиссер, он же оператор — профессионал кино, в большой степени мой ученик. Более подробно о фильме напишу тебе, когда ты его получишь.

У меня пока все тихо, и официальных реакций на установку памятника в Касселе нет. Хочу надеяться, что и не будет...

1976

2 июня

Дорогой Карл!

Поздравляю тебя с окончанием твоей докторской диссертации. Мне не совсем понятно: предстоит ли тебе еще защита, или это уже конец и я с полным правом могу называть тебя «г-н профессор»?

Недавно у меня побывал Robert Wilson, директор ускорителя «Батавия» в США. Он сказал, что они уже установили портрет Эйнштейна (в гипсе) на том месте, где он должен находиться. Wilson пообещал, что скоро они отольют его в бронзе. Мы обсудили с ним, какого цвета должна быть скульптура, какой постамент.

Недавно мы с Юлей смотрели по телевизору демонстрацию около моего памятника в Касселе против увольнения одной учительницы за левые убеждения или что-то вроде этого. Очень подробно была показана вся площадь, здания: Фридрих Кассельский, демонстранты, разные интервью около самого моего памятника. Одним словом, все, кроме «Памятника погибшим от насилия», хотя Юля, как на футболе, кричала телевизору: «Давай! Давай!» Ничего не помогло. Ты, конечно, догадался, что делали передачу советские журналисты.

Из приятных новостей есть еще одна: начали устанавливать мою большую абстрактную скульптуру перед Институтом морфологии человека в Москве. Дело, начатое в 1970 году, кажется, близится к завершению. Если оно действительно закончится благополучно, обязательно пришлю тебе фотографию...

1977

17 августа

Дорогой Карлуша!

Я только вчера вечером вернулся с дачи, где хорошо отдохнул. Этот отдых особенно хорош тем, что я привез с собой двадцать новых деревянных скульптур из

цикла «Женское начало». У меня такое чувство, что только я разработался, а уже нужно закругляться. Приближается сентябрь, стало холодно, дачный сезон заканчивается. Хватит отдыхать, пора приниматься за работу, т. е. пора делать то, за что платят деньги? Этой осенью и зимой мне нужно делать абстрактную скульптуру для Института геохимии и памятник академику Фрумкину. Не могу сказать, что эти работы мне неинтересны. Если они осуществляются, то прибавятся еще две очень хорошие установленные скульптуры. Но сейчас все мое существо протестует и жаждет продолжать «Женское начало»... Самая моя большая мечта, чтоб неизвестно, откуда сваливались бы на меня до конца моих дней деньги, достаточные для скромного существования непьющего, соблюдающего диету человека, а я бы, совершенно свободный от материальных забот, творил бы что душе угодно... Гарантирую, что в таких условиях моя производительность была бы в два, а то и в три раза большей, чем сейчас. Но я не должен гневить Бога, т. к. в последние шестнадцать лет я поступал именно так (или почти так), как будто нет у меня забот о хлебе насущном. Но в этом «почти» вся загвоздка!

Я тебе уже писал, что дал интервью Эльфи*. В общем, интервью, на мой взгляд, получилось вполне приличное, но, когда я о нем вспоминаю, меня беспокоит то, что я сказал о Гроб-Арте. Из того, что я сказал, можно заключить, что все и всюду пугают людей смертью, а они не верят и не пугаются, я же своим Гроб-Артом хочу испугать человечество окончательно и бесповоротно. Во всяком случае, мне кажется, что так можно подумать, прослушав то, что я сказал Эльфи. Но дело обстоит совсем не так. Гроб-Арт — это скорее размышления на вечную тему о жизни и смерти, размышления о том, к чему ведет человечество наша железно-атомная цивилизация, разрушившая, кроме всего прочего, представление о мире, вещи и человеке как о чем-то целом, нерушимом и гармоничном. Макромир и микромир разбит, расщеплен на осколки, частицы, прах... Гроб-Арт — это попытка передать средствами искусства вот эти мои размышления и чувства...

О биеннале, Я слышал, что организаторы венецианского биеннале этого года хотят посвятить его диссидентскому искусству стран Восточной Европы. Вполне понятно, что наши официальные органы резко выступают против этого. Мне также несимпатично превращение художественной выставки в политическую демонстрацию. Я уверен, что искусство не может быть диссидентским или недиссидентским. Искусство может быть или искусством, или неискусством. Поэтому, если ты представишь меня там как явление, в искусстве обособленное, самоцельное и не зависящее от внешних давлений, оказываемых на художников с разных сторон и разными способами, то я буду только это приветствовать...

5 декабря

Дорогой Карлуша!

...А теперь мне хочется немного рассказать тебе о той, в общем, не свойственной мне теоретической работе над «Декларацией Гроб-Арта», которая будет состоять из «Аксиом Гроб-Арта» и вытекающих из них принципов Гроб-Арта. Так как все эти аксиомы, принципы и положения разбросаны у меня по многочисленным тетрадям, относящимся не только к последнему времени, но и к периоду написания первой части МИФа, то выудить их оттуда само по себе уже является нелегкой задачей.

ДЕКЛАРАЦИЯ ГРОБ-АРТА

Гроб-Арт — это искусство равновесия страха.

Главные аксиомы Гроб-Арта:

1. Каждый из нас мог не родиться, но умереть должны все.
2. Умрут все, и не воскреснет никто.
3. Каждый имеет право на достойную смерть.
4. Только в Гроб-Арте может быть достигнуто истинное равенство.
5. Гроб-Арт существовал всегда.
6. Гроб-Арт утверждает, что все убаюкивающееся развитие человечеством науки и техники приводит к постепенному исчезновению ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВСТУПАЕТ В БЕЗВРЕМЯ.

Главные принципы Гроб-Арта:

1. Гуманизм (происходит из аксиомы № 3).
2. Высший Божественный демократизм (происходит из аксиомы № 2).
3. Неопровержимость (происходит из второй части аксиомы № 1).

Думаю, что на первый раз достаточно, тем более что деление на аксиомы, положения и принципы в настоящее время нуждается в уточнении. Например, аксио-

* Эльфи Зигль — немецкая журналистка, работавшая в Москве.

ма № 3 — это скорее не аксиома, а положение Гроб-Арта. Надеюсь, что в следующем письме я смогу написать тебе еще кое-что новое по этому поводу.

Сейчас в Москве проходит выставка американского искусства, организованная несколькими музеями США и в первую очередь музеем Метрополитен. Главный хранитель этого музея, он также является комиссаром по делам искусств города Нью-Йорка, посетил мой Подвал. На вид это весьма экстравагантно одетый, хитрый и бесцеремонный господин. Бесцеремонность его, я думаю, происходит из-за того, что он очень четко чувствует зависимость художников от него и от его музея. В итоге, и это не было данью вежливости, он сказал, что ему очень повезло, что он побывал у меня. Он особенно отметил «Слепых» (каменные головы), сказав, что никогда в своей жизни не видел более сильной скульптуры. Очень понравился ему «Пулеметчик», «Отец с сыном» и еще некоторые скульптуры этого периода. А когда он увидел «Памятник погибшим от насилия», то начал пожимать мне руку, хотя не знал, что эта скульптура установлена в Касселе. Он приходил вместе с атташе по делам культуры из американского посольства, очень симпатичной женщиной. Сейчас она уехала на каникулы и хотела заказать у тебя экземпляров двадцать твоей книги, а хранитель музея Метрополитен также выразил желание иметь экземпляр. Я думаю, что ему книгу pošлет Мерилин Джонсон, атташе по культуре...

1978

16 апреля

Дорогой Карл!

Насчет твоих бесед в Национальной галерее. Не огорчайся, что они сразу не прониклись «идеей Сидура». При всем желании они не могут понять, что в настоящее время Сидур как скульптор уникален в многомиллионном Советском Союзе, что он представляет совершенно своеобразное явление в советском искусстве, которое западному искусствоведу и наблюдателю очень и очень трудно понять. Он является членом Союза художников и в то же время продвинулся в своей работе намного дальше всех нонконформистов и бунтарей, вместе взятых, о чем я могу судить по каталогам тех нонконформистских выставок, которые я видел. Само его существование в советском искусстве нарушает привычные концепции западных искусствоведов о полной несвободе этого искусства. В то же время его творческая работа и то, что он до сих пор остается членом Союза художников, происходит только оттого, что он, свободно творя у себя в Подвале, не требует показа своих произведений. Это как бы негласный компромисс с властями. Они его не трогают до тех пор, пока он от них ничего не требует. Правда, такое шаткое равновесие в любой момент может нарушиться, если власти обратят внимание на твою книгу, если они начнут исключать из Союза художников и начнут отнимать мастерскую. Вот тогда западная пресса тотчас же обратит на него внимание и будет заниматься его персоной весьма усиленно. Но его как человека, прежде всего любящего свою работу, а не шум по ее поводу, больше всего устраивает ныне существующее положение...

29 августа

Дорогой Карл!

Вторая новость, которую Дорис* нам рассказала, тоже почти выходит за границы жизненной правды: наше Министерствo культуры ответило на приглашение посольства ФРГ по поводу моего посещения Германии совместно с шестью другими художниками. Если ты помнишь, г-н Вик** уже несколько месяцев назад, беседуя с нашим министром культуры Демичевым, сказал ему, что правительство ФРГ приглашает «известного и в своей стране, и в Германии скульптора Сидура с супругой». На это Демичев ответил, что мы предпочитаем посылать за границу художников по своему выбору. Г-н Вик сказал, что это приглашение правительства ФРГ, которое приглашает конкретного художника. После этого посольство ФРГ сделало «хитрый» ход, пригласив письменно скульптора Сидура с женой и шестерых других художников по выбору Министерства культуры. Теперь посольство получило ответ от Министерства культуры после многочисленных напоминаний, в котором говорится, что по приглашению могут поехать семь человек, в том числе и я. Делегация получилась весьма представительная, фамилии тебе ничего не скажут, но это все очень большие начальники от искусства, признанные народными и заслуженными, и я среди них. Честно признаюсь, что, узнав об этом, я почувствовал себя ужасно сиротли-

* Доктор Дорис Шенк — советник по культуре посольства ФРГ в Москве.

** Господин Вик — посол ФРГ в Москве.

во и неуютно. Тем более что о Юле в ответе Министерства культуры не сказано ни слова, а без нее я никуда не могу ехать и ни за что не соглашусь. Но не думаю, что наши официальные инстанции согласятся на нашу совместную с Юлей поездку, тем более что все остальные едут без жен. Боюсь, что начальство не поймет меня в этом вопросе, т. к. предполагается, что я должен умереть от радости из-за того, что меня вообще пускают. Во всяком случае, я обязательно буду настаивать на Юлиной поездке. То, что я не хочу ехать без Юли,— это не блажь и не каприз, а абсолютная необходимость в связи с моим далеко не железным здоровьем.

15 сентября

Дорогой Карл!

Меня очень тронуло письмо, которое тебе написал Генри Мур. Конечно, приятно, очень приятно, что книга обо мне ему показала интересной. Но главное, что этот восьмидесятилетний патриарх скульптуры ответил тотчас же, чему нам не мешает у него поучиться...

15 ноября

Дорогой Карл!

7 ноября в моем Подвале произошла трагедия. Прорвало трубу, по которой вода поступает к пожарному крану, расположенному около входа, и залило мастерскую по колено. Сейчас я еще не могу работать в мастерской из-за страшной сырости...

На этот раз, слава Богу, ни скульптуры, ни рисунки серьезно не пострадали. Испорчены архивные материалы (дубликат тех, которые имеются у меня дома), магнитофон, пишущая машинка, кинопроектор и многое другое, но все это незначительно по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы... В прошлый раз, когда прорвало трубу, по которой шла горячая вода, погибло до пятидесяти хороших рисунков, совершенно уникальных, начала 60-х годов...

15 декабря

Дорогой Карлуша!

Я обещал тебе более подробно написать о посещении Подвала владельцем «Шпигеля» г-ном Аугштайном и его «командой». Но, когда дошло до дела, я понял, что никаких особых подробностей, собственно, и нет. Просто в Подвал пришел невысокого роста человек со странным косящим взглядом, сразу же было видно, что он хозяин. А его «команда», два главных редактора и новый корреспондент «Шпигеля» в Москве, тоже очень четко чувствовали, что вместе с ними пришел их хозяин. Они сразу же замолкали, когда хозяин начинал говорить, и очень громко смеялись, когда им казалось, что это будет приятно хозяину. Короче говоря, хотя они осмотрели Подвал очень внимательно (особенно их интересовали задние комнаты, куда я обычно гостей не пускаю), а потом довольно долго сидели за столом в маленькой комнате, не получилось той сердечной и высокоинтеллектуальной атмосферы, когда мой Подвал посещали другие «хозяева», такие, как покойный Йорген Понто, как фон Зелль, швейцарский министр Пауль Йоссель и даже наша маленькая «акула империализма» Виола Хальман*.

1979

3 января

Дорогой Карлуша!

...В Москве стоят невиданные даже для России морозы. В отдельных районах Москвы температура опускалась до минус сорока пяти...

То, что в декабре в ФРГ побывала делегация художников без нас с Юлей, нас не удивило. Удивило скорее другое — немецкая сторона сообщила нам, что если нас не пустят, то, дескать, никто не поедет. Но культурные связи между нашими странами, видимо, важнее, чем такие мелочи. Во всяком случае, обо всей этой истории мы знаем только из устных рассказов работников посольства ФРГ. До сих пор мы не имеем даже копии официального приглашения от посольства. Я уж не говорю о том, что наша сторона даже не известила меня, когда включила в список и когда исключила из списка. Так что все сделалось без нашего ведома. Я думаю, что на этой истории нужно поставить точку и больше (до лучших времен) об этом не хлопотать...

* Виола Хальман — женщина-предприниматель, глава сталепрокатной фирмы «Тайс» в городе Хаген (ФРГ). Скульптура В. С. «Женщина и сталь» установлена около административного здания фирмы в 1978 г.

11 января

Милые друзья!

Выставку в Offenburg'e мы начали подробно и усиленно подготавливать. Я уже составил материалы для прессы, скоро напишу введение в каталог, выберу экспонаты и т. д. и т. п.

В университете составляют теперь книжку об искусстве. Я договорился с Зундом, что «Памятник современному состоянию» получит в ней одну отдельную страницу.

С нетерпением ждем репортаж Шмидт-Хойера в Zeit-Magazin. Я ему написал, что он может писать относительно «Треблинки», что городское управление в Шарлоттенбурге (Берлин) надеется воздвигнуть этот памятник перед судом в Шарлоттенбурге...

19 февраля

Дорогой Карлуша!

...Этой ночью Миша отвез свою жену Надю в родильный дом...

...Только что нам позвонили из родильного дома и сообщили, что у Миши родился сын... Можешь нас поздравить — мы с Юлей превратились в дедушку и бабушку...

11 мая

Дорогой Дима, милая Юлия!

Наше общее огромное событие осуществится, по-видимому, еще в августе этого года: «Треблинка»! После иногда бесконечных телефонных оргий между Констанцем, Бохумом, Берлином, Кельном, Sinn'ом и Вайнфельденом... после самых интенсивных контактов самых разных людей на последней неделе все ясно и решено: скульптор Paffrat, который живет (как немец) в Швейцарии и который уже с первой выставки в Констанце восхищен скульптурами Сидура, предложил увеличить «Треблинку» за сравнительно низкую цену (3000 DM; другой скульптор, в Берлине, требовал 10 000).

Хотя я в конечном счете не совсем доволен и не все достиг, что хотел, мне кажется, что все-таки решение довольно хорошее, тем более что все, кто до сих пор был занят всеми этими вопросами, хотят связывать воздвижение скульптуры с огромной рекламой. Говорят, что это будет и для Берлина очень большое событие.

Включен во все денежные вопросы был и фон Зелль*, с которым я в постоянном телефонном контакте...

29 мая

Дорогой Карлуша!

...Наша страна переживает сейчас интереснейший момент своей истории: разрешенную эмиграцию. Такого за годы советской власти еще не бывало, а моему поколению казалось, что и быть не может и никогда не будет. Десятилетиями люди, боявшиеся признаться даже близким знакомым, что у них есть родственники за границей, теперь не только открыто переписываются с этими родственниками, но и воссоединяются с ними. Но движение пока разрешено только в одну сторону, а это означает для тех, кто покидает страну, разлуку НАВСЕГДА. Такая ситуация порождает множество трагедий — разрушаются семьи... Насколько я знаю, западная пресса и радио освещают только незначительную часть горя, я бы сказал, официальную сторону трагической ситуации, связанную с так называемым «воссоединением семей», никогда не упоминая о кошмаре, связанном с разрушением семей...

И у «бытовиков», так я буду называть тех, кто ищет материального благополучия, и у «духовников», тех, кто жаждет духовной свободы, впервые в их жизни появилось искушение — соблазн свободы выбора, что, как это ни парадоксально, совершенно закрепило и сделало абсолютно несвободными массу людей обеих категорий, начисто лишив их радости жизни. Лично я знаю множество инженеров, врачей, писателей, которые уже не могут жить и работать с прежним удовольствием, не защищая диссертаций, не пишут новых произведений, а дено и ночью мучительно решают вопрос: **ехать** или **не ехать**. Об этом я писал еще в первой части **МИФа**. И среди «бытовиков», и среди «духовников» значительную часть, возможно, даже большинство, составляют неудачники или люди, лишенные способности трезво оценить себя и степень собственной талантливости. Эти люди считают, что они не могут «пробиться» или из-за того, что они евреи, или из-за советской власти. Они

*Фон Зелль — глава WDR, третьего телевизионного канала ФРГ.

не могут понять, что именно наша система чем-то идеальна для человека с небольшими способностями, не желающего много работать... Поэтому преуспели больше других на Западе те, кто уже имел имя и был хорошо устроен у себя на родине. Конечно, не бывает правил без исключения.

Другой очень важной проблемой является **культура**. Создают ли эмигранты и оставшиеся в метрополии единую культуру, являются ли они двумя ветвями единой культуры, или же постепенно эмигрантская культура превратится во что-то непонятное, существующее между русской культурой и западной, пока еще сказать трудно. Опыт прошлых эмиграций, и не только русской, говорит о том, что только единицы, самые могучие и талантливые, не теряли связей с основной **культурой** и становились ее неотъемлемой частью. У русских — это Набоков, и то только потому, что противопоставил себя эмиграции и стал частью Запада. Писал о том, что знал и переживал, то есть о себе среди эмигрантов. Или Бунин, писавший о том, что он помнил о России. Сейчас же, хотя «третья волна» еще очень молода, она на редкость быстро, как мне кажется, теряет реальное чувство действительности в смысле понимания того, что происходит на родине, довольно нахально претендуя на то, что все лучшее и талантливое уехало или уезжает, реально не подкрепляя этих претензий и амбиций. Третья волна претендует на то, что только она представляет собой настоящую русскую и советскую культуру, стремясь в то же время искусственно создать впечатление единства, устраивая выставки типа «Париж—Москва» или одновременную распродажу купленных концептуалистами душ в Нью-Йорке и в Москве. Честно говоря, из Москвы это выгладит довольно опереточно, смешно и одновременно жалко. В то же время желание эмигрантов быть главными приводит к тому, что они обиделись, как мне об этом сказал Андрей Битов (мне кажется, я тебе об этом уже писал), на выход в Москве самиздатского альманаха «Метрополь», так как это не соответствовало их концепции, что все наиболее талантливые и смелые уже отбыли из нашей страны. Я зарегистрировал еще одно интересное явление — чувство недовольства и даже враждебности по отношению к уехавшим довольно сильно возросло у тех, кто остался и не думает уезжать. Это происходит, как мне кажется, в основном из-за того, что уехавшие жаждут, чтобы в покинутой ими стране становилось все хуже и хуже. Оставшиеся по понятным причинам желают обратного. Таким образом, та оппозиционная по отношению к власти часть общества, которая шесть лет назад казалась единой и сплоченной, разделилась теперь на множество групп и группировок, зачастую не просто враждебных друг другу, а находящихся в «антагонистических противоречиях». Вражда между эмигрантами и оставшимися, вражда внутри эмигрантов, внутри оставшихся, причем русские не умеют враждовать теоретически, как это бывает между несогласными на Западе, где уважают мнение противника, выслушивают его, возражают и т. д. Русские враждуют страстно, слепо, не на жизнь, а на смерть.

Многое о том, что я пишу, тебе, вероятно, известно даже лучше, чем мне. Во всяком случае, в той части, которая касается уехавших. Например, борьба Коржавина и покойного Галича с модернизмом, отзыв Эткинда на твою книгу и многое, о чем я, вероятно, даже не знаю. По тем же отрывочным сведениям, которые до меня доходят, мне лично наиболее близка позиция Синявского, который сказал, что «я скорее предпочитаю сидеть в большевистской тюрьме, чем в православной». В то же время книга Синявского «Прогулки с Пушкиным» вызвала практически единогласное осуждение и ненависть у культурной общности Москвы. Реплики, особенно в группе, окружающей Биргера, подобные: «прогулки хама с Пушкиным», «что бы Синявский в дальнейшем ни сделал хорошего, я никогда не прощу ему Пушкина», — можно считать самыми мягкими. Честно сказать, я был заинтригован невероятно. И вот, наконец, неделю назад «Прогулки с Пушкиным» попали мне в руки, и я часа за три, вздохнув, чего со мной давно уже не случалось, прочел книгу Синявского. Даже Юле вслух начал читать, но вынужден был прерваться на 167-й странице, разрыдавшись от слов: «Фигура Пушкина так и осталась в нашем сознании — с пистолетом. Маленький Пушкин с большим-большим пистолетом». Несмотря на то, что в книге много спорного, мне сделалась совершенно непонятной ненависть ревнителей чести Пушкина к Синявскому, книга которого — блистательный гимн **поэту**. Мне книга особенно близка своим утверждением самоцельности искусства. По слухам, столь же сильную ненависть, как у оставшихся, «Прогулки с Пушкиным» вызвали и у покинувших родину. То, что Синявский смог опубликовать свои «Прогулки с Пушкиным» (книгу, написанную уже давно, еще на родине), является доказательством полезности свободной от метрополии эмигрантской прессы. В отношении свободы прессы, на мой взгляд, двух мнений быть не может, хотя некоторые, например, Солженицын,

выражают по этому поводу большие сомнения, используя, однако, свободу западной прессы целиком и полностью для себя...

3 июня

Дорогой Карлуша!

Главная новость у меня — это получение через посольство ФРГ официального письма из Берлина от г-на Кертинга (мне не совсем понятна его должность) о том, что «Треблинка» находится уже в производстве, что ее размер около 180 см, что отлита она будет из тонированного алюминия, причем предприятие, которое выполняет эту работу, гарантирует, что поверхность скульптуры не будет изменяться. Самая главная эмоция, вызванная письмом г-на Кертинга, — это огромная радость от того, что «Треблинка» в Берлине — это уже почти реальность. Следующие эмоции — это некоторое разочарование и сожаление по поводу размеров и материала, так как мы с тобой представляли эту скульптуру размером около трех метров, отлитую в бронзе. Но я очень быстро решил, что грех о чем-то сожалеть, когда проект, поначалу казавшийся совершенно фантастическим, близится к реальному завершению.

Вторая новость, которая, конечно, не может идти ни в какое сравнение с первой, — это выход в Москве в этом году в издательстве «Советский художник» книги В. В. Ермонской «Советская мемориальная скульптура», где помещены две полосные фотографии (иллюстрации №№ 92 и 93) памятника академику Варге и памятника Илье Звереву и очень хороший текст обо мне на стр. 153. Практически это первое серьезное упоминание обо мне в советской прессе как о скульпторе с тех пор, как я начал работать один. Эту книгу совершенно случайно обнаружила бывшая жена Ильи Зверева и приобрела для меня четыре экземпляра, из которых один будешь иметь ты. И сможешь познакомиться с тем, что происходило в этой области скульптуры в Москве и Ленинграде начиная с 20-х годов.

То, что в книге о советской мемориальной скульптуре помещены фотографии моих работ и хороший текст обо мне, тем более поразительно, что пять лет назад, в период самых больших моих неприятностей, автор книги позвонила мне по телефону и требовала, чтобы я покаяться и боролся за свое восстановление в партии. «Поймите, — говорила она мне, — вы талантливый человек! Вы даже сами не подозреваете, какой вы талантливый. В своей книге я посвятила вам почти целую главу. Моя главная концепция развития советского надгробия строится на ваших памятниках... Ваше исключение из партии уже утверждено горкомом, следовательно, если вы ничего не предпримете для того, чтобы восстановиться, мне никогда не разрешат упомянуть ваше имя, мне придется изъять из книги целую главу и моя книга будет безнадежно испорчена»...

В конце нашего длинного разговора я сказал этой почтенной женщине:

«Я очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Ни каяться, ни просить о восстановлении меня в партии я не буду, так что советую вам исключить упоминание обо мне в своей книге и строить ваши теории о развитии мемориальной скульптуры, основываясь на каком-нибудь другом скульпторе».

На этом мы расстались, и больше наши пути до последних дней не пересекались. Мне даже кажется сейчас, Карлуша, что я в свое время уже рассказывал тебе эту историю... Я полагаю, что пять лет назад старушка Ермонская действительно выбросила из своей книги все, что меня касалось, но т. к. процесс издания книги у нас гораздо более медленный, чем у вас, то по прошествии нескольких лет она рискнула все же кое-что про меня вставить. И, как видишь, прошло! Это, как мне кажется, свидетельствует о том, что времена до какой-то степени изменились...

18 сентября

Дорогие Дима и Юлия!

Прошло большое, долгожданное событие — установка «Треблинки». Атмосфера была не праздничная, но скромная, сдержанная, как будто все исполняли какой-то долг (долг совести, долг обязанности — у каждого по-своему). Люди понимающие очень ценили скульптуру за ее формальные и (или) выразительные качества. Посторонние люди из города, например, три женщины (лет 50-ти) ругали городское управление за то, что опять поставили памятник, а не высадили деревья... Сказали, что выглядит, как большой слон... Такие выражения имеют уже традиционный характер, потому что все берлинские памятники во все времена получали такие названия... Берлинцы славятся этими наименованиями!

Утром об установке сообщили по радио. Вечером скульптуру показало местное телевидение и процитировало две строчки из Диминого письма...

1980

4 февраля

Дорогой Карлуша!

За эти дни обстановка в нашей стране, и, возможно, не только в столице, стала еще суровее, чем это было несколько дней назад. Все это можно сравнить с тем периодом в 1974 году, когда писал свои статьи «И. Юрченко»*. Надеюсь, что на этот раз до меня очередь не дойдет, но это, видимо, зависит от того, как пойдут дела вообще. Номером один был Сахаров. Вчера во всю мощь обрушились на Копелева, который, очевидно, идет вторым номером. Наверное, не так долго осталось ждать, когда мы узнаем, кто будет третьим, четвертым и т. д..

28 февраля

Дорогой Карлуша!

Ты совершенно прав, во многом наше беспокойство связано с очень тяжелым, неустойчивым, совершенно неясным положением дел в нашей стране и вообще в мире. Но мы, как и ты, «страшные оптимисты» и надеемся на лучшее.

Знаешь ли ты, что Лев Толстой говорил о критиках и искусствоведах: это когда глупые судят умных. До какой-то степени он, видимо, был прав, но я с ним не совсем согласен. Бывают и умные искусствоведы-профессионалы, значение которых нельзя недооценивать... Мне кажется, что я тебе уже писал когда-то о том, в чем я совершенно уверен: искусство не развивается во времени и не изменяется от худшего к лучшему, во все времена оно может быть только искусством или неискусством, хотя разобраться, что истина, а что нет, современникам иногда невероятно трудно, особенно в те эпохи, когда теряются критерии. Мне кажется, что сейчас мы переживаем именно такое время. Я понимаю, что искусствоведов может раздражать мое многообразие, но многообразен тот, кто много видит. Их может также отвращать и отталкивать то, что я тыкаю их носом в те ситуации нашей жизни, о которых им хочется забыть, и делаю это в той форме, которая стоит, я бы сказал, на грани искусства. Но, по моему глубокому убеждению, искусство всегда стоит на грани. Так как почти все художники или сами причисляют себя, или искусствоведы их присоединяют к группам и направлениям, имеющим четкие названия, то в моем случае искусствоведам весьма неприятно то, что они не могут найти мне определенного места ни среди русских, ни среди западных направлений. Хотя по всем признакам, как я считаю, и ты, надеюсь, со мной согласишься, меня необходимо поставить в ряд классиков, возможно, завершающим этот ряд, таких, как Мур, Джакметти, Липшиц и другие. Я думаю, что ты не упрекнешь меня в том, что я недостаточно скромн, но я даже думаю, что по количеству идей и изобретательности я, может быть, даже и превосхожу кое-кого, хотя это так же может быть поставлено мне в упрек. Кроме этого, многие западные искусствоведы хотели бы видеть во мне, как и во многих других русских моего поколения, продолжателя советского искусства 20-х годов. Тогда все было бы очень стройно, все находило бы свое развитие и продолжение, все укладывалось бы в нужные рамки. Но чего нет, того нет! Об этом я также немного сказал в своем последнем интервью. Я понимаю, что мне не нужно убеждать тебя, и пишу все это только потому, что, как ты правильно заметил, наши оппоненты никогда не выдвигают никаких четких, конкретных, убедительных аргументов, с которыми мы могли бы полемизировать. Я убежден, что тут, как это ни печально, есть еще одна причина — это нежелание допустить чужака в свой клан, тем более что количество денег, которое общество тратит на искусство, всегда ограничено и если купят у одного, то, таким образом, не купят у другого. А мое убеждение в том, что я классик, их, безусловно, должно возмутить своей наглостью и вызвать большую злобу, т. к. приобщиться к списку классиков даже труднее, чем быть причисленным к лику святых, и сделать это, к сожалению, можно только с их согласия и одобрения. Но нам повезло в том смысле, что общество не столь монолитно и едино в своих взглядах, как этого хотелось бы правительствам и некоторым искусствоведам. Нам только остается работать и этим доказывать свою правоту, ибо, к счастью или несчастью, слова в изобразительном искусстве — только шелуха на его плоти и все решает время: отбирает, сортирует, ставит на свои места. Хотя опять же даже время не всегда справедливо. Короче говоря, надо работать, как говорится, не за страх, а за совесть, то есть только для себя, и только тогда это будет для других.

Дорогой Карлуша, мы с Юлей были очень тронуты тем, что ты готов содержать нас, когда наступят в нашей жизни трудные времена. Но ты забыл, что нас не двое,

* И. Юрченко — автор статьи «Миша Скамейкин из Лондона» в «Советской России» (12 января 1974 г.).

а намного больше. Так что даже твоя «могучая» профессорская зарплата не в состоянии будет выдержать такой нагрузки. Тем не менее мы ужасно тебе благодарны...

28 апреля

Дорогой Карлуша!

...Утром мы были на просмотре пьесы «Дом на набережной», вернее, инсценировки романа того же названия Юрия Трифонова в Театре на Таганке. Нам кажется, что Любимов сделал один из лучших своих спектаклей, хотя понять это может даже не каждый русский, а только люди старшего поколения советской интеллигенции, к которым я отношу и себя. Возможно, молодым будет неинтересно, а уже тем, кто не читал романа, и старым, и молодым не будет понятно, что происходит на сцене, где огромное значение имеют намеки и полунамеки. Во всяком случае, Фриц Плайтген не смог как следует оценить этот спектакль, хотя и побывал на нем.

6 октября

Дорогие Дима и Юлия!

Я только что возвратился из Гармиша, где я встретился со многими людьми, которые имеют кое-какое влияние в области искусства, которым я рассказывал про Сидура, дарил гамбургский и берлинский каталоги, объяснял по фотографиям то, что мне кажется важным в скульптурах и т. д. На самой выставке стоял «Эйнштейн» и висели 4 вещи из «Олимпийских игр» (гравюры); больше не удалось поместить. Приехал и Raffrat, чтобы починить «Греблинка», но не удалось, потому что для отливки ее разрезали даже на довольно маленькие части. В последнее время уже перебросили все части к Raffrat'у в Швейцарию. Он там будет комбинировать все отдельные части. Сам «Эйнштейн» стоял на выставке очень здорово: при самом входе, каждый его видел уже издалека и должен был обязательно пройти мимо него...

Был большой спрос на каталоги, а с книжной выставки украли через несколько часов мою книгу о Сидуре!..

13 октября

Дорогие Дима и Юлия!

...В августе прошлого года мы говорили о ваших старых дневниках. Юлия сказала, что там имеется очень много «брёда» и поэтому неловко отдать их мне. Я это очень понимаю, потому что это нормально. Кроме того, я очень уважаю и уважаю вашу сдержанность, потому что дневники не только интимные вещи и могут быть прочитаны ложно. Но, как бы то ни было, я прошу вас еще раз подумать о том, нельзя ли достать, если не полностью, то выдержки из них. Я знаю, что эта просьба довольно наглая, но я ни у кого не попросил бы дневник, кроме вас. Может быть, эта наглость оттого, что я себя уже настолько идентифицирую с вами, что мне легко просить то, что я у других никогда не попросил бы...

16 ноября

Дорогие Дима и Юлия!

В Саарбрюкене галерейщик Вайнанд обратился к городскому управлению с просьбой установки скульптуры. Там дело сложнее, потому что городское управление должно по возможности привлекать особенно местных художников, чтобы таким образом их поддерживать. У нас это обычно так. Но все-таки надеемся... (как и в других случаях до сих пор).

На днях мы были в ратуше города Бохума на дискуссии о пользе, красоте и т. д. искусства. Вдруг встал человек (по наружности священник) и рекомендовал искусство, т. е. скульптуры, в духе некоего московского художника, произведения которого он видел недавно во дворце Шарлоттенбург в Берлине!.. Но в качестве развлечения я только что достал (представьте, как подарок!) большой специальный железный шкаф для части хотя бы вашего все растущего архива!..

8 декабря

Дорогой Карлуша!

Ты совершенно прав в том, что пишешь о новых идеях. Лично я чувствую себя очень неудобно, когда таковые не рождаются во мне довольно длительное время, хотя у меня в запасе есть очень большое количество новых идей, возникших уже давно, но еще не осуществленных. Сейчас после возвращения из Алабина я очень доволен тем, что снова придумал кое-что новенькое. Но очень важно, чтобы любые новые идеи не выпадали из того, что является настоящим искусством. Как и в любом деле, в науке и в технике, наряду с плодотворными идеями есть масса шлака, мусо-

ра, которые погребают настоящее и стоящее, так что подчас это настоящее так и погибает, не осуществившись. И в искусстве столько крикливых пустых новаторов, которые подчас так поддерживаются современными средствами массовой информации и рекламой, что истине пробиться сквозь этот шум почти невозможно. Тем более что истина, особенно в искусстве, неоднозначна, как и новаторство. Таким образом, «неопределенность», понятие, введенное в современную физику, совершенно необходима и для искусствознания...

14 декабря

Милые Юлия и Дима!

Постараюсь быстро ответить на ваше последнее письмо от 8 декабря. Извините чисто деловой характер письма, но мы пробьли только что 2 дня в Амстердаме, чтобы бороться за освобождение Вацлава Навел'а, который в тюрьме в Чехословакии. И поэтому я должен был отложить срочные университетские дела...

20 декабря

Дорогой Карлуша!

Ты не должен иметь никаких иллюзий по поводу посещения Сусловой моей мастерской. Единственно, что может быть результатом этого визита, — публикация двух-трех фотографий и небольшой статейки в журнале «Советское фото», главным редактором которого и является Сулова. И то это весьма проблематично и может состояться не ранее, чем через полгода.

18 декабря новый посол, г-н Майер-Ландрут, вместе с Грюнделем посетили Демичева. После длительной беседы посол передал Демичеву приглашение ректора Зунда из Констанца, которое подоспело очень вовремя, за день до визита. Демичев отнесся к приглашению положительно и сказал: «А почему бы не пустить Сидура по этому приглашению?» Но его сотрудники начали протестовать, спорить между собой и даже утверждать, что я не являюсь членом Союза художников. На что г-н посол и г-н Грюндель очень твердо ответили, что Сидур — член Союза художников. Все остальные копии приглашения Зунда отправлены по адресам...

1981

2 февраля

Дорогой Карлуша!

Это письмо мы практически написали в Алабине, а сейчас перепечатаваем на машинке и вносим кое-какие дополнения. В Алабине мы с Юлей создали сами себе что-то вроде рая. Вернее, даже не рай, а «покой», очень похожий на тот, который дан был Мастеру и Маргарите после их смерти. Представь себе наш маленький домик, засыпанный снегом, почти абсолютная тишина, никакого общения с людьми. В доме тепло, слушаем музыку, а за окном, когда проснешься и отодвинешь шторы, двенадцать синиц, два поползня, сорока, сойка, две белки с огромной энергией поедают то, что мы заготовили для них вечером. Начинают они свою работу с рассвета и кончают с наступлением темноты. Нас почти не боится. А кроме снабжения кормом наших многочисленных птиц и зверей, к нам приходят еще несколько котов и собак. А кошка, которую ты знаешь по фотографии, живет у нас, почти не выходя из дому все время со дня приезда до дня отъезда. Мы расчищаем дорожки в глубоком снегу, выпавшем за ночь, гуляем, делаем скульптуру, читаем и слушаем радио, которое за городом глушат не так зверски, как в Москве. Короче говоря, полное блаженство. Если бы все время не побаливало сердце и не общее ощущение того, что я довольно сильно сдал в последнее время, а возможно, мне все это кажется и все дело просто в погоде, которая крайне неустойчива и необычна и с каждым годом делается все неустойчивее и необычней. Да и молодая сорокалетняя Юлия тоже к моему огромному огорчению стала сдавать. И у нее побаливает сердце, и уже не может она, как бывало раньше, тащить полный рюкзак на спине да еще волочить за собой сумку на колесиках, хотя все-таки тащит, скрипит, но тащит. Да и я тащу, так как деваться нам некуда. Тащу поменьше Юли, но все же такую же сумку на колесиках. И туда тащим и обратно тащим. Откуда что берется для таскания, непонятно. Тем более что Миша, который навещает нас в Алабине, тоже на себе что-нибудь всегда притаскивает. Но, в общем, мы не ропщем и были бы совсем довольны, если бы за время нашего отсутствия в мастерской не произошел очередной грандиозный потоп...

Из Алабина я привез четыре деревянных модели. Три из них — «Девушка из дискотеки», «Девушка из студенческого хора» и «Девушка из церковного хора» — вместе с двумя предыдущими, о которых я тебе уже писал, «Девушкой из консерва-

тории» и «Дианой» («Девушкой из мифа»), превратились в цикл из пяти скульптур. Хотя некоторые из них одновременно входят и в другие циклы...

Я написал тебе, что в Алабине мы много слушали радио. Не говоря уж о лишении гражданства Аксенова и Копелева, чего следовало ожидать, нас преследовало ужасное, безрадостное ощущение почти полного возврата к холодной войне...

9 февраля

Дорогой Карлуша!

На этой неделе хочу пойти в Министерство культуры поговорить насчет «Пророков». Об этом своем замысле я тебе уже писал в прошлом письме. Я хочу спросить теперь о том, могу ли я подарить тебе эти скульптуры или в крайнем случае продать. Скорее всего из всей этой затеи ничего не получится, но попытаться стоит. Надеюсь, что хуже не будет.

Г-н Грюндель передал мне письмо от канцлера (подлинник), которое меня очень обрадовало. Ты, очевидно, имеешь уже копию этого письма, а если нет, то я тебе вышлю. Даже если проект об увеличении «Семьи» и ее установки в резиденции не увенчается успехом, письмо канцлера будет для меня некоторым утешением. Г-н Грюндель сказал мне, что вскоре после посещения Демичева новым послом из нашего Министерства культуры СССР позвонили в посольство (но не написали) и сказали, что моя поездка в ФРГ (в ответ на приглашение Констанцкого университета) не представляет для нашей страны ни общественного, ни государственного интереса, поэтому я должен с присланным мне приглашением идти в ОВИР и оформляться на общих основаниях. У г-на Грюнделя возникло ощущение, что если я буду оформляться через ОВИР, то мне разрешение дадут, но что в такой поездке будет очень большой риск, судя по тому, что произошло с Копелевым и Аксеновым. В моем же случае все было бы еще трагичнее, т. к. все мои произведения остались бы в Москве в Подвале, куда, возможно, не пустили бы потом даже Мишу. Так что мы с Юлей решили пока в этом отношении ничего не предпринимать, а заняться, как я тебе уже писал, «Пророками» и решением судьбы «Семьи». Конечно, я мог бы написать Демичеву письмо и доказывать в нем общественное и государственное значение своей поездки в ФРГ, ссылаясь на «Эйнштейна», находящегося в Фермилаб, на публикацию в журнале «Америка» и «Совет Лайф» об этом, на письма с благодарностью по этому поводу из Академии наук СССР и Фермилаб, на «Треблинку» и статью в коммунистическом журнале Западного Берлина. И хотя, возможно, это привело бы к успеху, но это значило бы, что я нарушил свой принцип, — ничего у начальства не просить, и не требовать, и не доказывать, что я не верблюд. Я уверен, что ТАМ сердиты на меня именно за то, что я у них ничего не прошу и сам не вступаю в контакты с ними...

20 марта

Дорогие Дима и Юлия!

То, что вы называете «суета сует», имело место у нас с середины января до вчерашнего дня, т. е. до открытия выставки в Wetzlar'e. Причем сама выставка, как и ее вернисаж, были при всей остальной суете самые приятные события последнего времени. Присутствовало довольно много людей. Народ в Wetzlar'e, хотя, на мой взгляд, где-то провинциальный, с большим интересом следил за моим докладом и после него задавал много вопросов... Посетители выставки все время спрашивали, как вообще удалось маленькому городу Wetzlar получить такую знаменитую выставку. Присутствовал Werner Brach и его друг Swen Lummerich — оба художники-скульпторы, которые очень внимательно рассматривали все скульптуры и больше других (даже с некоторым профессиональным основанием) «ахали» и очень хвалили идеи и формальные решения скульптур. С ними мы (после выставки) еще просидели часа четыре, и они выжимали меня, как лимон, чтобы все, что возможно, узнать о жизни Сидура. Уже это было большое событие, особенно, конечно, если видишь, как поклонники Сидура приехали («пришли») как паломники, чтобы смотреть на вещи большого мастера! Интересно было, что имела место цензура, после того как мы повесили все экспонаты. Вынули те четыре гравюры из «Олимпийских игр», которые я выбирал (они были наименее ужасные), чтобы дать хотя бы какое-то представление об этом цикле. (Из «Мутаций» 1969 года я сам уже ничего не осмелился показать, потому что они были бы слишком сильно провокативны для местного населения.) Кроме того, убрали «Фаллос», хотя я уверен, что не все посетители поняли бы, в чем тут дело. Некоторым посетителям я со своей стороны показал те вещи, которые содержали цензуру, и они мне подтвердили, что ими не совсем понятно, почему «Треблінка» менее ужасна, чем эти «подцензурные» изображения. Кроме уже названных вещей, они убрали еще три рисунка, которые являются в на-

шей книге последними, и № 153, которую мне хотелось показать в большой фотографии («Снятие с креста», 1968). По-видимому, «Фаллос» мешал «общему вкусу!» Странно! Но все это мелочи и никаким образом не является искажением общего представления о «мире художника». С такой цензурой можно жить...

20 апреля

Дорогой Карлуша!

Наконец у нас появилась возможность написать и отправить тебе письмо.

Около месяца назад совершенно неожиданно советник по культуре австрийского посольства г-н Марте привел ко мне директора Венского музея современного искусства и довольно известного скульптора Альфреда Хрдличку и сопровождавших их лиц, включая их жен и официальную переводчицу. Они находились в Москве с официальным визитом для того, чтобы отобрать скульптуры на открывающуюся в мае в Вене всеевропейскую выставку «Антропос». Пришли они уже довольно крепко выпившие, а у нас совсем накачались, поэтому я ко всем их заявлениям относился не очень серьезно. В первую очередь они хотели «Железную леди» и «Гробы», но когда поняли, что вещи слишком велики, то остановились на головах «Слепых», «Пулеметчике», «Автоматчике», новом «Поцелуе», «Конструкторе для взрослых» и еще на одной скульптуре, которую я сейчас позабыл. Начался пустой разговор о том, что я должен все это упаковать в ящик и отправить в Вену, что это очень просто и недорого, что они даже готовы купить. Кончилось тем, что я дал им твой адрес и просил в случае их серьезных намерений обратиться к тебе и получить все от тебя. Но я почти уверен, что они к тебе так и не обратились. Им хотелось все получить от меня и оставить себе, но нам это не подходит. До поздней ночи продолжался длинный пьяный разговор-спор об искусстве, чрезвычайно напоминающий наши московские разговоры или споры моих студенческих лет. Во всяком случае, давненько мне не приходилось участвовать ни в чем подобном.

Жаль только, что другая, не безумная, замечательная идея, осуществлению которой был дан, как ты писал, зеленый свет, провалилась. Хотя, честно говоря, в душе я всегда мало верил в ее осуществление. Ты, конечно, догадался, что речь идет о «Семье» в резиденции канцлера. Но скульптурная мафия, как ты пишешь, большая сила, а пресса еще бо́льшая. Но, как мне кажется, в нашем случае дело обстояло все-таки несколько иначе, чем со скульптурой Мура. Я приносил свою скульптуру в дар, безвозмездно. Средства нужны были только на увеличение, отливку и установку. Что же касается политики, то ФРГ и Бонн являются центром Европы, где перекрещиваются силы Запада и Востока, как я тебе уже об этом писал, и поэтому более чем уместно было бы установить рядом скульптуры Мура, мою и тут же воздвигнуть скульптуру какого-нибудь скульптора из ФРГ. Но ситуация сейчас вообще сложная. Гораздо более сложная, чем, когда идея установки пришла нам в голову, так что понять канцлера в этом случае можно...

28 ноября

Милые Юлия и Дима!

Сегодня только вот что: «Памятник современному состоянию».

Установка будет на неделе с 14 декабря (по-видимому, 14—15-го). В связи с этим событием будет двухдневная выставка. То есть я туда поеду с большим багажом! По возможности покажем еще раз швейцарский телефильм и слайды. Кроме того, мне хочется составить еще огромную коллекцию документов по поводу последних 10 выставок в Германии и открытий других памятников!

Напиши нам коротенькое благодарственное письмо! (Мою фамилию не упоминать!)

1982

25 января

Дорогой Карлуша!

Только что говорил с работниками Министерства культуры. Из всего огромного количества фотографий (более ста) они сочли возможным подарить тебе три скульптуры: первая — «Обнаженная», 1955 г., вторая — «Сидящая», № 57, и «Плотники», № 42, 1962 г. Это мне сообщила женщина, которая лично ко мне относится с симпатией, но от нее ничего не зависит. После разговора с ней я позвонил главному эксперту по скульптуре Министерства культуры и сказал, что их выбор меня очень огорчил и разочаровал. Беседовал я с экспертом очень вежливо и без нажима. Он

также отвечал мне очень вежливо. Я сказал, что хотел бы прибавить к их выбору еще хотя бы две-три вещи, таких, как: «Иллюзионист» (с зубами), № 179 и № 278, «Новый философ». Правда, для Министерства культуры я дал ему другое название: «Болтун». На это эксперт мне ответил, что именно эти скульптуры вызвали у них после длительного обсуждения твердое решение не выпускать их за пределы страны. Он объяснил, что, даже когда за границу посылаются выставки, они всегда стараются представить вещи наименее спорные, традиционные и т. д. На что я сказал: «А «Голова Эйнштейна», произведение далеко не традиционное, была подарена Академией наук СССР Институту им. Ферми в Чикаго. Мне даже специально позвонили из Разноэкспорта и попросили передать эту скульптуру «в дар». Он ответил: «Если бы это шло через нашу систему, то есть через «Салон» или «Международную книгу», то, я полагаю, этого бы не случилось. Я хорошо знаю эту вашу работу. Понимаете, мы также стараемся защитить интересы художника, предотвращая утечку художественных ценностей за границу».

Кроме того, мне сказали, что в принципе подарить можно только несколько произведений, а о таком огромном количестве, на которое я претендовал, не может быть и речи, даже если все будет сверхотдохсально.

16 сентября

Дорогие Дима и Юлия!

Кончилось время, когда было возможно звонить вам отсюда. Очень надеюсь, что такой перерыв только до весны следующего года.

12 сентября в самое хорошее время (в воскресенье, 20.15 — 21.00, т. е. сразу после известий) показывали отличный фильм Беднарца («Mein Moskau» — «Моя Москва». — К. А.). Все в нем превосходно: и композиция, и выбор материала, и текст, и снимки, словом, все. Тебе, Дима, уделили около 8—10 минут. Очень, очень много людей видели эту передачу. Некоторые сразу мне позвонили. То, что было от тебя и о тебе сказано и показано, было очень интересно, очень здорово, произвело на всех глубокое впечатление... Ясно и поразительно было огромное отличие твоих скульптур и вообще твоего творчества от официально выставленных произведений искусства...

18 октября

Дорогой Карлуша!

Главным событием этой недели было открытие выставки Лембрука, которого я знал и любил еще со студенческих времен (в отличие от других западных скульпторов, о которых ничего не знал).

С большим удовольствием мы прочли книгу Зиновьева «Гомо советикус». Во-первых, она в несколько раз короче его предыдущих книг. Во-вторых, он наконец подходит к тому, что можно назвать литературным художественным стилем, а в-третьих, там, на наш взгляд, невероятно точно описана эмигрантская среда, которую мы, хотя сами и не видели, но очень ясно себе представляем. Если у тебя будет время, обязательно прочти хотя бы ради страноведения. Но, как всегда, у Зиновьева, слишком сильна злоба на всех и на все и слишком чувствуется обида человека, которому, по его мнению, сначала не додали причитающихся ему славы и материальных благ у нас в СССР, а теперь на Западе. В итоге он, безусловно, придет к фашизму, если еще не пришел. Он уже тоскует по Сталину. Ему хочется быть умным карликом при глупом великане. Он считает себя гением, готовым продать свою гениальность кому угодно, и впадает в бешенство оттого, что никто не хочет приобрести его гений даже за умеренную плату. А самое главное — это рассуждения совершенно растленной личности, совершенно не верящей в то, что еще остались на свете люди, не желающие продаваться, могущие прожить без коллектива и занимающиеся своим делом ради самого этого дела, т. е. это и есть их жизнь. Но тем не менее книга стоящая, и я еще раз советую тебе ее прочесть. Возможно, нам она ближе, чем западному читателю, так как мы узнаем почти всех персонажей, выведенных Зиновьевым. А возможно, Зиновьев сам не так злобен, завистлив и аморален, как его литературный герой, с которым мы его невольно ассоциируем. Хотя, вспоминая совершенно неслышимого молодого философа, каким я знал когда-то Зиновьева, мне трудно не идентифицировать личность автора и его литературное отражение...

15 ноября

Дорогой Карлуша!

Только что мы по телевизору проводили в последний путь нашего бывшего лидера, и нам остается надеется, что новый будет не хуже. Все траурные дни я провел в Подвале с утра до вечера, где работал и работаю над новой скульптурой из гипса — «Девушкой на венском стуле». Как ты знаешь, работа в гипсе не терпит перерывов, что вызывает особое напряжение в работе, очень большую грязь и бардак в мастерской. Скульптура готова уже на две трети, это до какой-то степени возврат к моему керамическому прошлому...

1983

3 января

Дорогой Карлуша!

За день до Нового года, в половине пятого, я по пути в мастерскую решил немного погулять в скверике около кафе «Крымское». Только что выпал такой редкий в эту зиму снег, и поэтому, хотя уже смеркалось, было еще достаточно светло. Чувствовал я себя не очень хорошо. Тянуло в Подвал, но я все же решил, что минут пятнадцать на чистом воздухе мне будут полезны. Так как чистый воздух ужасно пах бензином от проезжавших мимо по Комсомольскому проспекту машин, я, как это делал уже много лет подряд, прогуливался не по тротуару, а по дорожке, находящейся в глубине скверика, подальше от проезжей части. Обычно в это время на скамейках сидят старушки, мамы с детьми в колясках или влюбленные. Очень часто, сидя на спинках скамеек и поставив ноги на сами скамейки, сидят девушки-студентки, о чем-то друг другу рассказывая, покуривая с огромным наслаждением сигареты. У меня даже сложилось впечатление, что они специально ходят в этот скверик, чтобы покурить. На этот раз никого не было. Только двое мальчишек бросали друг в друга снежки, а рядом с ними бегал небольшой серый пудель. Я дошел до ближнего кафе в конце аллеи, постоял, раздумывая, заканчивать ли прогулку или пройтись еще раз. Решил пройтись. И, как ты увидишь из дальнейшего, это мое решение было совершенно неправильным. Я повернулся и снова пошел, отсчитывая шаги, от кафе по направлению к метро. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, я почувствовал, что взлетаю в воздух и падаю на правый бок совсем как в телевизионных фильмах в сценах насилия. Шапка свалилась с меня и отлетела в сторону. Еще лежа на земле, я увидел перед собой двух молодых людей, лет девятнадцати-двадцати, очень прилично одетых, чистеньких, похожих на миллионы таких же, как один гривенник похож на другой. Один из этих молодых людей поддерживал под руку другого. Они стояли и с непонятным выражением глядели на меня. Я начал медленно подниматься. Очень резкая и сильная боль в правом плече мешала мне. Когда я падал, мои руки были в карманах, а в таких случаях почти всегда происходит вывих плеча или очень серьезное растяжение связок. Боль была настолько сильной, что я даже не мог вытащить руку из кармана. Я встал, поднял шапку, а молодые гривенники все стояли и глядели бесемыми оловянными глазами. «Эх, вы, сволочи! — сказал я. — Вдвоем на старого человека!»

Вокруг по-прежнему никого не было. Ни милиционера, которых сейчас в Москве многие тысячи, ни единого прохожего, которых в Москве миллионы.

«Извините», — нагло сказали молодые люди хором.

Я сказал: «Вы знаете, что за такие дела сейчас бывает?»

«А что бывает?» — с пьяной агрессивностью сказал тот, которого товарищ поддерживал под руку.

Я не успел ответить, как более трезвый из молодых людей снова извинился и сказал: «Извините, это он поскользнулся».

А потом они еще раз вместе сказали: «Извините».

Я сказал: «Ну ладно, идите».

Они пошли, не оглядываясь, под ручку, как влюбленные. Я пошел за ними. Но наши скорости были слишком различны. Я со своей стенокардией очень быстро отстал, и мне ничего не оставалось, как идти в Подвал. Там я с трудом открыл левой рукой наши многочисленные замки, позвонил Юле и рассказал, как был мастерски сбит ударом молодого каратиста, то ли самбиста, подкравшегося ко мне со своим товарищем сзади.

«А как ты думаешь, — сказала Юля, — это были просто хулиганы или что-то другое?»

«Хулиганы, — успокоил я Юлю. — От них очень сильно пахло водкой».

В итоге мы с Юлей, наши близкие и друзья решили, что нам нужно радоваться,

а не горевать по поводу этого происшествия, т. к. все могло кончиться для меня гораздо хуже. А я был удовлетворен тем, что не дал злобе и ненависти овладеть собой настолько, чтобы это отравляло мое существование. Но отнюдь не из чувства всепрощения, а из-за того, чтоб еще больше не повредить своему здоровью. Но до сих пор, как это бывало со мной в детстве, да и с тобой, вероятно, тоже, мне больше всего хотелось бы сделаться огромным и ужасно сильным, снова встретить этих молодых людей, взять их за шиворот каждого в правую и левую руку, а потом стукнуть их лбами. Но вся беда в том, что даже если я их встречу, то почти наверняка не узнаю. Уж слишком они похожи на тысячи своих двойников...

9 мая

Дорогой Карлуша!

...Я тебе уже писал, что очень сильно урезаны средства на искусство в нашей стране. На пять лет прекращаются все работы по монументальной скульптуре. На закупку произведений искусства Министерством культуры ассигновалось, как мне говорили, двадцать два миллиона в год. Теперь эта сумма сокращена на двадцать миллионов, то есть остается два миллиона, что для нашей огромной страны практически ничто. На фоне всех этих ограничений и ущемлений предполагается все же возвести ужасающий по замыслу монумент Победы в Москве.

15 мая

Дорогие Дима и Юлия!

...Только что я узнал, что советские органы еще раз повлияли на определенные круги в администрации города Дортмунда, чтобы они со своей стороны повлияли на Рейнско-Вестфальское иностранное общество. Цель — запретить выставку. Город даже пригрозил Р.-В. обществу лишить его всех субсидий, которые он ему дает. Общество протестовало, и выставка будет завтра. 24-го будет прием для русских писателей и других культурных работников именно в выставочном зале. Известность среди русских в Москве сильно повышается!! Надеюсь, что хуже не будет...

15 мая

Дорогой Карлуша!

В связи с событиями в Дортмунде у меня появилась идея устроить большую выставку скульптур, заключенных в клетки. Этаким зоопарк скульптур. Мне кажется, что и с формальной точки зрения скульптуры, заключенные за решетку, приобрели бы новые пластические качества. Вспомни мою «Женщину за решеткой» и «Младенца в мышеловке». Вряд ли я смогу когда-нибудь осуществить эту идею на практике, но она может быть использована во второй части МИФа как литература.

В связи со скандалом в «Штерне» по поводу «Дневников Гитлера» было бы очень хорошо, если бы ты нам выслал копию текста Наннена, которую мы тебе послали, т. к. из нее очень хорошо видно, что даже «честный Наннен» — такой же фальсификатор, как все остальное жулье из «Штерна», включая их московского агента Кухинке...

28 мая

Дорогие Карлуша и Гизела!

...Как нам кажется, на идеологическом фронте, а как ты знаешь, к нему принадлежит все искусство, предвидится некоторое ужесточение. Поживем, увидим.

Министр культуры земли Северный Рейн-Вестфалия встречался не с Демичевым, а с его первым заместителем Барабашем. Не знаю, говорили ли они о «Железной леди», знаю только, что, когда Барабаш переехал из Харькова в Москву более чем двадцать пять лет назад, в одной из первых своих статей, опубликованных в «Литературной газете», обругал меня, написав, что в своих иллюстрациях к книге Зверева «Все дни, включая воскресенье» я «оглуплял советских людей». Кстати, «Победитель» в дортмундском каталоге может вызвать весьма отрицательную реакцию «советских кругов». Наши такого не любят!..

5 июня

Дорогие Карлуша и Гизела!

Нам очень понравилась речь Карла на открытии выставки в Дортмунде. Но в речи есть одна неточность, касающаяся моей биографии. Дело в том, что относительно спокойное детство и юность до семнадцати лет я провел в Днепропетровске, а не в Сталинабаде (нынешнем Душанбе). В августе 1941 года во время сильнейших бомбежек и безумия всеобщего отступления советских войск мы были эвакуирова-

ны с матерью на Кубань, где я очень тяжело работал в колхозе и где чудом нас нашел отец, ушедший из Днепропетровска пешком в последний день перед вступлением немецких войск. В конце 1941 года, когда немецкие войска приближались к Кубани, мы были эвакуированы вторично, в Сталинабад, где я работал сначала учеником, а потом токарем по металлу настолько тяжело, что буквально падал от усталости на пол, где и засыпал. Карлуша, мне кажется, что твоя неточность совершенно случайна, т. к. все эти события подробнейшим образом описаны в первой части МИФа. Но, возможно, будет полезным, если я напишу тебе свою биографию еще раз чуть подробнее, чем та, которая была помещена в дортмундском каталоге...

6 июля

Дорогие Дима и Юлия!

...И до вашего длинного письма я прекрасно знал все ваши аргументы... В общем, тон письма меня довольно огорчил и до какой-то степени оскорбил. Но оставим все это, потому что, по-видимому, тут имеются недоразумения и с вашей стороны, когда вы читали мои письма. Я, кстати говоря, вас тоже люблю! Единственное желание у меня было, чтобы еще чуть-чуть улучшить вашу грандиозную работу. И в этом отношении я не сделал ничего другого, чем Дима сделал во время всей работы над этим прекрасным каталогом,— борьба за качество! Никаких других намерений у меня не было. И сами судите, что я ни в каких случаях не хотел превратить вашу книгу в свою. Все мои фотографии сняты в духе Эдика!! И бывают моменты, когда я себя спрашиваю, почему я потратил столько много усилий... И, может быть, на самом деле и мне самому стоило возвратиться (как Диме к своим) к своим собственным научным работам, которые я более или менее уже годами оставлял почти (временами даже совсем) в стороне (например, некоторые исследовательские работы, как проект 20-х годов, огромная антология; некоторые уже начатые, но не законченные статьи и т. д. и т. п.). Лучше оставим все эти вопросы и вопрос о том, кто больше или меньше работал, рисовал и т. д. Что касается меня, я все эти обязанности, как вам известно, с удовольствием выполнял и, с другой стороны, надеюсь, что и для вас работа над каталогом не только была большим трудом. Результат, во всяком случае, очень, очень убедительный, и улучшить его очень трудно. Единственное, что меня беспокоит больше всего,— это то ваше недоверие к моим намерениям, как и ваше мнение о том, что я недостаточно понимаю ваши намерения...

В этом нашем неполном и, может быть, вопреки откровенности недосказанном собеседовании я себя иногда чувствую, как в настоящей соцреалистической драме, где все персонажи хотя бы только одно (скорее всего «стремятся» только к одному), а именно: улучшить вообще уже гармоничную ситуацию, но по каким-то (больше всего) персональным причинам все время недоразумеют друг друга; а в конце концов все опять довольны и друг друга любят.

Единственное, что мне (еще раз) добавить: с появлением в печати каталога не повышается моя научная репутация и не связана слава (мои успехи лежат в другом поле). Судя по замечаниям моих коллег по профессии, я должен был бы больше заниматься славистикой. Но в отличие от таких советов (и советов еще и других доброжелательных людей) я до сих пор делал только то, в чем я был убежден...

2 сентября

Дорогие Карлуша и Гизела!

Мы снова в Москве. Ужасно не хотелось уезжать из Алабина, уж очень там хорошо и легко дышится. В Алабине, несмотря на тяжелый труд, которым мы оба с Юлей занимались, у нас никогда не бывает чувства изнурительной усталости и тоски, которые почти всегда преследуют нас при возвращении в Москву. Мы, конечно, могли бы в Алабине задержаться и подольше, но, как вы знаете, первого сентября начинаются занятия во всех школах нашей сверхдержавы. В этом году начало учебного года коснулось и нас. Наш Митюшка пошел в первый класс. И, как вы понимаете, мы не могли не явиться в Москву для того, чтобы отметить такое важное в его жизни событие. За лето он очень возмужал и повзрослел, хотя далеко не гигант по росту.

Алабино раньше в моей, а теперь и в Юлиной жизни играет ни с чем не сравнимую по важности роль. Для меня это даже большее, чем Михайловское и Болдино для Пушкина, т. к. он выезжал и в другие места, а я, кроме Алабина, нигде не ездю. Для меня Алабино — примерно то же, что для скульпторов Италия, куда они ездят рубить скульптуру из каррарского мрамора. А меня почему-то в Италию не тянет, поэтому я выезжаю в Алабино, где рублю скульптуры из алабинской березы.

Во всяком случае, в это лето я вырубил четыре скульптуры: три головы и одно «Женское начало». Две головы «Пророков» и «Женское начало» — довольно большого размера. Примерно сантиметров семьдесят в высоту. А голова «Крестоголового Пророка» — сантиметров тридцать.

В это лето в Алабине произошло очень печальное событие: скорее всего умерла наша любимая кошка Мурка Кузина. Она пришла к нам в тот же день, как мы приехали, и, как это бывало всегда, практически у нас поселилась. А потом, примерно за полмесяца до нашего отъезда, она ушла и не вернулась.

Уже в Алабине мы получили ваше большое последнее письмо, в котором Карлуша писал, что наши отношения очень напоминают хорошую соцреалистическую пьесу, где конфликт между героями происходит из-за желания хорошее сделать лучшим. Мы с этим совершенно согласны.

Нам до сих пор не верится, что этот памятник («Погибшим от любви») действительно будет установлен в Оффенбурге и что на него уже отпущены (или собраны) сто тысяч ДМ. Дело в том, что, когда Кристиан Шмидт-Хойер был в Москве в канцлером Кодем, он сразу же по приезде позвонил нам по телефону в мастерскую. На своем неповторимом русском языке он сообщил, что привез какие-то медикаменты и что у него есть еще одна приятная информация: на памятник «...от любви» дали сто тысяч!

Нам казалось, что это наше письмо получится самым длинным из всех, которые мы вам написали. Дело в том, что мы думали о нем все время нашего пребывания в Алабине. Мысленно беседовали с вами, все время делали какие-то короткие записи в тетради и на отдельных листочках с тем, чтобы чего-то не забыть, не упустить самого важного, о чем хочется поговорить с вами в этом письме.

В прошлый раз мы очень коротко написали о нашем посещении Всесоюзной выставки скульптуры. Подобная выставка впервые устраивается в нашей стране. В ней участвует примерно тысяча скульпторов, представивших более полутора тысяч своих произведений. Мы пришли на эту выставку в последний день перед отъездом в Алабино. И, конечно, именно в этот день (понедельник) она была закрыта для посетителей, т. е. понедельник — выходной день Дома художников, где выставка расположена. После долгих переговоров с милицией, администрацией, директором Дома художников меня как члена МОСХа, инвалида войны, все же пропустили вместе с моей супругой, выписав нам специальный пропуск. Хотя мы бродили по залам огромной экспозиции практически в одиночестве, было ужасно душно и жарко. Мы поняли, что в другой день, когда выставка открыта для всеобщего обозрения, мы просто не выдержали бы и тут же убежали бы на широкие просторы московских улиц. Но на этот раз мы использовали предоставившуюся нам возможность до конца и осмотрели буквально все. Теперь наступает самый сложный момент нашего рассказа: о том, что мы увидели. Масса скульптур экспонировалась не только в залах Дома художников, но часть из них выползла из здания и расположилась вокруг него на зеленых лужайках. Совершенно невозможно было понять принцип их расположения на траве. Ближе всего к зрителю находились более крупные и тяжелые скульптуры, а более мелкие и легкие располагались где-то очень далеко, почти недоступные для обозрения, т. е. ходить по газонам, на которых были установлены скульптуры, строго воспрещалось. Мы с Юлей решили, что устроители рассчитали правильно — огромную тяжелую каменную скульптуру украсть практически невозможно, а что-то бронзовое, ажурное, весом полегче, можно и прихватить на память, особенно ночью. Много раз за это лето я решал — не буду писать Карлу об этой выставке, уж очень это скучное и тяжелое дело. Ограничусь своей прошлой короткой информацией — и дело с концом. Но в итоге решил все же себя перебороть, хотя бы коротко проанализировать увиденное нами. Тем более что я много раз говорил Юле за это время: «Я все же очень рад, что побывал на этой выставке». И это действительно так. Я уже давно решил, что гений в искусстве — это абсолютное отсутствие пустоты. Могут создаваться произведения более значительные, великие, или менее значительные, но всегда они наполнены некоей энергией, заряжающей тех, кто общается к этим созданиям гения. Но гении встречаются редко. Вершины искусства достигаются не часто, поэтому будем говорить просто о таланте людей, занимающихся искусством. Тут мы подходим к определению, с которым мы с тобой сталкивались уже неоднократно. Я имею в виду слово «качество». Мы с тобой считаем то, что я сделал, весьма качественным. Замминистра культуры РСФСР, побывавший на моей выставке в Дортмунде, с нами совершенно не согласен. Люди из берлинского музея и директор бременского музея так же не убеждены в нашей с тобой правоте. Поэтому мы можем ошибаться, не считая качественными произведения других художников. Этот термин приобрел сейчас очень широкое хождение. На основании недостаточного качества жюри Московского фестиваля отвергло многие

иностранные фильмы, в том числе английские. Английская же пресса, как мы слышали по Би-би-си, считает, что все картины Московского фестиваля были самодельными, некачественными, а отвергнутые отличались очень высоким качеством. Так что невольно приходишь к выводу, что термин КАЧЕСТВО практически означает только одно, что кому-то что-то не понравилось. Термин очень удобен, т. к. не требует никаких доказательств. Следовательно, необходимо искать какие-то иные критерии, заранее договорившись, что в искусстве очень многое определяется личным вкусом индивидуумов, вкусами групп, направлений и т. д. и т. п. Конечно, можно было бы примириться с тем, что один любит попу, другой попадью, а третий попову дочку, если бы, как я уже неоднократно говорил, количество денег, которое общество затрачивает на искусство, могло бы расти пропорционально появлению все новых и новых художников и их произведений. Но финансирование искусства ограничено, и поэтому навязываемый вкус или утверждение о высоком или недостаточном качестве того или иного произведения определяют его судьбу.

А теперь вернемся к Всесоюзной выставке скульптуры. Я много раз говорил и писал тебе о том, что искусство должно быть профессионально, что пышно расцветшая самодельность в самых новейших направлениях искусства, пользуясь отсутствием критериев, может вводить в заблуждение множество людей, тем более, если оно хорошо рекламируется. Выставка же, на которой мы с Юлей побывали, абсолютно профессиональна. Практически все произведения выполнены в дорогих материалах: в камне, в бронзе, в дереве. Гипсов почти нет. И в то же время, когда мы покидали эту выставку, у нас было совершенно ясное впечатление того, что мы побывали на кладбище мертвых скульптур. Следовательно, главным качеством произведения искусства является — живое оно или мертвое. Покойник имеет все то же, что и живой человек. Но душа покинула тело и остался труп. На кладбище мертвых скульптур не было почти ни одного произведения, в котором с самого его сотворения присутствовала бы душа. Они появились на свет мертворожденными, хотя на вид имели все атрибуты, присущие живому. Политическая скульптура почти отсутствовала, я не говорю о монументальном разделе, который был еще ужаснее. Лениных было всего два. И то скромных, поставленных в плохо освещенных местах. Было довольно много обнаженных женских фигур, торсов и т. д. Но ничто не вызывало ни чувства, ни чувственности. Как я тебе уже писал, я еще раз со всей очевидностью убедился в своем полном одиночестве в советской скульптуре, в абсолютной невозможности выставить хотя бы одну из своих программных вещей. Я не говорю о «Гробах», «Пророках», «Железной леди». Даже такие произведения, как: «Головы современников» («Эйнштейн», «Гинзбург»), цикл памятников, установленных в Германии и даже в СССР на Новодевичьем кладбище, и «Структуры» выглядели бы абсолютно неприемлемо в своей однородности, как что-то чуждое, как пришельцы из другого мира. И дело тут не в социалистическом реализме. Скорее всего то, что мы видели, не было социалистическим реализмом или тем, как его представляют на Западе. Все это было стилем нашего Союза художников, внутри которого есть свой собственный счет, есть свои корифеи. Очевидно, есть свои шедевры. Но я не могу об этом судить, т. к. мое понимание скульптуры и искусства вообще в корне отличается от их понимания. То же я могу сказать и о многих западных скульпторах и художниках, каталоги которых я видел. Правда, было на выставке кое-что забавное, вызывающее улыбку, была скамейка с сидящими на ней стариками, вроде той, которую я сделал тридцать лет назад. Была даже одна скульптура, чем-то похожая на «Женское начало», но все это никак не меняло общего впечатления — кладбище, оно и есть кладбище. Когда я выставил на Грузинской свои гравюры, я боялся, что попаду тоже в компанию чего-то омертвевшего. Но там была жизнь. Можно было соглашаться, не соглашаться. Что-то могло нравиться, не нравиться. Но выставились люди живые, ищущие, профессионалы. Поэтому, несмотря на все то, о чем я тебе написал, мы с Юлей никак не могли согласиться с «Голомшточком», как его называл Фрэнк Уильямс, который утверждал в цикле передач «Искусство эпохи Брежнева», что у нас ничего не происходит, у нас абсолютно ничего нет. Правда, когда мы спросили Фрэнка, что происходит в изобразительном искусстве Англии, о чем мы тебе уже писали, он ответил: «Ничего не происходит. Мы ждем». Участвовавшие в том же цикле передач советские литературно-эмигранты были добрее и пообъективней. Они утверждали, что в советской литературе кое-что происходит и в метрополии, и в рассеянии. Они называли произведения и авторов.

Дорогой Карлуша, я не верю в то, что кровное родство — самое близкое и надежное из человеческих отношений. Вся моя жизнь это подтверждает. Никогда у меня не было особой близости с моими кровными родственниками: двоюродными братьями, тетями, дядями и т. д. А сейчас все родственные связи практически вообще прекратились. Конечно, говоря о кровном родстве, я не имею в виду мать и

отца, с которыми у меня всегда была необыкновенная близость. У меня никогда не было родных братьев и сестер. Но, судя по отношениям Юли с ее братом и многих других людей из тех, кого я знаю, кровное родство отнюдь не делает их близкими. Сейчас я не хочу исповедоваться тебе в своей любви. Я просто хочу сказать, что ты один из самых близких мне людей на свете, что чувствую я тебя совершенно родным. Хотя мы об этом с тобой никогда не говорили, я совершенно уверен, что и ты испытываешь ко мне подобные чувства. Те твои коллеги-слависты, которые не знают об этом, могут давать тебе какие угодно советы, направлять тебя «по правильному пути» и т. д. и т. п. Но славистов во всем мире очень много, а Аймермахер один. И Сидур один среди скульпторов. И только наши чувства по отношению друг к другу, наше абсолютное доверие друг к другу, наша бескорыстность сделали возможным то, что на Кантштрассе в Западном Берлине стоит «Треблинка», в Констанце — «Памятник современному состоянию», что сейчас будет (дай Бог!) установлен «Памятник погибшим от любви», что прошли выставки во многих городах Германии, что вышла констанцкая книга... Короче говоря, я кончаю перечислять, потому что всего перечислить невозможно, а говорю с полной ответственностью, что без тебя всего этого не было бы. Ты говоришь, что ты не «рычаг». Но я не могу с тобой согласиться. Ты рычаг, и я рычаг. Оба мы рычаги в руках той силы, которая вопреки всему, вопреки прошедшим и будущим войнам, вопреки политическим ухищрениям, идеологиям, корысти доказывает, что мир и люди едины. Но это далеко не самоочевидная истина в нашем распадающемся на государства, классы, расы земном сообществе. И только такие духовные «рычаги», как мы, до какой-то степени могут преодолеть инерцию распада. Конечно, скорее всего мы проиграем и человечество вопреки нашим усилиям погубит себя. И, как ни горько это осознавать, мы не можем позволить себе остановиться до тех пор, пока не наступит наш последний «Отдых в пути». Надеюсь, я все же сделаю эту скульптуру, а вы с Гизелой увидите ее...

11 ноября

Дорогие Карлуша и Гизела!

Работаю над стихотворениями, о которых тебе писал. Получилась уже небольшая книжечка, которая все разрастается, и конца ей пока не видно. Так у меня всегда с моими «циклами» скульптур, рисунков, гравюр, а теперь со стихами. Мне кажется, что я наконец нашел форму, подобную рисункам пером или небольшой акварели, помогающую еще точнее и в то же время многограннее выразить свое отношение к миру. Рассматриваю свои стихи только как дополнение и приложение к тому, что уже сделано мною в других видах искусства.

Получил от Генриха Бёлля два очень трогательных и красивых проспекта, посвященных его покойному сыну Раймунду. Бёлль почему-то прислал их в Москву на твое имя по адресу, предназначенному для студентов и аспирантов, проживающих в Москве.

9 декабря

Дорогие Карлуша и Гизела!

Это был обычный гостевой визит, и мы даже не могли предположить, как он закончится. Удо ван Метерен и его супруга смотрели все с очень большим интересом, а потом во время ужина он с любопытством начал расспрашивать об установленных в Германии скульптурах, о стоимости осуществления таких проектов, о том, почему я не получаю денег за памятники, установленные в различных городах ФРГ, и т. д. и т. п. Он сказал, что даже не может себе представить, чтобы западный скульптор мог отказываться от гонораров в подобных случаях. Я показал ему альбом, присланный мне тем заводом, который отливал «Памятник современному состоянию» для Констанца. Рассказал о процессе отливки, о том, как происходит увеличение, о Паффрате... И тут он снял с полки «Взывающего» и спросил, какого размера я бы хотел видеть эту скульптуру. Я ответил: «Пять метров».

«Я тоже так считаю,— сказал Удо,— я совершенно восхищен этой скульптурой и считаю, что она должна стоять во всех столицах перед всеми правительственными учреждениями, взывая к правительствам. Не будете ли вы возражать, если я поставлю эту скульптуру в Дюссельдорфе?»

«Не буду»,— ответил я.

«17 декабря состоится заседание дюссельдорфского городского совета, и мы обсудим там вопрос об установке «Взывающего»,— сказал г-н ван Метерен.— Я уверен, что решение будет положительное. И, конечно, эта скульптура должна быть отлита в бронзе, ни в каком другом материале!»

«Понимаете,— сказал я,— осуществление такого проекта сопряжено с большими трудностями. Стоимость пятиметровой скульптуры «Взывающий» даже в том случае, если я подарю ее городу Дюссельдорфу, обойдется минимум в 100 т. DM. Чтобы добиться такой суммы, нужно потратить очень много времени. В Оффенбурге это потребовало четырех лет».

«Ты его не понял,— сказала Андрея*, — это он сам хочет все оплатить и подарить «Взывающего» городу Дюссельдорфу от своего имени. Поэтому ни о каких финансовых трудностях речь идти не может. Вопрос будет заключаться только в том, чтобы магистрат принял этот подарок от г-на ван Метерена и отвел для скульптуры подобающее место».

«А если они не примут такого подарка?» — спросил я.

«Я не знаю ни одного случая, чтобы какой-нибудь город когда-нибудь отказывался от подарка», — сказала г-жа ван Метерен.

Г-н ван Метерен явно хочет осуществить свой проект в самые кратчайшие сроки. Он все время беспокоился о том, что Пафрат будет долго занят работой над «Памятником погибшим от любви» и не сможет приступить в ближайшее время к работе над «Взывающим». Г-н ван Метерен попросил твой адрес и сказал, что немедленно свяжется с тобой, как только вернется в Дюссельдорф. Своего адреса он нам не оставил, сказав, что его имени и фамилии достаточно и все будет сделано так, как он сказал.

И теперь самое главное. Я надеюсь, что бронзовый экземпляр «Взывающего» все еще у тебя и ты сможешь передать его г-ну ван Метерену, как только он об этом спросит. Я сказал ему, что тот экземпляр, который он видел у меня, и твой совершенно идентичны. Но все же твой чуть-чуть лучше, т. к. я всегда посылаю тебе самую лучшую из имеющихся у меня отливок. Его очень волновал вопрос, сумеет ли Пафрат сделать все, как на модели: фактуру, границы форм и т. д. Я ответил, что у нас с Пафратом по этому вопросу был разговор в Москве, куда он специально приехал по моему приглашению, и что Пафрат должен делать, ничего не придумывая от себя, точно копируя модель. Правда, если смотреть на модель «Взывающего» сзади, можно заметить некоторую асимметрию.

Цикл стихотворений об осени в Алабине разросся и превратился в нечто большее, чем пока конца не видно. Сейчас у меня и времени для этого гораздо меньше, чем в Алабине. Но тем не менее продолжаю поэтическую деятельность. Как только закончу, обязательно пришлю.

1984

21 апреля

Дорогие Карл и Гизела!

В прошлый вторник, 17 апреля, решили наконец совершить экскурсию в мастерскую Кабакова. Об этом мы давно с ним договаривались, но никак не получалось. Практически это должен был быть наш первый выход в чужую мастерскую, если не считать нашего с тобой, Карлуша, совместного похода к Биргеру, за последние четверть века. Мы долго морально и физически готовились к этому мероприятию. И надо же так случиться, что именно в этот день Юля, спускаясь по привычной лестнице в наш собственный Подвал, споткнулась и очень сильно подвернула ногу. И все же наш визит состоялся. Кабаков заехал за нами на своей машине, в мастерскую мы поднялись на лифте и прошли через чужую квартиру на чердак. Кабаков сказал жильцам квартиры, что я его брат, и они, не возражая, пропустили нас с Юлей через свою территорию. Иначе посещение вообще было бы невозможным, т. к. я в первую очередь не смог бы подняться пешком на такую высоту.

Есть что-то родственное между подвалами и чердаками, несмотря на противоположность их расположения в теле дома. Во всяком случае, у нас сразу же появилось чувство, что мы попали в близкое нам место. К тому же Кабаков и его жена — люди очень симпатичные и доброжелательные. Среди больших работ Ильи Кабакова, на мой взгляд, доведены «до кондиции» две. Это — «Расписание выноса помойного ведра» в коммунальной квартире, составленное на несколько лет вперед, и несколько досок с предметами из коммунальной кухни и репликами-текстами в углах этих досок. Некоторые большие стенды слишком, на мой взгляд, «реалистичны» и практически ничем не отличаются от настоящих, поэтому не переходят грани, отде-

* Доктор Андрея фон Кнооп — в то время аспирантка, позднее немецкий представитель в Москве международной консалтинговой фирмы.

ляющей действительность от искусства, не становятся сюрреалистическими. Если бы мы пришли без помощников, то нам трудно было бы просмотреть эти очень тяжелые по весу стенды с текстами, которые должны много говорить советскому зрителю, но скорее всего должны быть совершенно непонятны людям из другой системы жизни и мышления. Что же касается альбомов, мы их видели два: о сидящем в шкафу и «Летающие». Эти вещи, безусловно, более общечеловеческие по языку искусства, то есть по форме и по содержанию также...

Получил из отливки «Медали имени Карла Аймермахера». Я думаю, что по написанному уставу медалью, изображающей мужчину, должны награждаться женщины, а женским изображением — мужчины.

Еще немного о нашем кино. Нам кажется, что, показывая его западному зрителю, который, в общем, весьма слабо разбирается в советской ситуации, обязательно надо разъяснять, что ничего подобного до нашего «Памятника современному состоянию» не создавалось в советском кино, тем более **частным образом**. И после этого нашего эксперимента, **произведенного десять лет назад**, также не было сделано ничего похожего. Что нам понадобилось десять лет для того, чтобы решиться показать этот фильм на Западе...

1 мая

Дорогие Карлуша и Гизела!

Хотя я не люблю никаких разъяснений перед показом фильма, возможно, все же придется сказать несколько фраз (не более минуты) о том, что фильм сделан десять лет тому назад, **в 1974 году**, и, как нам кажется, выдержал проверку временем, т. е. темы, которые он затрагивает, до какой-то степени вечны. Каждый человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне, находясь постоянно один на один со своим творчеством. Никто не может помочь ему в его работе (я имею в виду внутренний процесс творчества, отбор идей для осуществления, странные обстоятельства, вызывающие зарождение этих идей). Очень часто нереальный мир художника, в котором он постоянно пребывает, только соприкасается с действительностью. В любом случае границы реального и нереального весьма размыты. В фильме главное действующее лицо как бы наблюдает за собой со стороны (эпизоды с кинокамерой, которая в действительности не работает, сломана), создавая из своей собственной жизни, своих произведений и окружающего мира нечто качественно новое, что должно для него и для зрителя быть «Памятником современному состоянию»...

24 сентября

Дорогие Карлуша и Гизела!

Наконец мы получили возможность написать вам первое после июня письмо. К большому сожалению, мы еще раз убедились в правильности пословицы: «Человек предполагает, а Бог располагает». Только мы решили большую часть года проводить в Алабине, как все наши планы рухнули. Пришлось спасаться бегством в середине лета, так что остается благодарить судьбу, что она в очередной раз сохранила мне жизнь*. И вообще после шестидесяти лет, особенно ИОВу (инвалиду Отечественной войны, так нас сокращенно именуют во всех официальных документах), трудно планировать свое будущее. Из-за всего этого, хотя мы стараемся сохранять бодрость, на душе довольно грустно.

Понемногу начинаю рисовать и даже гулять. Уже три раза выходил в наш двор на Брянской.

Очень нас обрадовало известие о том, что вы серьезно готовитесь к путешествию в Москву.

Сейчас меня больше всего беспокоит очень большое количество необработанных и неподписанных отливок, скопившееся в Подвале. Не подписаны также многие рисунки и живопись, не говоря уже о гравюрах. До сих пор не окончена посвященная вам книга стихов о прошлой счастливой осени в Алабине. Не начата вторая часть МИФа. Так что, если позволят силы, придется, по-видимому, заняться всеми этими делами, не создавая пока новых произведений.

12 декабря

Дорогие Карл и Гизела!

«Зал Сидура»**, когда я пишу о нем в своих письмах,— это только условное обозначение какого-то «угла» в Бохумском музее, где наряду с моделями «Треблинки»

* Инфаркт миокарда, случившийся с В. С. 6 августа 1984 года в Алабине.

** «Зал Сидура» существует в настоящее время в здании «Виллы» при Музее современного искусства в Бохуме.

и «Памятника погибшим от любви» будет находиться еще кое-что. Возможно, «Эйнштейн», как ты, Карлуша, пишешь, может быть, что-то из 70-х годов, две-три металлических скульптуры, скажем, из «Женского начала», и пяток графики на стенах этого «угла». На большее я не претендую, прекрасно понимая все трудности, а поэтому согласен даже на меньшее. То, о чем я написал выше, является оптимальным вариантом, и, как мне кажется, мы его в итоге достигнем.

Что касается больших скульптур 70-х годов: «Гробы», «Железная леди», то есть те, которые не собраны, вернее, не скреплены намертво, то выполнение твоего предложения нереально не потому, что ты не сможешь собрать эти скульптуры в Бохуме, а из-за веса и размера отдельных деталей, их составляющих. Стальная пружина или голова «Гроб-женщины», каждая весит не менее 30 кг, длина досок гроба около 2-х метров. Так что будем счастливы, если ты пока благополучно получишь «Гроб-дитя». Подробнее все это еще раз обсудим, когда увидимся в Москве.

Насчет слухов из Москвы о «зависти к Сидуру» хотелось бы поговорить подробнее. Я думаю, что это мы сделаем или в одном из следующих писем, или опять же, когда увидимся в Москве. Поговорить надо обязательно, т. к. это поможет тебе еще лучше понять взаимоотношения между художниками вообще и у нас в частности. А для тебя знать это особенно важно, когда ты вплотную занимаешься искусством. Пока коротко: еще когда был жив Пикассо, мне приходилось встречаться с несколькими французскими художниками, которые никак не могли дожидаться его смерти. Им казалось, что их успех не происходит только оттого, что Пикассо заполнил собой все и все занимаются только им. Но я не уверен, что их успех возрос после смерти этого маленького великана. То же, что происходило с Пикассо в живописи при его жизни, происходит сейчас с Муром. Хороший человек и неплохой художник Немухин, пересказывая слова своего друга-эмигранта, сообщил, что вся Европа сейчас «обмурена так, что смотреть противно». Поэтом не будем удивляться проявлению самых крайних чувств и по отношению ко мне. Вспомни ненависть Наннена, неприятие моих работ отдельными лицами и музеями, о которых ты мне сам писал. Скорее всего отрицательные эмоции будут усиливаться пропорционально успеху. Возможно, не только у наших художников, но и у западных, в частности немецких. Но и сторонников будет больше.

Они не понимают многого: во-первых, того, что у меня есть ты. А иметь такого друга — это редкая удача, выпадающая лишь немногим. Во-вторых, они принадлежат к другому поколению. Их творческая биография началась на 10—16 лет позже моей (недаром Немухин удивился, когда узнал, что в каталоге помещены мои работы начиная с 45-го года). В-третьих, и качественно, и количественно я по отношению к ним являюсь классиком и действительно принадлежу к вымирающей группе художников и скульпторов, таких, как Пикассо, Мур, Липшиц, Цадкин, Джакометти и другие, то есть к тем, кто создает вечное искусство, рассчитанное всерьез очень надолго.

Я стараюсь послушно выполнять твои рекомендации, но все равно каждый день проходит в каких-то бесконечных хлопотах и трудах. И практически каждый вечер у нас посетители. Теперь уже не в мастерской, а дома. Вот она, тяжесть маленькой славы, которой завидуют некоторые московские художники!

Ко всему этому погода в Москве стоит прескверная для сердечников. Вчера шел снег с дождем и сегодня идет...

15—17 декабря

Дорогие Карлуша и Гизела!

...теперь о выставке Эдика. Помещение, в котором она должна была размещаться и размещается сейчас, представляет собой три небольших комнаты. Название выставки «Встречи». Эдик предполагал в первой комнате поместить фотографии из цикла «Деревня», во второй — «Город», а в третьей — «Скульптор Вадим Сидур». Мы с Юлей составили по просьбе Эдика биографическую справку, краткую, но все же довольно полно отражающую мой жизненный путь.

Утром, за день до открытия выставки (13 декабря), на выставку пришли две женщины: одна — представитель городского управления культуры, а вторая — цензуры (Главлит). Собственно, это была та комиссия, в полномочия которой входило разрешить или не разрешить представленную на их просмотр экспозицию. Мой отдел им сразу резко не понравился. Они потребовали удалить все фотографии, снятые в Подвале, а также возражали против других скульптур, кроме установленных. Потребовали они также удалить биографическую справку, говоря, что это выставка Гладкова, а не Сидура. Эдик все их требования выполнил. Они подписали необ-

ходимые документы, и мы все сочли, что на этом дело закончится и выставка будет открыта, хотя и со значительным ущербом для раздела «Вадим Сидур». Однако через некоторое время после ухода этой комиссии в руководство горкома графиков, в помещении которого устраивалась эта выставка, начали звонить из вышестоящих инстанций и спрашивать, как отчество Вадима Сидура. Потом, видимо, уточнив все данные и полностью идентифицировав мою личность, из этих вышестоящих инстанций позвонили руководству горкома графиков, после чего заместитель председателя горкома сказал Эдику: «А Сидура ведь исключили из партии. Не того вы себе выбрали героя». Примерно часа через два после ухода первой комиссии, состоящей из двух женщин, на выставке Эдика появились два молодых человека в штатском, явно из органов, хотя сказали они, что из Министерства культуры. Они, ничего не говоря, очень внимательно и долго осматривали всю выставку, а тем, кто в это время пытался войти в помещение также посмотреть, они говорили: «Смотреть нельзя. Выставка откроется только завтра. А пока она закрыта». И, действительно, на следующее утро пришел представитель горкома партии, курирующий горком графиков (ты, Карлуша, извини за многочисленные повторения названий типа «горком», в котором легко запутаться, но без этого, к сожалению, нельзя, хотя ты сам уже имеешь кое-какой опыт по этой части, почерпнутый в Дортмунде), с ним снова явилась женщина из Отдела культуры Моссовета и еще какие-то люди. Они пригласили участвовать в их работе председателя горкома графиков Дробицкого, а Эдика попросили покинуть помещение. О чем там они говорили и совещались, нам неизвестно, но в конце концов они вынесли следующее решение: раздел выставки «Скульптор Вадим Сидур» ликвидировать вообще. Из всех фотографий оставить: «Портрет с кошкой», памятники Варге, Тамму и Фрумкину, а также две «Структуры», но обязательно снять надписи с указанием, что это портрет скульптора Сидура, и названия памятников, «Структур» и фамилию их автора. Для того чтобы не бросалось в глаза, что таблички с названиями сняты только с фотографий, относящихся ко мне, они приняли соломоново решение снять все названия фотографий вообще. Поэтому портрет Окуджавы и врача-писателя Юлия Крелина также оказались безымянными. Фотографии памятников и «Структур» предложили не вешать вместе, а раскидать по разделу «Город», чтобы это выглядело просто случайными объектами в общегородской картине. «Памятник родителям» велели снять. Я сначала подумал, что из-за креста в груди, но Эдик сказал, что причиной послужило то, что на фотографии была видна доска с надписью «Сидур Зинаида Ивановна».

Вот тебе, Карлуша, полный отчет о выставке Эдика и ответ на твой телефонный вопрос, как она проходит, вплоть до всяких душевных нюансов.

В итоге мы с Юлей подумали, что лучше нам самим поменьше афишировать этот запрет, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, как мы это делали после моего исключения из партии, а просто игнорировать это событие, как будто его и не было.

А еще члены комиссий, принимавших выставку Эдика (кроме двух молодых людей в штатском, которые ничего не говорили), высказывались в том смысле, что: «Не можем же мы пропагандировать имя Сидура и его творчество!» Так что все заботы по этой части, Карлуша, опять ложатся на твои и без того перегруженные плечи немецкого профессора.

Таким образом, московские художники, которые завидуют мне, должны знать, что за все приходится расплачиваться. Их произведения выставляются в Москве с прекрасными каталогами, их рисунки печатаются в журналах, триптихи и абстракции вывозятся за рубеж с разрешения вышестоящих органов, поэтому на мою долю остаются выставка в Бохуме, Касселе, Констанце и других немецких городах да установленные на немецкой земле памятники. Во всяком случае, я никому не завидую и считаю себя очень счастливым художником!

1985

5 января

Дорогие Юля и Дима!

Откровенно говоря, мне всегда очень трудно выбрать, потому что я все скульптуры очень люблю. И, как ни странно, все больше и больше люблю. На Рождество только я сказал Гизеле, что иногда у меня развивается даже страсть сфотографировать некоторые из них, как живые существа. Так что их скульптурность превращается для зрителя в сочность, строгость, которые, кстати говоря, такая пленительная вещь, что без нее жить очень трудно. И у меня уже возникли разные идеи в этом отношении, хотя я заранее знаю, что иллюзорно передать одноглазым аппаратом

именно то, что так сильно и интересно действует на наши эмоции... Я себе выбрал «Похороны», потому что я сам уже несколько раз глубоко испытывал ту жалобную тяжесть души, которая великолепно и вечно передается этой скульптурой.

Бохумский симпозиум. На этой конференции высказывались самые разные и противоречивые мнения. Судя и по моему собственному опыту, я абсолютно согласен с вашими суждениями. Они более объективные, чем те, часто очень субъективные (иногда даже эмоциональные), высказывания художников-борцов на фронте искусства. Кстати говоря, такие ссоры и склоки абсолютно нормальны, они мне давным-давно известны из истории борьбы литературных группировок всех времен. Я как ученый стараюсь выступать в подобных ситуациях как внешний наблюдатель и т. д. и т. п. Я и в частной жизни привык сравнивать самые разные суждения. И без преувеличения я могу сказать, что до сих пор меня никто никогда не ругал за мои научные работы (кроме определенного круга советских и восточноевропейских борцов за мир!). И, кстати говоря, Игорь Голом. не прав, говоря об официальном и неофициальном искусстве. Мне кажется, что все-таки лучше и легче написать историю «официального» искусства, чем «неофициального»... Но об этом устно.

К сожалению, на Западе никто до сих пор не занимался современным советским искусством (послевоенным). Поэтому в наших библиотеках почти нет материалов! Например, журнал «Искусство» — только с начала 50-х годов, не говоря уже о других журналах. Если бы я смог, я купил бы все то, что появилось в СССР об искусстве! Достаньте мне эту книгу о 100 скульпторах.

13 января

Дорогие Карлуша и Гизела!

В прошлом или позапрошлом письме я довольно долго распространялся, выражая свое неодобрение по поводу советских художников нашего времени, чьи работы я увидел в каталоге выставки советского искусства, которую сейчас устраивает в Германии «Дойче Банк» совместно с нашим Министерством культуры. В этом же письме я не могу не обругать современных немецких художников. Возможно, я просто превращаюсь в старого брюзгу, который ругает всех и все, но тем не менее, когда мне в руки попал огромный каталог, который называется «96 художников из Вестфалии», я уже не мог точно сказать, кто хуже: наши или ваши. Эти 96 в основном здоровых молодых мужчин и женщин как бы кастрировали сами себя в условиях полной свободы творчества. Или же полной свободы вообще нет и она нам только снится? Когда смотришь на их произведения, похоже на тысячи точно таких же в других частях нашей планеты, то кажется, что живут они в некоем вакууме, совершенно изолированные от жизни с ее тревогами, любовью, голодом, бедностью, богатством, пресловутым сексом и всеми другими атрибутами нашего времени. Во имя чего они работают? Что ими движет? Неужели рынок? Как-то не верится, что потребитель хочет именно такого бесплотного, бесплодного, ничего не говорящего искусства. Конечно, этот феномен не менее трудно понять, а возможно, даже более трудно, чем то, что происходит у нас.

Карлуша, теперь действительно затыкаю себе рот, т. к. чувствую полную невозможность оценить и понять 90 из 96.

Знаешь ли ты о том, что 31 декабря прошлого года в Москве умер Володя Вейсберг, перенеся подряд два инфаркта и два инсульта? Это большая потеря для искусства. Вейсберг был настоящим художником. Как говорится, мир праху его. Подробнее поговорим о нем, когда увидимся.

14 апреля

Дорогие Карлуша и Гизела!

Объединенный пленум творческих союзов, о котором мы говорили перед вашим отъездом из Москвы, действительно состоялся на следующий день. И, хотя многие из выступавших на нем ораторов призывали к отсутствию парадности и пустословия, в целом это высокое собрание может служить одним из лучших образцов именно парадности и пустословия. Многие ожидали, что на объединенном пленуме выступит номер 1, но он только присутствовал, что, может быть, и к лучшему. На всякий случай посылаем вам вырезку из газеты «Правда» с кратким изложением речей всех выступавших. Не обращайтесь внимания, что в начале страницы, озаглавленной «Воспевать величие народного подвига», в скобках написано: «Окончание, начало на первой странице». Начало действительно на первой странице, но там только указано, что пленум состоялся и на его открытии присутствовали т. Горбачев и другие члены Политбюро. На всякий случай мы подчеркнули то, что говорил на пленуме председатель Союза художников Пономарев, т. к. его речь нас с вами должна интересовать больше других.

Следующая новость из области искусства. Позвонила Галя Штейнберг, сообщила, что выздоровел Шварцман, и сказала, что у Эдика Штейнберга действительно продана еще одна картина уже после того, как ему сказали: «Это в последний раз!» А самого Эдика примерно в это же время снова вызывали, на этот раз уже в более высокие инстанции, к председателю всех союзов, подобных Союзу графиков, и предложили написать письмо против журнала «А-Я»*. Он отказался.

На этом мы хотели завершить наше средних размеров послание, но раздался телефонный звонок, о котором мы тут же решили сообщить вам. В момент телефонного звонка часы показывали 22.40 московского времени, то есть время довольно позднее. Привожу разговор почти дословно:

— Вадим Абрамович, добрый вечер. Вас беспокоит Олег Михайлович. Вы, наверное, помните, я вам звонил. Олег Михайлович Савостюк, председатель МОСХа.

— Здравствуйте, Олег Михайлович. Конечно, я вас помню.

— Вадим Абрамович, извините, что звоню так поздно. Тут, понимаете, выставка скоро открывается, а ваших работ нет.

— Олег Михайлович, мне сейчас не до выставок, уж очень плохо я сейчас себя чувствую. Гораздо хуже, чем во время первого нашего разговора, у меня снова был сердечный приступ, завтра мне должны сделать кардиограмму.

— Да, Вадим Абрамович, весна в этом году очень тяжелая. И вообще год, когда много событий. Но, вы знаете, я сейчас часто бываю в вашем доме по работе, и, если разрешите, я бы заскочил к вам. А в мастерской вы бываете?

— Нет, не бываю, Олег Михайлович, не до мастерской сейчас.

— Но у вас же мастерская в том же доме, где вы живете?

— Нет, Олег Михайлович, моя мастерская на Комсомольском проспекте.

— Ах, жаль, жаль, это совсем другой район!

— Да, Олег Михайлович.

— Вадим Абрамович, я сейчас уезжаю в командировку дня на четыре. Вернусь, созвонимся. Хотелось бы с вами поговорить.

— Хорошо, Олег Михайлович. Если мое самочувствие позволит, буду рад вас видеть.

— До свидания, Вадим Абрамович. Желаю вам всего самого хорошего. Здоровья.

— Спасибо, Олег Михайлович, до свидания.

Так что, дорогие Карлуша и Гизела, не забывает нас наше начальство. Интересное совпадение — Эдику Штейнбергу, когда его телефонным звонком пригласили на последнюю беседу, о которой я вам писал в начале этого письма, позвонили также почему-то в воскресенье, а пригласили на понедельник. Как вы видите из приведенного разговора, Олег Михайлович был предельно вежлив и голос у него был удивительно ласковый.

Обнимаем вас, дорогие Карлуша и Гизела. Надеемся, что разговор Карла с министром культуры прошел в такой же ласковой форме, как мой разговор с Олегом Михайловичем Савостюком, но принес более деловые результаты...

25 мая

Дорогие Дима и Юлия!

...Сегодня ночью в Мюнхене умер наш друг и ваш поклонник Ханс Хольтхузен. Как и в других таких скорбных случаях, его заболевание, быстрый упадок его личности меня опять сильно потрясли и напомнили об ограниченности и ничтожности нашего бытия. Такие «неожиданные» судьбы способны как будто останавливать время, сосредоточиваться на самых существенных моментах нашей краткой жизни. Вы даже лучше меня знаете по собственному опыту и понимаете, что я имею в виду...

16 июня

Дорогие Карлуша и Гизела!

За окном светит солнце и несутся большие снежные хлопья. Двери на лоджии открыты, снежинки залетают в комнаты и маленькими сугробами лежат на полу. Только что я вернулся с прогулки во дворе нашего дома. Вся земля покрыта слоем снега. Это особенно удивительно, потому что погода летняя и совсем теплая. Теперь

* «А-Я» — журнал на русском и английском языках о неофициальном советском и эмигрантском искусстве, выходивший в Париже.

это повторяется ежегодно. Мне кажется, что ты, Карлуша, уже был один раз в Москве летом, когда пух летел с тополей. Этот период всегда странен и нереален. Во время прогулки я, как обычно, встретил полковника, которого недавно хватил инсульт. Теперь мы почти всегда гуляем с ним в одно и то же время. Большею частью его прогуливает жена, поддерживая под руку. А иногда он гуляет один, двигаясь быстро, но очень неустойчиво. Сегодня полковник и полковничиха, бывшая балерина, что-то делали около своего автомобиля, стоя на самом солнцепеке. Тучка нашла на солнце, и я подошел к ним. «Плохо открывается дверца», — сказал полковник. «А вы наплюйте», — сказал я. «Это ей наплевать», — сказал полковник, показывая на жену, — а мне не наплевать!»

Ужасно, что умер Хольтхузен! Но хорошо, что его предсмертные муки, судя по вашему письму, не были чрезмерными. Сейчас в Москве умирает довольно близко к нам человек — хирург, спасший тысячи людей. Это Михаил Евгеньевич Жаткевич; он работал в той же больнице, где Володя Бродский. И вот теперь, когда умирает он сам, никто и ничто не может спасти его. Какая-то чудовищная несправедливость. На дверях нашего дома с неумолимой закономерностью очень часто (слишком часто) появляются обведенные черной каймой объявления: «Такого-то числа скончался художник такой-то... Прощание с покойным тогда-то, вынос тела тогда-то, похороны там-то...» Вот так, братцы, обстоят дела со смертью у нас...

В то же самое время жизнь, как говорится, «бьет ключом» и в стране нашей происходит сейчас что-то вроде революции. Во всяком случае, мы с огромным интересом смотрим по телевизору на нашего нового вождя и слушаем его речи. Все, что он говорит, правильно, почти со всем мы согласны, но что в итоге получится, никому не ведомо. В магазинах закрываются винно-водочные отделы, но пьяных по-прежнему много. Они, как и раньше, бодро сквернословят, оскорбляя своим видом человеческое достоинство. Но из-за того, что водку продают теперь с двух часов дня, а не с одиннадцати утра, как было раньше, в рабочее время пьют меньше, т. к. все предпочитали выпить именно в полуденный обеденный перерыв. А к концу рабочего дня пить вроде уже и ни к чему.

Вчера смотрели по ТВ фильм о жизни и деятельности Андропова. Судя по всему, история нашей страны будет начинаться теперь с Ленина, немного продолжаться Сталиным, потом Андроповым и завершаться Горбачевым. В своей последней речи Горбачев воскликнул (правда, Юлия считает, что он не воскликнул, а просто сказал), что необходимо новаторство в науке, литературе и искусстве... Но нам не совсем ясно, стояли ли эти слова в тексте его речи или же он произнес их спонтанно, оторвавшись от текста, что он делает в отличие от предыдущих наших руководителей очень часто. Независимо от того, насколько громко были произнесены слова Горбачева о новаторстве в искусстве и литературе, их вряд ли услышал наш нынешний идеолог, новый член Политбюро Лигачев. Говорят, что именно он является личным другом Шилова, о котором мы тебе уже писали. Лигачев работал когда-то секретарем Томского обкома, где теперь должна состояться самая грандиозная выставка Шилова. 14 апреля в газете «Известия» было опубликовано интервью с Шиловым. Сравнительно с кинофильмом, о котором я тебе писал, интервью значительно менее воинственное, смазанное, затушеванное. В вводной части привлекают внимание слова берущего интервью: «Выставки привлекают своеобразием индивидуальности художников, каждый ищет созвучие своей душе. Кому-то дороже натуральность, кому-то — значительность поэтических символов или живописный гротеск, один пройдет равнодушно, другой задержится у картины...» А в «Правде» за 11 июня 1985 года помещена статья другого профессора, Глазунова. Правильнее было бы слово «профессор» взять в кавычки, т. к. ни Глазунов, ни Шилов никаких докторских диссертаций не защищали, а волюнтаристскими распоряжениями сверху были просто посажены на свои места. Обе вырезки из газет я тебе пошлю, и ты сам сможешь прочесть, о чем думают эти деятели. Глазунов отстаивает Академию, куда его никак не выберут, строит из себя прямого продолжателя Рублева, хотя условность рублевского гения не имеет никакого отношения ни к академизму, ни тем более к глазуновской самодеятельности. Он нападает на модернизм, защищая классику, на которую никто не нападает, а на самом деле за всем этим шиловско-глазуновским камуфляжем, на мой взгляд, ясно прослеживается далеко идущий план поворота искусства вспять. Глазунов профессорствует уже не первый год и уже наплодил учеников, в основном пропагандцев в его промысле. Теперь Шилов стал «профессором», так что расчет прост: эти «профессора» произведут на свет за время своей деятельности множество себе подобных. Те же, в свою очередь, начнут плодиться и профессорствовать, так что к началу следующего тысячелетия наше искусство снова вернется целиком и полностью к передвижничеству и можно будет, как говорит-

ся, «начинать сначала, на колу мочало». Лично я уверен, что из этой хитроумной затеи все равно ничего не получится. Жизнь остановить нельзя, а тем более, как любяты повторять наши диалектики, «невозможно повернуть колесо истории вспять». Как ты знаешь, я сам являюсь сторонником классического образования в искусстве, но то, что пытаются выдать за классиков самостоятельных «профессоров», вызывает отвращение.

Скорее всего я всегда был не «над схваткой», а «под схваткой». Я имею в виду тридцатилетнюю подземную работу в Подвале... Я сам часто задумываюсь, из-за чего у меня возрос интерес к проблемам общего характера в последнее время: то ли из-за болезни, которая не дает мне уединиться в свои подземные башни из слоновой кости, то ли звонки Савостюка выдернули меня из моего подвального одиночества.

Очень интересно то, что ты написал о лекции профессора Суханека в Кракове. Если не говорить о мировом искусстве, то в нашей огромной стране я действительно явление уникальное, как это ни странно. Во всяком случае, насколько мне известно, в скульптуре ничего подобного нет и пока что не намечается.

Примерно неделю назад у нас в мастерской побывал некий Клод Бернар, владелец крупных галерей в Париже и Нью-Йорке, как нам его представили. На этот раз я тоже по стечению обстоятельств находился в мастерской, куда меня привез Миша. Теперь в мастерской гостей обычно принимает Юля, о чем мы тебе уже писали. Этот Клод Бернар был в Москве всего три дня и за это время объехал, очевидно, довольно большое количество художников. Мы видели у жены французского советника культуры, которая его привезла, список примерно из 15 фамилий. Поэтому его визит был весьма кратковременным и поверхностным. Я вообще не уверен, что его интересует скульптура. На всякий случай я дал ему бохумский, саарбрюкенский, берлинский и гамбургский каталоги, а также твой адрес. Хуже не будет, если этот галерист познакомится с каталогами, в которых имеются фотографии не только скульптур, но и репродукции графики. Стоит сказать несколько слов о том, какое впечатление производит этот маршан. Он вылез из машины в пелерине, в такой, в какой ходил Растиньяк и прочие господа из романов Бальзака. За ним выползли два его секретаря, мужчина и женщина, оба удивительно некрасивые, можно даже сказать, уродливые. Сам Бернар также не блистал красотой, но на фоне своих сотрудников явно выигрывал. Зачем были секретари, совершенно непонятно. Правда, сумку с каталогами понесла секретарша. Чего хотели эти карикатурные люди? Зачем они приезжали, можно только догадываться. Скорее всего в среде западных маршанов пронесся слух, что произведения советских художников можно купить в Москве по ценам гораздо более низким, чем мировые. А потом при соответствующей конъюнктуре продать дороже. Во всяком случае, нам сказали, что Басмаджан купил 50 картин Вейсберга очень дешево официальным путем. Клод Бернар обещал вернуться в Москву в августе.

2 октября

Дорогие Карлуша и Гизела!

Наконец вернулись из Алабина в Москву, пробыв на даче два месяца и одну неделю. Ожидали по возвращении получить от вас какую-нибудь весточку, но, увы, не получили.

Я в Алабине много рисовал (более трехсот рисунков, больших и маленьких: акварель, прорисованная тушью, рисунки пером). Скульптурой совсем не занимался, если не считать того, что я нашел в лесу и притащил домой, на мой взгляд, совершенно отличную голову «Пророка», которую вместе с деталями смонтировал на стенке в своей комнате в Алабине. Миша ее сфотографировал, но не знаю, насколько удачно. Мы привезли эту скульптуру в Москву, и если у меня не будет сил для посещения Подвала, то я надеюсь смонтировать эту композицию на доске и повесить на месте, которое занимал в мастерской «Христос», № 303, хотя по размеру она получится примерно в два раза больше. Нашел также в лесу нижнюю половинку скульптуры, которую пока еще не до конца себе представляю. Но из-за тяжести это чугунное «полутело» пришлось оставить в Алабине до лучших времен. Притащил также из леса остатки красного детского велосипеда, которые на меня производят очень сильное впечатление, как весьма выразительный «Лик». Надеюсь его также смонтировать на доске, а затем, прибавив некоторые детали, расписать доску, на которой все это будет размещено. Но вполне возможно, что никакой росписи не потребуется. Все эти «творческие планы» должны сопровождаться оговорками: если будут силы, если посету мастерскую, одним словом, «если»!

Кроме всего этого, начал в Алабине писать небольшой рассказ, который, конечно, разросся, и теперь не видно ему ни конца, ни края. Скорее всего этот рассказ

войдет во вторую часть МИФа, а возможно, все же получится и самостоятельное произведение. Посвящается оно моему Старшему Сыну, а называется «Капк. для мышей», или «Ежик». («Капк.» — это сокращение на товарном ярлыке, прикрепляемом к мышеловке в магазине, что полностью означает «капкан».) Этот рассказ или повесть имеет следующий подзаголовок: «Исследование формальных признаков некоторых скульптурных, живописных и графических произведений художника ИОВА Вавилоныча Судира 70-х и 80-х годов XX столетия», проведенное автором по просьбе Клара Кларовича Кунста, профессора Охумского университета, с приложением эссе «О славе...»

В связи с тем, что это исследование потребует почти полной отдачи и времени, мои планы насчет видеосъемок пока что отпадают. Тем более что камеру, которую мы надеялись получить на днях, нам не привезли. Мы видим в этом перст судьбы, т. к. эта работа сейчас была бы мне явно не по силам. Чувствую я себя сейчас скульптурой, сделанной не из металла или дерева, которые так люблю, и даже не из папье-маше, а созданием из тряпок и ваты, что до какой-то степени соответствует нынешней моде.

За лето сделали еще два больших дела, относящихся к скульптуре: установили, наконец, на Востряковском кладбище в Москве гранитный памятник Марку Гельштейну, высотой 226 см. Получилось очень красиво, но фотографий, к сожалению, пока не имеем.

И свою могилу, как мы теперь называем «Памятник родителям», привели в относительный порядок. И хотя все получилось не так, как было задумано первоначально, в общем, вся территория и прилегающая к ней часть дорожки выглядят более ухоженными. Установили камень, на котором высечены имена родителей. Но на сером камне текст читается плохо, и следующим летом что-нибудь надо будет придумывать для исправления этой погрешности. Опять же пока фотографии не имеем...

7 ноября

Дорогие Юля и Дима!

Время спешит, мы часто вспоминаем о вас, и очень часто мы устно или мысленно у вас в Москве. Жаль, что это не отражается в моих письмах или, что было бы еще намного лучше, в постоянных разговорах.

В среду я перевез около 35 скульптур в Вюрцбург на выставку, которая откроется 11 ноября. Помещение не очень большое, но совсем приличное, в помещении евангелической церкви. Священник и студенты уже долго занимались Димиными произведениями, они любят скульптуры и хотят разместить все очень хорошо, по их собственному соображению. Кроме скульптур, я привез туда большие фотографии и 13 гравюр разного типа и времени. Больше места у них нет. Мне кажется, очень важно, что принимали все вещи с большим энтузиазмом.

Открытие «Взывающего» прошло очень хорошо. Запись со всеми выступлениями (включая и твое письмо) и запись передачи «Немецкой волны» вы еще получите. В воскресенье после открытия мы еще раз были в Дюссельдорфе. Был хороший летний день, очень много людей фотографировали скульптуру, знали ее название и кто автор! Мы специально расспрашивали людей!

В связи с установкой скульптуры по радио и в печати появилось несколько статей и заметок, в которых это событие отмечено...

22 ноября

Дорогие Карлуша и Гизела!

Ты совершенно прав, когда советуешь мне больше не беспокоиться по всяким мелочам, заниматься «глобальными» жизненными проблемами, прощать ошибки окружающих. Но, к сожалению, жизнь оказывается сложнее того, что мы можем ей противопоставить.

В последнее время, а может быть, далеко и не в последнее время, а уже давно, я разочаровался в устройстве человеческого общества в целом на всей нашей планете.

— А когда ты был очарован? — спросила Юля.

— Я не был очарован, но я верил в возможность улучшения, предотвращения, короче говоря, в человеческий разум. Но с тех пор, как я очень точно сформулировал свое состояние: «Я раздавлен тяжестью ответственности, никем на меня не возложенной. Ничего не могу предложить человечеству для спасения...», глобальные вопросы занимают меня как бы по инерции моего прежнего отношения к людям, достойным названия «Homo Sapiens».

Кроме этого, по-видимому, из-за состояния своего здоровья я постепенно чувств-

вую, что жизнь моя закончилась, а ее нынешний период — это приложение и комментарий к уже завершенной жизни.

Я не хотел писать вам обо всем этом в письмах, приберегая эту тему и даже отдельные фразы, ее выражающие, для «Капк. для мышей», но понял, что эта вещь, может быть, никогда не закончится или вообще не будет написана, а еженедельные письма вам — это та реальность, на которой необходимо сосредоточиться, и считать ее способом (хотя эпистолярный жанр не мое открытие) художественного выражения своего нынешнего состояния.

Я уже давно снисходительно отношусь к ошибкам других, но до сих пор не научился прощать себе свои собственные ошибки и не предаваться сожалениям о том, что что-то когда-то было сделано мною неправильно или же вообще не сделано. Проблема самобичевания и сожаления так же должна была быть одной из главных в «Ежике». И если от глобальных проблем можно уйти в рисование или музыку, то от «мелочей» жизни не избавиться и не скрыться.

Взрослое человечество в целом напоминает детей-дебилов, играющих в страшные, смертельные игры. Но самым смешным будет, если не они перебьют друг друга, а возникнет в конце концов какой-нибудь новый вирус, от которого вымрет все человечество, и останутся на Земле одни атомные бомбы, и некому будет нажать кнопку. А вокруг нашей планеты будут вращаться многочисленные спутники, «защищая людей от гибели»...

Я думаю, что ты правильно сделал, подарив Сидорову бохумский каталог. Но не думай, что он такой уж «примитивный» и «невоспитанный». Скорее он хитрый и просто говорит то, что нужно, то, что ему приказано. Не совсем понятно, что ты имел в виду, называя его доклад «программным». Скорее всего это то, что Сидоров считает программой для советских художников? Я спросил у Кабакова, является ли он «другом» Сидорова? Оказывается, что они просто учились вместе в московской средней художественной школе. Причем Сидоров на два или три класса старше Кабакова.

Я думаю, что в искусстве я кончил тем же, с чего начал: в детстве я шил для себя куклят. А сейчас мечтаю о больших куклах-скульптурах в человеческий рост. Возможно, это произошло из-за того, что я сейчас сам чувствую себя очень часто тряпичной куклой. Я представляю нашу квартиру, наполненную десятком больших кукол, как ты, наверно, сам догадываешься, в основном женского пола, сидящих под столами, лежащих на диванах, и только одна кукла-мужчина (мой автопортрет) сидит в кресле-качалке, а на коленях у него кукла Юля... Далее мои фантазии усложняются, я сочиняю целые пьесы для своих кукол, причем с участием живых актеров-пантомимистов. Киселев, с которым мы снимали наш фильм, горит желанием поставить эти спектакли на сцене. Вот и дошел Сидур до перформансов! Во всяком случае, мне хочется, если я смогу сшить эти куклы, снять что-то вроде фильма или серии слайдов с их, своим и Юлиным участием. Если эти идеи будут развиваться, я подробнее напишу тебе в следующих письмах. Пытаюсь продлить цикл «Победитель», «Ева на венском стуле», заменяя гипс тряпками и ватой.

1986

7 января

Дорогие Карлуша и Гизела!

Время летит со страшной скоростью. В старости попадаешь как бы в совершенно другую галактическую систему, где время движется со скоростью, во много раз превышающей ту, к которой мы привыкли в молодости. Вот уже прошла неделя нового года, и мы снова пишем письмо № 1.

В нашей стране сейчас во всех газетах пишут, а по радио и ТВ говорят о «свежем ветре перемен». Т. к. пока что это только разговоры и замена начальствующих кадров, то трудно понять, что принесет с собой этот «свежий ветер» и «не надует» ли он нас. Конечно, неправильным будет утверждение, что в стране ничего не происходит сейчас, что-то явно совершается, но что, не совсем понятно. Скорее всего продолжается борьба на самом верху. Телевизионный концерт в новогоднюю ночь был менее тяжеловесен, чем обычно, а кое-что вообще выходило «за рамки». Во всяком случае, нарушались призывы Лигачева и деревенщиков-русофилов. Советское ТВ было заполнено иностранными (западными) песнями и танцами в стиле «рок». Что же касается литературной части этого концерта, то выступал сам Жванецкий. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь эта фамилия, но этот человек многие годы, а теперь можно сказать, даже десятилетия был у нас чем-то вроде подпольно-

го Арта Бухвальда в Америке. Кассеты с записями его рассказов имеются теперь практически в каждой семье. И вообще сейчас довольно туго приходится тем, кто разоблачает наши порядки в состязании с советской прессой и телевидением, т. к. «свежий ветер перемен» — это пока что в основном словесная игра. Остро критикуется практически все, кроме незыблемых устоев. И то кое-где под них пытаются подкапываться. И уж совсем смешно выглядит выступление некоторых дам по Би-би-си. Так, некая нестарая новая сотрудница Би-би-си в «Журнале культурной жизни» рассказывала о новой постановке чеховского «Вишневого сада» в Лондоне. Она говорила о том, как ей скучно было читать эту пьесу, когда она «проходила» ее в советской школе, и что она с изумлением обнаружила, посмотрев лондонскую постановку, как это интересно и здорово. Из ее рассказа мы поняли, что эта дама, просвещающая нас на волнах Би-би-си, ни разу не видела чеховского «Вишневого сада» у себя на родине, не говоря уж о новаторской постановке Эфроса в Театре на Таганке, осуществленной еще при Любимове, и о классической постановке мхатовской интерпретации, созданной еще при самом Антоне Павловиче. В тот вечер, когда шла эта передача, Би-би-си почему-то глушили меньше обычного и многие слушали этот рассказ о «Вишневом саде», а потом веселились, считая его новогодней шуткой...

12 января

Дорогие Юлия и Дима!

...Я проводил время, не замечая его, а только теперь я вижу, что я просто не заметил, как быстро все это произошло. Жизнь очень напористая, интенсивная, и часто думаешь: «Ах, вот как, это твой крест». Чувствуешь себя (как Сидур говорит) инструментом кого-то другого или каких-то других, рабом будто бы других, а на самом деле — для себя самого. Слава Богу, Гизела меня иногда останавливает, дает мне чувство передышки, отвлекает меня... Но есть чувство огромной ответственности перед Богом и миром, перед очень многими людьми (даже перед такими студентами, которые не лишены чувства к самоубийству во время подготовки к экзаменам. С ними, конечно, ведешь иногда почти бесконечные разговоры, потому что трудно их уговаривать и т. д.). Но оставим все такие вопросы, вам известные по вашему собственному опыту. Ясно, что в жизни преобладает «быт», а высокие идеи проявляются только изредка.

Надеемся совершить вместе еще многие вещи (книги, альбомы, выставки, установки скульптур и т. д.). Хороша была бы общая нормализация между нашими странами, чтобы и поездки, и культурный обмен осуществлялись легче, чем обычно, чем до сих пор. Хотелось бы, чтобы высказывания скульптур «эпохи равновесия страха» потеряли смысл и остались только отражением искусства и атмосферы определенного времени... Но поскольку такое пожелание пока только мечта, придется заниматься целеустремленно книгой о 70-х годах!

Поездка в Москву еще немножко откладывается, потому что февраль — слишком рано и по различным причинам неудобно.

Кстати говоря, правда, что радиопередачи об СССР, такие, как ВВС, другие статьи, сильно отстают и являются западным вариантом «хвостизма»! Все ваши впечатления, соображения и т. д. для меня крайне интересны и нужны. То же самое относится к интерпретациям вашей «проветренной ситуации»...

11 февраля

Дорогие Карлуша и Гизела!

Очень обрадовались вашим письмам от 30.1 и 1.2.86 г., а также письму Раи и Левы (Л. З. Копелев и Р. Д. Орлова. — К. А.). Письмо Левы написано таким ужасным почерком, что его каракули требуют специальной расшивки. К следующему разу мы эту работу сделаем, перепечатаем текст на машинке и копию отправим вам.

Весь ужас в том, что почти все главные скульптуры 70-х годов неизбежно будут разрушены, т. к. скрепить их теперь при моем состоянии здоровья совершенно невозможно. Печальная участь ожидает «Гробы», «Железную леди», «Женщину за решеткой», «Саломею», «Современное Распятие» и некоторые другие. Они могут быть сохранены для потомства только в книге или в фильме. Но так как с кино дело обстоит невероятно сложно, я снова склоняюсь к тому, чтобы приобрести видео.

...Смотрели третью передачу о литературе и театре. Впечатление совершенно ужасное. Подробная картина деградации искусства в те годы, которые я сам хорошо помню. Унылая пародия на Третий Рейх. Лучше, чем Пушкин, сказать не могу: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуясь, и

горько слезы лью. Но строк печальных не смываю». Тем более что на фоне всеобщего восхваления и маразма три малюсеньких кусочка хроник о встрече молоденького Шостаковича со старым Немировичем-Данченко и совершенно замечательный кусок, сыгранный великим Михоэлсом,— смерть короля Лира в спектакле, им же поставленном. Теперь увидев, никогда не прошу себе, что не успел побывать в этом театре, и буду счастлив тем, что все же увидел этот двухминутный эпизод по телевидению. Прочли стихи Цветаевой и сказали, что она вернулась на родину... И ни одного слова о том, как жили эти люди: «счастливцев» Шостакович, которому едва не оторвали голову, зарезанный Михоэлс и повесившаяся Цветаева. Писал слова «как жили», а думал о том, как погибли. Четвертый фильм из этого цикла смотреть не стали.

— Слишком большая роль придается изобразительному искусству нашей партией и правительством,— сказал я.— От этого многие беды происходят.

— Значит, оно того заслуживает,— сказала Юля...

18 февраля

Дорогие Карлуша и Гизела!

С большим трудом, но все же успешно мы расшифровали иероглифы последнего Левиного и Раиного письма к нам. Не одолели только одного слова. Скорее всего это эпитет, не имеющий существенного значения. Перепечатали текст письма на машинке и решили отправить вам, т. к. письмо интересное в принципе и в большой степени касается нас с тобой обоих, Карлуша.

Прошлое наше письмо заканчивалось тем, что, когда я прочел платоновский рассказ «Джан» в новом издании, я подумал, что сошел с ума... Сейчас я коротко объясню, из-за чего это произошло. Дело в том, что в томе избранных произведений Платонова, «Московский рабочий», 1966, после всех попыток героя рассказа Чеготаева сделать свой маленький вымирающий народ сытым и счастливым люди все же ушли, предпочтя свободу вымирания непонятному счастью. Меня поразили последние слова рассказа: «Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом...» То есть Платоновым была высказана идея совершенно противоположная насильственному приобщению к счастливой жизни всех без исключения в тоталитарном государстве. Причем каждое тоталитарное государство может понимать счастье человека по-своему, но это уже не имеет значения. В новом же томе серии «Мастера русской прозы XX века»: Андрей Платонов. Повести и рассказы. Лениздат, 1985 год, к моему любимому рассказу, вернее, к повести «Джан», припилено еще 24 страницы текста, искажающих главную идею автора и уничтожающих (конечно, не полностью, т. к. полностью Платонова уничтожить невозможно) художественную ценность этого произведения. Зато в повести «Сокровенный человек» выброшен целый очень важный абзац о том, как икону с Георгием Победоносцем переделали в агитплакат, заменив голову Георгия головой Троцкого, из чего можно заключить, что в нынешние времена само слово «Троцкий» и упоминание о нем в любом виде невозможны.

Таким образом, чем больше проходит партийных съездов, чем больше генеральных секретарей появляется в нашей новейшей истории, тем меньше правды доносит до молодых поколений эта невероятно важная наука — **история**. Сейчас очень любят цитировать Пушкина в связи с его высказыванием о том, что плох тот народ, который не знает своего прошлого, и всячески призывают к изучению тех моментов истории нашего государства (главным образом в его далеком прошлом), которые утверждали бы патриотизм и «исконность» всех земель, завоеванных и «добровольно присоединившихся» к «державе». Что же касается новейшей истории и нашего XX века, то она, как в стародавние времена, до существования письменности, передается устно от отца к сыну или дочери, от деда к внукам. Поэтому на нашем поколении лежит особая ответственность перед молодыми. Когда исчезнем мы, то им просто не от кого будет узнать, что Цветаева повесилась, что Михоэлс был зверски убит, что музыку Шостаковича называли «сумбуrom», какой была коллективизация и даже, какой была война, т. к. в последних кинофильмах на эту тему, показываемых по ТВ, появилась новая тенденция — мы побеждали с самого начала, только победа давалась медленно и с трудом. В те далекие времена газета (какая, к сожалению, не помню) написала: «Враг продолжает трусливо наступать». И, конечно, вам с Гизелой, Карлуша, когда вы будете писать о послевоенном советском искусстве, ни в коем случае нельзя забывать о том, что многое из истории этого периода вы скажете молодым заново. Я бы не стал столь подробно останавливаться на этой теме, если бы чувствовал, что

русские эмигранты смогут проделать эту работу за вас. К огромному сожалению, чем больше мы слышим по радио (сейчас, к весне, кое-что стало пробиваться к нам из-за кордона), тем больше мы убеждаемся, что история заграничными русскими искажается так же интенсивно, как и проживающими в метрополии официальными делателями истории.

На днях слушали шведское радио, по которому выступали художники-эмигранты, график и скульптор, возрождающие 20-е годы. Было кое-что интересное в их рассказе о том, как многие русские художники идеализируют жизнь на Западе перед эмиграцией, о том, как трудно пробиться. Но когда мы услышали, чем они занимаются сами, мы начали криво улыбаться, глядя друг на друга. График рассказал, что он иллюстрирует давно им задуманную книгу «Ленин-сатана», которая вскоре должна выйти в итальянском издательстве Мондадори на четырех языках с предисловием Войновича. Кроме этого, он занимается плакатами, исключительно в красном цвете, изображающими советский герб, серп и молот в устрашающем виде. В гербе он колос заменил клешнями красного рака, а молот заменил топором. Мы как постоянные читатели «Правды» настолько привыкли, какими страшными выглядят американские и немецкие орлы в изображении наших умельцев, что никак не могли проникнуться ужасом красной символики художника-эмигранта, который безапелляционно утверждал, что он очень большой профессионал. Не смог нас убедить и скульптор, развивающий 20-е годы, изображая красные квадраты в супрематическом пространстве. Они даже немножко поспорили между собой. Скульптор сказал, что советский нонконформизм в искусстве и музеев в Монжероне, которому как раз сейчас исполнилось 10 лет, сумели заинтересовать западную публику. На что график возразил (цитируем весьма примерно): «Мы же с тобой работаем в этом самом искусстве и прекрасно знаем, что никого наш нонконформизм не заинтересовал на Западе и музеев в Монжероне не помог. Устроились хорошо только те, кто стал работать на потребу зрителей, потакать вкусам бургеров (у нас «вкус бургеров» означает мешанский вкус). Я знаю таких человек восемь».

Невероятно скучно последний свой роман читает по радио «Свобода» Синявский. А его жена каждые две-три минуты комментирует прочитанное мужем: «Конечно, вы, дорогие радиослушатели, поняли, что в этом месте Андрей Донатович иронизирует. А сейчас (когда речь идет о другом отрывке) он сожалеет» и т. д. Короче говоря, то, что для них всех является животрепещущим настоящим, для нас — уже древняя история. Нам уже не только Ленин не интересен, не говоря уж о Столыпине, но и Сталин! А занимают нас товарищи Горбачев, Рыжков, Лигачев. Мы вместе с ними являемся участниками современного исторического спектакля, и от того, как будет разворачиваться его сюжет, насколько динамичным будет действие, зависит наше сегодня и завтра, наше благополучие и жизнь...

25 февраля

Дорогие Карлуша и Гизела!

Сейчас по ТВ и радио выступает Горбачев с речью на XXVII съезде партии, которая по идее должна определить будущее всей нашей страны и наше в том числе. Но мы выключили все средства информации в своей квартире, за исключением телефона, и пишем вам, очевидно, потому, что вы для нас, несмотря на разделяющее нас расстояние, являетесь большей реальностью, чем многое и многие в Москве. Подробнее о речи Горбачева мы, очевидно, напишем вам в следующем письме. А пока что о предсъездовской обстановке можно сказать, что «паровозу» приказано было пыхтеть, но не сказано, куда ехать: вперед, назад, вправо или влево. Вот он и пыхтел во всех областях, пыхтел, гудел, коптил «свежим ветром перемен», но с места не трогался. Теперь же должен, наконец, поехать — как, куда и насколько быстро, узнаем, наверное, довольно скоро. Меньше всего «пыхтения» было в Союзе художников, больше всего — в области театра, где выдвигались самые экстравагантные предложения о самоокупаемости, рентабельности и прочем. Меньше у писателей. А у нас совсем мало, видимо, потому что мы и так «рентабельны». Заводы, фабрики и всякие художественные промыслы, принадлежащие Худфонду, вероятно, окупают все, что расходуется на прокорм и более или менее приличное содержание огромного количества наших «мастеров кисти и резца». Сегодня мы пошлем вам две вырезки из «Литературной газеты» с фотографиями живописных полотен и скульптур, экспонируемых на Всесоюзной художественной выставке «Мы строим коммунизм». Кое-что подобное мы вам уже посылали, и, как вы смогли убедиться ранее и убедитесь теперь, «пыхтеть» нам, художникам, действительно пока нет надобности. Посылаем также вырезку из

«Правды», посвященную 90-летию Жданова. Статья написана в совершенно апологетическом духе. Можно даже сказать: о Жданове в «стиле ждановщины». Несмотря на то, что посылаем статью, хочется все же привести из нее небольшую цитату в этом письме: «Его выступления отличали принципиальность, не допускающая никаких отклонений от генеральной линии партии, никаких компромиссов с враждебной советскому народу идеологией, жгучая ненависть к классовой противнику». И другая: «Отличительной чертой А. А. Жданова было блестящее умение всестороннее анализировать сложнейшие проблемы политической экономии, философии и культуры. В то же время глубину научной мысли, энциклопедичность знаний, масштабность идей он сочетал с драгоценнейшим качеством пропагандиста — в ясной, образной и доступной форме доводить идеи коммунизма до широких масс». Я сам прекрасно помню, как он это делал, а ты знаешь из книг об этом его умении. Как этот «энциклопедист» называл гениальную музыку Шостаковича «сумбуrom», поэзию Ахматовой «будуарной», а великого Зошенко втоптал в грязь. И погубил в эпоху «ждановщины» весь цвет нашей культуры, чудом доживших после революции и 30-х годов до послевоенного времени. А теперь, как заключает статья, имя его «хранится в памяти народной», ибо дело, которому он отдал «пламенную энергию своей короткой жизни — дело коммунизма — бессмертно!» Можно было бы так долго и подробно не останавливаться на этой отвратительной личности, если бы период «ждановщины» не был в моей собственной жизни поворотным периодом полного разочарования идеалов своей молодости...

Сейчас всем своим существом чувствую приближение 7-го марта*, дня, который считаю равным своему дню рождения, а может быть, даже чем-то более значительным, т. к. свое появление на свет люди не помнят, а этот день я вижу невероятно реально сквозь сорок два года — срок, способный замутить любые воспоминания. Тут же ясность воспоминаний невероятная, абсолютная!

Два дня назад привезли вторую мягкую скульптуру, то бишь куклу. На этот раз совершенно прекрасную в своей невинности. Она днем сидит на моей кровати, а ночью лежит на том диване, на котором всегда спал ты, когда ночевал у нас. Я чувствую, что если дело пойдет в таком темпе и осуществится весь цикл задуманных мною скульптур, то мы с Юлей будем вытеснены в конце концов в кухню, а может быть, даже и на лоджии, когда наступит теплое время. А в комнатах будет проживать мой большой мягкий гарем...

25 марта

Дорогие Карлуша и Гизела!

Продолжаю работать над мягкой скульптурой. Теперь у меня, кроме «Сидящей в кресле-качалке» («Блудная дочь»), есть еще две девушки-близнятки. Днем они сидят на моей кровати, нежно переплетая ручки, а на ночь я укладываю их на «твой» диван друг на друга, как два матрасика. Лежа они также представляют собой довольно впечатляющее зрелище. Но их каноническая поза — это дневная. Сейчас готовлюсь еще к одной скульптуре, но о ней напишу после окончания работы. Боюсь сглазить, уж слишком много лет прошло с тех пор, когда мне впервые захотелось ее сделать.

В нашей «общественной жизни» словоблудие расцветает столь пышным цветом, какого не было, как пишут в «Правде», в «известное время», именуя этим термином эпоху Брежнева. Много говорят о морали, чистоте нравственной и телесной, о том, что литература, телевидение и театр способствуют развитию «адюльтера» в то время, когда надо укреплять семью и т. д. и т. п. Кое-что о культурной жизни мы с Юлей написали в большом письме Рае и Леве. Скорее всего там нет для тебя ничего нового, но все же прочти это письмо, когда у тебя будет время.

Недавно слышали по «Голосу Америки», как неоамериканец Шемякин обозвал Европу «сонным царством» и говорил о том, что бывшие неконформисты в СССР живут теперь вполне сносно, не подвергаясь никаким преследованиям, и даже процветают. Слушая это, я еще раз подумал о том, что само название «неконформист» несет в себе зачатки будущего конформизма. Неконформист почти всегда превращается в свою противоположность. В то же время практически все, что делаю я, не являясь ни диссидентом, ни неконформистом, не подходит, и не подойдет, и даже не приблизится к нашему официальному искусству никогда. Во всяком случае, даже в самом отдаленном обозримом будущем. Ни «Гроб-Арт», ни «Железные Пророки», ни «Железные леди» и даже их антиподы — «Райская жизнь в коридоре», «Адам и Ева» на шкафу и мои новые мягкие скульптуры. Так же невозможен в нашей офи-

* Ранение на фронте 7 марта 1944 г.

циальной литературе платоновский «Котлован» или «Чевенгур». В письме к Леве и Рае мы написали, что изучаем Платонова, «как Ленина», много раз перечитываем, восторгаемся, ужасаемся, особенно упомянутыми выше, не опубликованными у нас романами.

Мы написали: «Изучаем Платонова, «как Ленина», имея в виду познание революции с двух разных позиций. Революционера, совершающего эту акцию сверху, и наблюдателя (в данном случае Платонова), страдающего внизу. Я почти уверен, что Платонов — энциклопедия нашей послереволюционной жизни от самого начала и до нынешних времен, хотя сам автор не пережил даже Сталина.

Писал, писал тебе, пытаюсь объяснить иронию фразы: «Изучаю Платонова, «как Ленина», потом почувствовал, что запутался окончательно, а не сказал главного, что Ленина не изучаю вовсе. Мне нравится у Ленина только одно выражение: «Нэп — это всерьез и надолго». И горько сожалею, что последователи Ильича не послушались своего вождя...

8 апреля

Дорогие Карлуша и Гизела!

У нас все было бы совсем неплохо и скорее даже хорошо, если бы не резкое ухудшение моего здоровья за последнюю неделю. Очень сильно обострилась стенокардия, и мое самочувствие напоминает то предынфарктное время, которое мы пережили почти полтора года назад. Но тем не менее мы с Юлей стараемся не терять присутствия духа и надеемся, что стабилизация погоды принесет некоторое облегчение и мы снова на какое-то время обретем сносное самочувствие и даже работоспособность.

Мы, кажется, уже писали вам о том, что следующей мягкой скульптурой должен быть «Висящий» (см. стр. 156 констанцской книги). Мы с Мишей уже прикрепили к стенам и потолку в моей комнате соответствующие палки на черных проводах. «Висящий» должен располагаться над моей первой мягкой скульптурой, фотографии которой вы имеете (теперь она называется «Блудная дочь»). И обе эти скульптуры должны представлять единую композицию под названием «Автопортрет с блудной дочерью».

Несколько дней назад, когда мое самочувствие было еще не столь плохим, я приготовил выкройки для «Висящего», и теперь Людя, молодая художница, которая мне помогает, шьет «тело» этой скульптуры. Надеюсь, что несмотря ни на что я все же смогу закончить эту композицию.

Посылаю тебе интервью с Сидоровым, опубликованное «Правдой» от 6 апреля 1986 года. Я даже не подчеркивал особо важных мест, как я делаю обычно, потому что в этом интервью надо было бы подчеркнуть почти все. Обрати внимание на то, как сформулированы вопросы. В них уже заранее содержится нужный ответ. Мне хочется, чтобы ты и твои коллеги поняли, что дискуссия с Сидоровым невозможна не потому, что они «плохие» или «глупые», а из-за того, что эти люди находятся на работе, которую они выполняют добросовестно и с рвением. Сидоров, может быть, глупее Феликса Кузнецова, но это не имеет никакого значения. Оба они дружно делают то, что им приказывают в данный момент. Прикажут им стать «прогрессивными», станут «прогрессивными», но пока, к сожалению, в обозримом будущем такого приказа не предвидится. Скорее наоборот! «Новые веяния» — это, на мой взгляд (я имею в виду культуру и искусство), призыв к старому: то есть слишком много свободы было в последнее время, распустись, пора с этим кончать, усилить партийное руководство и т. д. и т. п. Все это ты сам прочтешь в интервью с Сидоровым. «Воняет ждановщиной», и тем не менее в Хаммеровском центре, как говорят, оборудуют специальный зал для торговли произведениями советского искусства с Западом. Очевидно, Запад найдет, что купить в этом зале. Сейчас в Москве проходит французская выставка. Когда я еще некоторое время назад выходил гулять, многие художники говорили мне, что экспонируемые там картины являются апофеозом «красивости» и мещанского кича. Они были поражены и восклицали: «Даже хуже, чем у Шилова! Как это может быть?!»

Некоторое время назад я поехал с Мишей за Левочкой.

Медведково, где сейчас проживает Надежда со своим новым мужем, находится от нашего дома примерно на таком же расстоянии, как Алабино. Москва разрослась невероятно. Я подобно нашим членам Политбюро, которых теперь сменили, уже лет десять — пятнадцать никуда не выезжал дальше центра Москвы. Поездка с Мишей потрясла меня. Я увидел районы с невероятно убогой архитектурой, выстроенные с предельно плохим качеством, жуткие разбитые дороги, огромные лужи, грязь, унылость. «И это столица! — думал я. — Что же делается на периферии?» И

нигде ни одного дерева, только жалкие хилые прутики, которые, очевидно, высаживают ежегодно взамен погибших собратьев...

15 апреля

Дорогие Карлуша и Гизела!

Мы вам уже писали об ухудшении моего здоровья в последнее время. Но неделю назад «ускорение ухудшения» стало столь значительным, что повергло меня в лежачее состояние. Особенно страшновато бывает по утрам при просыпании, когда у меня начинаются сильнейшие стенокардические приступы. Отчего произошло столь сильное ухудшение моих сердечных дел, не совсем понятно: то ли время наступило для нового этапа, то ли погода в Москве сейчас стоит невероятно скверная. Почти ежедневно дождь со снегом.

Как вы сами понимаете, те обстоятельства, о которых мы вам написали, весьма серьезно отразились на нашей деятельности. Прежде всего законсервировалась на какое-то время работа над «Висящим», хотя, как говорится, я сплю и вижу его в законченном виде. Не могу умереть, не завершив. Я думаю, это должна быть одна из лучших моих скульптур сама по себе, а в композиции с «Блудной дочерью» — еще более значительной. Сегодня мы пошлем вам фотографии «Девушек-близнецов», которые до моей болезни днем жили на моей кровати, а ночевали в библиотеке. Теперь они днем лежат на Юлиной койке, а ночуют опять же в библиотеке. Фотографии не очень совершенны, но все же дадут вам представление о том, как «близнята» выглядят. В натуре, когда видишь их неожиданно из прихожей, они производят совершенно неотразимое впечатление. Это я говорю не только потому, что я их «отец», так считают все, кто видит наших красавиц. На фотографиях может показаться, что их ножки касаются пола, но на самом деле это не так. Между пальчиками на ногах и полом остается еще сантиметров пятнадцать. Обычно с утра я приносил и усаживал сначала первую девушку, потом подсаживал к ней вторую, а затем они принимали, так сказать, «каноническое» положение. Но при фотографировании я не доглядел, и косичка у левой девушки не висит, как ей положено, а лежит на плече.

Мы поняли, что ежедневные перемещения «Девушек» — дело сложное и не полезное для их формы. Когда выздоровлю, необходимо будет придумать для них постоянное место жительства. В этом смысле — идеальное место у «Блудной дочери».

Несмотря на все болезни посылаю очень мутную статью из «Литгазеты» за подписью «Литератор», а также еще одну, если поместится (слишком уж толстое письмо получится), «Отчет заседания Правления СП СССР по поводу XXVIII съезда КПСС» с кратким изложением выступления Ф. Кузнецова, которого похвалил Грибачев...

29 апреля

Дорогие Карлуша и Гизела!

К огромному сожалению, мои сердечные дела не только не улучшаются, а в последние дни значительно ухудшились. Вы очень хорошо знаете, как я не люблю больницы и как усиленно я сопротивлялся предложениям своих друзей-врачей, но я сам почувствовал, что выхода, пожалуй, нет, придется подчиниться. Тем более что возникла возможность поместить меня во Всесоюзный кардиологический центр, где условия пребывания и лечение должны быть значительно лучше, чем в других больницах обычного типа.

Больше всего мне обидно уезжать из дому, не закончив работу над «Висящим», который пока что в виде примитивной заготовки хранится даже не у нас, а у той девушки-художницы, которая помогает мне в осуществлении мягких скульптур. А у меня в комнате над «Блудной дочерью» на назначенных для «Висящего» палках располагается бумажная выкройка с прорисованным лицом, которая дает, хотя и весьма отдаленное, но все же довольно сильное представление о том, какой должна быть эта скульптура в законченном виде. А должна быть она не менее выразительна, чем на последнем рисунке в Карловой книге.

Надеемся, что вы уже получили и прочли статью об «А-Я», опубликованную в «Московской правде» (20 апреля 1986 г.). Пока никаких действий со стороны Союза художников и других «органов», которые явно участвовали в этом деле, не последовало. Да и вряд ли что-нибудь произойдет раньше окончания празднования Дня Победы, а скорее всего, судя по нашему прошлому опыту, даже гораздо позже. Хотя времена изменились и «интенсификация», которую требует наше руководство в промышленности и в сельском хозяйстве, возможно, распространяется также на область идеологии. Если будем живы, поглядим еще все вместе, как будут развиваться события. Во всяком случае, хотим еще раз подчеркнуть, что подобной статьи в советской прессе, если не считать опусов Н. Яковлева о Сахарове и Боннер, не появ-

лялось со времен «Миши Скамейкина». Необходимо также обратить внимание, что все намеки и угрозы, адресованные Гороховскому* и другим, косвенно относятся также и к тем художникам, «которые, казалось бы, должны отличать черное от белого». И к которым обращен патетический вопрос: «Как долго они собираются это терпеть?»

Западная пресса и радио (которые мы довольно внимательно пытались слушать последнее время, несмотря на тяжелое состояние моего здоровья) пока что молчат по поводу интересующей нас публикации. Тут возможно несколько объяснений: во-первых, статья опубликована в «Московской правде» и относится в основном к московским художникам, а «Московская правда» — газета все же областная, а не всесоюзная, хотя наша столица и ее область могут быть приравнены по значению и количеству населения к довольно большому европейскому государству. Мы считаем публикацию этой статьи именно в «Московской правде» довольно хитрым ходом ее авторов. Вторая причина «незамеченности» статьи об «А-Я» — это более глобальные проблемы, угрожающие не только маленькой группе художников, такие, как ливанский кризис, ядерные испытания в Неваде, «звездные войны» и тому подобное, хотя, как нам кажется, судьбу маленькой группы московских художников ни в коем случае нельзя отделять от этих глобальных проблем. Третья же причина «невнимания» к статье — это **нежелание** многих на Западе видеть в настоящее время что-то негативное в действиях нашего нового динамичного руководства, обещавшего «свежий ветер перемен». Во всяком случае, та же Эльфи Зигль сразу же обратила внимание на статью в «Московской правде» и, возможно, даже информировала свои газеты, редакторы которых не сочли нужным опубликовать ее материал. Все это, конечно, пока только наши предположения, т. к. из-за моей болезни мы ни с кем не смогли повидаться лично.

Во всяком случае, статья в «Московской правде» явилась логическим завершением всего того, о чем мы вам писали в досъездовский и послесъездовский период. А также вырезки из газет, которые мы вам посылали в подтверждение своих мыслей и чувств.

Надеемся, Карлуша, что ты снял для себя копию нашего последнего письма Копелевым, в котором мы также попытались рассказать им то, о чем ты давно знаешь, затронув также вопрос о единстве культур в эмиграции и метрополии. В этом письме мы написали, что, несмотря на относительно хорошую жизнь, мы все же напоминаем людей, сидящих в клетке со львами, причем наши головы находятся в пасти этих «царей природы», которые могут сомкнуть челюсти в самый неожиданный момент. А эмигранты при всех трудностях их жизни являются зрителями в этом «цирке». При таком распределении ролей совершенно неизбежны весьма различное отношение к одним и тем же событиям и невозможность при всем желании создания единой русской культуры в переживаемый нами момент. Создаваемое в метрополии и в эмиграции, возможно, будет рассматриваться исследователями как нечто единое с высот будущего, точно так же, как вся наша цивилизация через пятьдесят тысяч лет для будущих исследователей будет выглядеть единым периодом, включающим, скажем, в одно культурное целое три тысячелетия до Рождества Христова и два тысячелетия после этого события. Конечно, все, что я пишу и утверждаю, нужно рассматривать как нечто очень субъективное, высказанное одиночкой, который в силу ряда обстоятельств, связанных с характером, отношением к искусству, состоянием здоровья, не чувствует единства не только с Союзом художников, к которому принадлежит, но даже с минимальной группой единомышленников, если не считать собственной жены и двух-трех молодых друзей, которые тебе прекрасно известны. Необходимо также учесть, что все мои соображения основаны большей частью на «чувстве шкурной», что всегда должно быть свойственно художнику.

В своем ответе на наше большое письмо Рая выразила, насколько мы поняли, некоторое несогласие с нашей оценкой существующего положения в СССР. Она отметила прогрессивные высказывания всегда разрешенного у нас Героя Социалистического Труда Г. Товстоногова и другие подобные черты нашего времени, забыв, на наш взгляд, то, что в основном «свежим ветром перемен» наслаждаются и раздувают его именно люди, «стоящие у трона» (иногда на коленях). Почти все они масти, отмечены высокими наградами, всегда говорили и говорят все, что нужно в **текущий момент**. Кроме того, Рая немножко позабыла основное свойство нашей государственности и «демократии» — несоответствие слова и дела, а также неадекватность понимания одних и тех же терминов. Когда говорят «о сороки в искусстве», что сейчас ужасно модно, это не значит, что я, ты и Зайцев понимаем эти слова однозначно...

* Э. Гороховский — художник, один из главных «героев» статьи в «Московской правде» (20 апреля 1986 г.).

1 мая

Дорогие Юля и Дима!

Ваше последнее письмо и приложенные вырезки из газет нас очень взволновали. Димино состояние, агитационные выпады, предчувствие самых разных возможных мероприятий с разных сторон, все это, вместе взятое, уже слишком. Даже отдельного факта из этого ряда «обстоятельств» хватило бы! И к тому же еще атомная катастрофа, о которой мы все очень сожалеем, но которая в то же самое время лишний раз показывает относительность всех и всяческих дел, которыми мы и наши неприятели заняты. Нас очень поражают, но не удивляют самоуверенность, спокойствие и даже высокомерие тех, кто сообщает в последние дни нам и вам о событиях в Чернобыле. И самое страшное в том, что даже в такой, до какой-то степени почти неограниченной, катастрофе советская сторона безответственным образом делает вид, как будто почти ничего не случилось. Но независимо от этого надеемся, что Димины предвидения мутаций не окажутся реальностью!

Статья Степанова на самом деле страшновата. Ее тон мне совсем не понравился. Пахнет грозой, которая начала развиваться уже при Андропове (смотри статью, точнее, постановление в «Правде», август 198?, к сожалению, она теперь лежит в институте, так что я не в состоянии дать вам точные данные). Она в первый раз после Хрущева «воняла», даже очень (!), ждановщиной. По сведениям одного видного советского критика, бывшего у нас проездом, статья представляла собой третий, довольно сглаженный вариант более резкого текста. Судя по этому и по всему развитию в сторону «облегчения» — «ухудшения» в период, условно говоря, до 20 апреля 1986-го, видна, с одной стороны, неразрешенность многих вопросов руководства в области культуры до самого последнего времени, и, с другой стороны, что правые в конце концов все-таки победили. Хотя верно и то, что готовилась эта статья, по-видимому, уже давно, факт, что она все-таки появилась не раньше, подтверждает эту предпосылку. Статья как таковая направлена меньше всего против названного в ней журнала «А-Я», а скорее всего в первую очередь против группировок некоторых «молодых» художников (об искусстве которых можно спорить) и, во-вторых, против некоторых, в принципе везде признанных и общеизвестных художников, которые в этом случае служат рычагом, чтобы сплотить Союз художников, чтобы ограничить «недрузгов здесь и там». Эти попытки имели место и в 70-е годы после «бульдозеров»* и вообще принадлежат к основному репертуару большевистского движения — взять под контроль область культуры, которая фактически не полностью подлежит цензуре. Кроме того, более чем очевидно, официально признанные художники, которые пользуются привилегией путешествовать «во все стороны», на Западе неизвестны. Их культурная миссия все время оговаривается наличием «неизвестных малых». Мертвость культурной атмосферы, опосредное самодержавие и вообще непризнанность почти всего большинства официального искусства среди интеллигенции (которая и проявляется в его неэффективности) — все это и принуждало выдумывать себе «противников» (хотя их число при условии, что они вообще «противники», ничтожно мало). Пышно и с восхищением все время и повсюду подчеркиваются собственные «успехи» (как будто возможные успехи в области искусства), указывают на достижения и т. п. и пр. Факт, что, кроме «них», есть еще «другие», которые портят настроение и мешают их «миру» и «самодовольству». Кроме того, если в атмосфере «свежего ветра» почти всех критикуют, то самая лучшая защита в том, чтобы самому бороться против противников!

Хотя очевидно, что правые «победили» и определяют тон в прессе, пока еще не окончательно ясно, в какую сторону истолковывают в конце концов разные «культурные группировки» те фразы по искусству и литературе самого Горбачева на съезде партии, которые носят в принципе довольно открытый (сибилический) характер. Очень надеюсь, что на вас не давят, а оставляют вас лично в покое. Собственно говоря, уже достаточно, если статья действует на тех, которые еще не окончательно покинули гнездо!

Вот это все на сегодня.

Письмо это написано на маленьком компьютере. Надеюсь «достать» русский шрифт. Но я уверен, что вы привыкнете читать такие письма и в латинской транскрипции...

3 мая

Дорогие Карлуша и Гизела!

Пишем вам из больницы. Больница не простая. На всем постельном белье чер-

* Выставка художников-нонконформистов под открытым небом, разогнанная властями 15 сентября 1974 г. в Москве.

ные штампы, особенно ярко выглядящие на белом: «Бельевая ВКНЦ АМН СССР», что гораздо более соответствует тексту, процитированному «Московской правдой» в статье об «А-Я» в том месте, где говорится о трамвайных билетах, кассовых чеках и прочей подобной чертовщине. Штамп на постельном белье моей кровати расшифровывается следующим образом: «Всесоюзный кардиологический научный центр Академии медицинских наук СССР».

Я попал в это учреждение по рекомендации моего друга, актера Театра на Таганке Вени Смехова. Лежу я на иностранной кровати Merivaaga, оборудованной всякими ручками и педалями, как Карлушин автомобиль. А Юлия пишет под мою диктовку в очень удобном мягком кресле...

Вы очень хорошо знаете, как мне не хотелось в больницу. Но, увы, выхода не было! Последнее время ночные и дневные стенокардические приступы настолько усилились, что даже я понял, что промедление смерти подобно. Миша съездил за всеми соответствующими бумагами для помещения меня в Кардиологический центр, потом они с Юлей 30 апреля, в канун 100-й годовщины 1 Мая, переправили меня из любимого мной мира нашей квартиры в очень удобную, но чужую больничную палату, несмотря на все удобства, все же являющуюся разновидностью камеры.

Обычно в больницу не рекомендуется попадать в воскресные и праздничные дни, т. к. весь лечащий персонал отдыхает, а дежурят те, кому не повезло. Настоящее лечение начинается с возвращением страны к «трудовым будням».

Как это ни странно (возможно, это впечатление ложное), нам кажется, что после таких статей, которая появилась в «Московской правде», некоторые из ваших начинают чуть-чуть терять храбрость. Их можно понять, но все же жаль, что так происходит. Ни при каких условиях нельзя давать себя запугивать нашими функционерами, подобными той делегации художников, которые приехали для переговоров с Deutsche Bank о предстоящей выставке. Ты их превосходно описал в своем письме — их сознание полной власти, защищенности от любых превратностей судьбы и самодовольство.

Кстати, с тех пор, как появились призывы покончить с «серостью» в искусстве, эта самая пресловутая «серость» расцвела до такой степени, что искусство предыдущей эпохи кажется нам теперь невероятно ярким и острым, как по форме, так и по содержанию. Особенно убоги развлекательные субботние передачи.

Опять же в пресловутом журнале «А-Я», если внимательно прочесть статью в «Московской правде», целый период советского искусства пытаются изобразить, как эпоху лубочных открыток с надписью «Люби меня, как я тебя!». Но мы не стесняемся обратиться к вам с Гизелой с этим же призывом.

18 июня

Дорогие Юлия и Дима!

Сегодня мы получили ваше 15-е письмо в этом году. Оно нас очень огорчило, и мы волнуемся о Диминим здоровье, хотя мы и надеемся, конечно, как и вы, и ваши друзья, на более сносные времена. Держитесь, в прямом и в переносном значении слова, мы все в вас нуждаемся. Постараюсь сегодня вечером позвонить.

Правда, антология почти готова, конференция прошла, по мнению всех, очень успешно. Русские не приехали, даже не дали им ответить, чехи отказались в самую последнюю минуту. Приехали венгры, поляки, ученые из Израиля, США, Канады, Голландии, Швейцарии и Германии. Восточным немцам тоже не дали приехать!..

На днях была первая встреча с русской делегацией в Deutsche Bank (Дюссельдорф). Русские советские художники интерпретируют тему так: «Жизнь во время войны и без войны» и собираются включить «жизнерадостные» произведения типа Жилинского, Шилова и других «кичистов», но, конечно, и «традиционные» мирные пейзажи. Исключить хотят любую героизацию отдельных лиц, сражений, боев и т. д. (в отличие от меня; я хочу, чтобы немцы и советские показали страшные примеры призыва к «науке ненависти» и чтобы никто не замалчивал ни «ошибок», ни манипуляции умами простых людей). И если советские хотят подчеркивать разницу между «правильными» и «неправильными» войнами, то мне хотелось бы понять феномен войны как экзистенциальное потрясение каждого отдельного человека или группы людей. Личностное начало в хорошем и в самом худшем смысле, кажется, самое важное. Как только получу полный список художников и произведений, который предлагает советская сторона, я вам его pošлю. Сравнивая выставку в Манеже «20 лет Победы» с теперешним предложением, видно, что много теперь исключено, что разная установка на советского зрителя и на немецкого зрителя очевидна. Очевидно также, что в нынешнее предложение включена особенно «новая элита». Вообще видно, что руководящие «кадры» бесконечно «сыты», самодовольны, не вол-

нуются ни о чем, как будто они не под общим обстрелом, без конкуренции, абсолютно уверены в том, что они думают и делают. Последнее слово в том, состоится ли вообще выставка, не высказано. Очень надеюсь и дальше повлиять на моих немецких коллег...

24 июня

Дорогие Карлуша и Гизела!

Практически это последнее наше «регулярное» письмо в этом сезоне. Очень жаль, Карлуша, что ты так и не успел ответить на многие мои конкретные вопросы, которые в этом письме мне просто не хочется повторять. При случае просмотрю мои письма за последний период.

Тропическая жара в Москве сменилась холодной, дождливой погодой. Видимо, из-за этого на фоне приема очень большого количества различных сердечных лекарств мне теперь снова приходится прибегать к помощи нитроглицерина. Правда, не так часто, как раньше.

Моральное состояние не очень хорошее. Скорее всего из-за физического недомогания. Хотя я несколько окреп за последние дни, но все же еще очень слаб. Сейчас мне нужно побольше есть, чтобы восстановить свой вес (я, кажется, писал, что похудел на десять килограмм и сейчас вешу 60 кг), но, к сожалению, аппетит восстанавливается плохо.

Все время преследует ощущение выпадения из жизни, спасает только Юлина поддержка. Тем не менее я снова начал понемножку рисовать, а сегодня вечером мы должны встретиться с Ренатой (Рената фон Майделль, аспирантка из ФРГ. — К. А.). Практически она будет первым человеком, посетившим нас после возвращения из Кардиологического центра. Так что, возможно, жизнь (во всяком случае, дома, а не в мастерской) скоро снова вступит в свою привычную колею, насколько это возможно. Мечтаю закончить «Висящего старика» («Автопортрет»), но это станет реальным, очевидно, не раньше, чем дней через десять.

Очень огорчаюсь тем, что Алабино, которое я так любил и в котором столько наработал, сейчас, очевидно, остается в прошлом как прекрасное воспоминание.

Не знаю, успею ли я до вашего приезда в июле закончить макет книги о 70-х годах. Все будет зависеть от моего самочувствия. Но в любом случае, если вы приедете, мы сможем все обговорить, обсудить, и всем нам станет ясней, какой эта книга должна быть. Во всяком случае, вы узнаете, чего хочу я, а мы с Юлей узнаем ваше мнение по этому поводу.

Для того чтобы иметь новых друзей или хороших знакомых, нужно жить более интенсивно, чем мы можем позволить себе сейчас. Ведь мы уже более двух лет с момента моего второго инфаркта никого не приглашаем, не ходим ни на какие приемы, а в последнее время и к нам домой редко кто может прийти.

Ну а теперь коротко на другие темы: посылаю тебе две вырезки из «Правды» — одна о встрече Горбачева с литераторами (скоро предстоит съезд писателей), а вторая — интервью «нашего друга» Зайцева о театре. Нам кажется, что и та, и другая вырезка может представить для тебя определенный интерес. В связи с тем что Демичев теперь не министр культуры, то пока остается загадкой, кто займет его место. Скорее всего это не Зайцев, потому что первые заместители редко становятся министрами, хотя его интервью в «Правде» звучит так, как будто он уже министр. Ходят упорные слухи, что министром культуры может быть назначена Раиса Горбачева, любительница Шилова. Лично для нас скорее всего не имеет существенного значения, кто будет министром культуры, важно, какая будет проводиться культурная политика. Но все же очень не хотелось бы, чтобы номером 1 в культуре был Зайцев, уже хотя бы потому, что он является нашим личным врагом.

Говорят, что прошедший съезд кинематографистов прошел весьма бурно, высказывания были откровенными, избрано новое руководство. У нас создалось впечатление, что в Политбюро считают, что съезд писателей должен пройти потише. Поэтому, очевидно, Горбачев и встречался с литераторами.

Посылаю тебе подборку стихов Георгия Генниса, нашего Юрочки. Нам его стихи чрезвычайно нравятся. Надеемся, что и на вас они произведут такое же впечатление.

Ваши Дима и Юлия.

Публикация Карла АЙМЕРМАХЕРА.

Иван СОЛОВЬЕВ

Мессианские речи

СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДИСЛОВИЕ
МИХАИЛА ЭПШТЕЙНА

Предисловие

Публикую этот цикл размышлений филолога и педагога Ивана Соловьева (1944—1999?)¹, я испытываю некоторую неловкость, потому что боюсь уронить его образ в памяти тех, кто его знал, и вызвать насмешку у тех, кто не знал его. Дело в том, что у Ивана Соловьева были некоторые предчувствия своей особой роли в религиозной истории человечества — предчувствия, которые вряд ли оправдались да ни на чем особенно и не основывались. Впрочем, рано еще судить об этом.

В разговорах Иван никогда не затрагивал этой личной религиозной темы. Помню только, на одной вечеринке за бутылкой вина — кажется, это был его день рождения — мы спорили о том, всякая ли слабость является грехом, или есть безгрешная и даже святая слабость, как, например, в гефсиманском томлении Христа, в его молении о чаше. Иван вдруг как-то пристально на меня посмотрел и сказал: «А ведь я даже гораздо слабее его», — удивив меня совершенно неуместным употреблением слов «ведь» и «даже».

Но вообще-то он был человеком более чем скромным, любил уходить в тень, держался незаметно, причем это не была нарочитая, выпячивающая себя незаметность, а вполне естественная для такого не-красавца, не-героя, не-златоуста, каким он был и сам по себе, и в восприятии окружающих. Он с восхищением следил за пируэтками ума даже совсем недалеких и вялых людей, которые в его присутствии вдруг необычайно воодушевлялись. Иван всегда умел на какую-то долю градуса быть менее значительным, чем его собеседник, и этим располагал к себе. В него как в зеркало хотелось смотреться — и видеть самого себя. Причем в зависимости от уровня собеседника Иван мог вырасти очень высоко, но всегда оставался на полголовы ниже, как бы заведомо потупив голову, не смея равняться. Такова была его внутренняя установка, удивительно соразмерная каждому, но не соревновательная. Наши разговоры часто походили на интеллектуальные турниры, состязания в остроумии, эрудиции, красноречии, и Иван с самого начала каким-нибудь словесным жестом, промашкой, невнятистью, неуклюжестью обрекал себя на проигрыш, давал собеседнику знать, что ему не соперник, своей покорностью сбивал воинственный пыл, и тогда разговор сразу принимал более сердечную, иногда исповедальную ноту. Рассказчик он был никудышный, спорщик слабый. Даже на вопрос «Как дела?», на который люди в России с удовольствием отвечают минут пятнадцать, Иван не знал, как отвечать, и поскорее перебивал встречным вопросом: «Да ничего, расскажи лучше о себе».

¹ Для тех читателей, которые впервые знакомятся с наследием Ивана Соловьева, привоюдим пока еще краткую библиографию его посмертно изданных сочинений:

1. Размышления Ивана Соловьева об Эросе. Журнал «Человек», М., Наука, 1991, № 1, сс. 195—212 (там же — краткие биографические сведения об авторе).

Перевод на английский язык (фрагментов): Ivan Soloviev's Reflections on Eros, in: «Postcommunism and the Body Politics», a special issue of «Genders», 22, ed. by Ellen Berry, New York and London. New York University Press, 1995, pp. 252—264.

2. Поэзия как состояние. Из стихов и заметок Ивана Соловьева. «Новый мир», 1996, № 8, сс. 230—240.

Также подготовлен к печати и ждет выхода трактат Ивана Соловьева «Троеверие и горчичное зерно» — о судьбах католичества в России.

Между тем, как видно по многочисленным замечкам, чувство миссии его не оставило, и не просто миссии, а какого-то чуть ли не мессианского назначения. Даже Ницше с его претензией на роль сверхчеловека, Заратустры, Антихриста, и тот уступает в основательности своих мессианских упований Ивану Соловьеву, у которого все гораздо тише, спокойнее и серьезнее. Ницше, размахивая молотом, крушит кумиров, противопоставляет Водителю бедных, слабых, больных свою силу, красоту, отвагу. Иван никогда не превозносит себя — он *уменьшает* себя до такого состояния, когда мог бы принять на себя роль Мессии, «последнего из последних».

Иван видит перед собой не того Христа, который царит над всем христианским миром, над всей историей западного человечества, чье имя ежечасно возглашается с церковных амвонов, а того невзрачного Христа, каким он впервые явился иудеям, ожидавшим Мессию в образе всесильного Царя. Христа, который, по предсказанию пророка Исая, был «как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к нему. ...И мы ни во что ставили Его» (Исайя, 53:2-3). Иван не противопоставляет себя, а наследует Христу, то есть выстраивает вектор религиозной истории через Христа к нынешнему, «постхристианскому» состоянию мира. Как Христос в своей немощи, в своем крестном страдании относится к образу величественного и победительного Мессии-Царя, каким он сложился в сознании иудейства, так сейчас сам Иван Соловьев относится к тому образу Христа-Победителя, который сложился в самом христианстве, ждущем второго и окончательного пришествия Спасителя.

Иван Соловьев вводит понятие «эсхатологической иронии», которое совершенно неожиданно приоткрывает возможность «постмодерной» интерпретации эсхатологической темы, ничуть не снижая ее глубочайшей серьезности и достоинства. Если первое пришествие Спасителя столь разнилось с ожидаемым иудеями, то следующее будет еще более разниться с ожидаемым христианами. Это несовпадение ожидания и свершения и составляет пружину истории, ее «упругость». История движется не по прямой, но и не по кругу, а по некоей параболе, отклоняющейся от всех теорий и предсказаний, как «прямолинейных», так и «круговоротных». Спаситель нового пришествия еще более умален, чем Спаситель первого пришествия, умален до такой степени, что перестает быть заметным.

Чтобы разрешить противоречие между предсказанным триумфом и неожиданной простотой, даже тривиальностью нового явления Спасителя, Иван Соловьев вводит понятие «полуторного» пришествия². Ирония этого среднего пришествия состоит в том, что в облике Спасителя как бы сглажены и опосредованы крайности его первого и второго пришествия. В нем нет ни жертвенности, ни победительности, он «никакой», но перед ним каждый чувствует себя единственно важным и услышанным. «Между жертвой первого пришествия и славой второго лежит момент полного уравнивания Спасителя с миром». Спаситель среднего пришествия настолько затерян в миру, что лишь наше собственное внезапное и чудесное возрастание перед ним открывает его природу. Спаситель является в этот мир «Великой Тенью» — чтобы оттенять тот свет, который люди несут в себе.

Я заметил, что подобную же методику Иван Соловьев, проработавший много лет учителем средней школы, применял и на своих уроках. «Применял» — не то слово: он не мог учить иначе. Дети во время этих занятий выглядели чуть ли не умнее своего учителя и, уж во всяком случае, говорили больше него. Мне случайно довелось побывать на двух-трех его занятиях, когда я приходил за ним в школу, а он просил меня подождать, вернее, я просил разрешения посидеть в классе, пока он закончит урок. На уроке Иван предполагал, а ученики утверждали. Он робко догадывался — они с жаром доказывали. Он смущенно кашлял — они говорили без запинки. Он умел так сосредоточить в себе слабость ситуации, что вся сила доставалась другим — тем, кого он слушал, кого просил высказываться.

Так бывает в любви: непонятно, за что красивый, умный человек любит какую-нибудь малоприметную особу, почти дурнушку, почти пустышку, и лишь постепенно понимаешь, что он оттого так красив и умен, что она рядом с ним, он заряжается от нее, черпает в ее слабости свою силу. Вот и Иван Соловьев умел быть среди людей такой дурнушкой и пустышкой, отчего они становились больше и лучше себя. Причем, повторяю, это не было позой, игрой, сознательной иронией — робость перед духовным и умственным превосходством другого человека была у него в крови. Однажды он признался мне: «В каждом человеке, с которым мне приходит-

² См. последний фрагмент.

ся общаться, я чувствую такую силу ума и характера, что моментально пасую, даже помимо собственной воли, но если бы у меня и была эта воля, я бы тоже пасовал, потому что мне нравится, когда люди в моем присутствии делаются великими».

Действительно, в его присутствии легко было почувствовать себя великим — достаточно было соответствовать тому образу, который создавался его заинтересованным взглядом и манерой слушать. Он бывал абсолютно поглощен и даже заморожен чужой индивидуальностью. Люди, которых я вообще-то знал за вполне заурядных, в его присутствии превосходили самих себя, и я думаю о загадке, которую заключало в себе его молчание. Чьи это были мысли, которые его собеседники вдруг начинали высказывать неожиданно для себя?

Иван Соловьев закончил филологический факультет Московского университета и по смыслу всех своих занятий и увлечений оставался филологом. Но при этом он постоянно пытался раздвинуть пределы филологии и включить в них биологию, психологию, теологию, другие дисциплины, поскольку они имеют дело с природой Слова, или Логоса, который Соловьев понимал в самом расширительном смысле. В биологии таким Логосом для него был генетический код, в психологии — внутренняя речь, в теологии — сам Творец, о котором в Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Для Ивана все эти бесконечные проявления слова на разных уровнях бытия и были предметом «большой филологии», или, как он ее иногда обозначал, филоЛогии, имея в виду, что эта дисциплина воодушевляется любовью не просто к слову, но к Логосу. Когда я однажды спросил по поводу его увлечения психологией, что вот не хочет ли он переменить профессию, он ответил достаточно строго: «Это не психология, это филология человеческой души, толкование ее слова».

Такая преданность каким-то начальным обязательствам и заданиям жизни в сочетании с предельным расширением смысла этих обязательств вообще была характерна для Ивана. Он, родившийся в Измайлове, пытался осмыслить феномен «измайловства», найти какие-то черты «метагеографии» в этом старинном районе Москвы, создать нечто вроде шуточного обряда поклонения родному «гению места». Имя няни Ирины, опекавшей его в детстве, становилось для него нарицательным, и он иногда использовал его в сопровождении различных приставок и суффиксов для обозначения тех явлений и действий, которые чем-то напоминали ее³.

Вообще все, что окружало Ивана, так или иначе приобретало для него свойство безначального и бесконечного. Ему принадлежит такой афоризм: «С каждой вещью нужно быть готовым к вечности». Он имел в виду, что каждая вещь и тем более каждая личность, поскольку они даны нашему опыту, уже неустранимы из этого опыта, навсегда остаются в нем. Тот, кто не готов к этому, будет испытывать ад вечности, пребывая среди личностей и вещей, несовместимых с его душой. В этом же, по Ивану, состоит и сущность этики, которая не признает «временных» отношений и обязательств. Этика охватывает весь круг человеческих дел, даже самых будничных, прибавляя к ним слово «всегда»; именно это испытание на «всегда» делает их этическими поступками.

Редко бывает так, что по каким-то письменным свидетельствам удастся проследить сам процесс рождения мессианского сознания. Мессии прошлого, считать ли их истинными или ложными, почти не оставили следов осознания своего избранничества. Мы знаем о них только то, что они сами дали знать миру о своей вере в себя. Да и современные претенденты на это звание отмечают лишь результат своего избранничества и не делятся своими сомнениями, отступлениями, колебаниями (если только эти колебания еще больше не возвышают их и не идут им на пользу).

Соловьевское мессианство умнее известных нам современных образцов, от Ницше до Муна и Раджнеша, причем как-то по-русски умнее — по-достоевски, по-розановски, то есть включает в себя сарказм по поводу собственной миссии и неизбежность такой миссии, которая несла бы в себе этот сарказм, это самоуменьшение и самоосмеяние пророка. Но Иван знал, как легко эта самоирония расшатывает основания личности и превращает ее внутреннее слово в пустословие. Иван хотел чего-то большего, чем ирония, — он хотел *серьезного сомнения* в своей миссии. Он хотел не множить слова оттенками их отрицания, а обратить их в какое-то последнее молчание, которое научилось бы говорить в отсутствие слов.

³ У Ивана Соловьева есть работа, специально посвященная «всеобщности личных имен», их превращению в имена нарицательные.

Уникальность материалов, оставшихся от Ивана Соловьева, в том, что здесь мы имеем дело с поиском и истолкованием знаков, интимной герменевтикой избранничества, не предназначенной для последователей, для формирования школы, секты, церкви. Да у Соловьева согласно его собственному определению современного мессианства и не может быть последователей — он ни к кому не взывает, никого не учит, он Мессия слуха, Мессия молчания. Его избранничество — это только факт его самосознания, и здесь он предельно откровенен сам с собой.

Как ни странно, именно эта откровенность снимает сам вопрос, истинным или ложным Мессией был Иван Соловьев. После всех колебаний в определении собственного статуса у него возникает самосознание *возможного Мессии*. Если возможность не осуществляется, это вовсе не значит, что она отсутствовала в качестве возможности, наоборот, возможность подлинна как возможность именно тогда, когда она может осуществиться, а может и не осуществиться. Как писал Аристотель: «Не необходимо, чтобы из всякого утверждения и отрицания, противоположащих друг другу, одно было истинным, а другое ложным, ибо с тем, что не есть, но может быть и не быть, дело обстоит не так, как с тем, что есть...»⁴. Иными словами, категории истинного и ложного действуют лишь в отношении сущего и бывшего, но не в отношении возможного⁵.

В результате долгих колебаний Ивану Соловьеву удалось прийти к такому решению относительно себя, которое не просто ставит его фактически в круг искателей-мессий прошлого, но и ставит его логически над ними, поскольку истинность их положительных утверждений о себе всегда может быть оспорена, тогда как его предположения о своем мессианском статусе не подлежат ни верификации, ни фальсификации. Двойственность мессианской возможности тем самым подтверждается в любом случае: до прихода истинного Мессии — как то, что может быть, а после — как то, чего все-таки не было. В каком-то смысле Иван Соловьев всегда останется именно тем Мессией, за какого себя принимал, — в той мере, в какой он сам считал себя всего лишь «гипотезой», проверку которой возлагал на Бога⁶.

Больше того, герменевтика избранничества, разработанная Иваном Соловьевым, позволяет каждому из нас становиться в этот круг потенциально избранных и вести себя в нем достойно своему призванию. Не все ли мы дети Божьи, не на каждом ли из нас лежит печать возможного избранничества? Предоставим Богу решать о действительной нашей предназначенности, но будем достойными хотя бы ее *возможности*.

Я бы не хотел, чтобы читатель видел в Иване Соловьеве «претендента» и тем более самозванца. Останемся при его собственном определении — это был человек-«гипотеза». Нам не дано ни подтвердить ее, ни опровергнуть.

За семь лет, что прошли после исчезновения Ивана Соловьева, его записи как-то заново связались во мне с нашими давними разговорами. Я впервые стал ясно понимать, что заключалось в его молчании, в его слушании, — то, что таилось за всеми написанными им работами и было больше их.

Собственно, в каком-то смысле Иван Соловьев остается моим собеседником. Его слух «звучит» во мне. Когда я мысленно продолжаю с ним разговаривать, мне легче понять самого себя. Порою мне кажется, я слышу его голос, но, пытаюсь восстановить в памяти его образ, всегда вижу его молчание.

Заглавие «Мессианские речи» взято из записей самого Ивана Соловьева: так озаглавлена последняя из них. Насколько мне известно, «мессианские речи» никогда не произносились, то есть их название можно считать условным. Большинство записей относится к 1984—1985 годам. Названия фрагментов даны составителем с целью облегчить читательское восприятие. Все примечания, за исключением нескольких ссылок на источники цитат, также принадлежат составителю. В конце подборки приводятся сведения о последних днях жизни Ивана Соловьева и некоторые материалы, позволяющие судить о судьбе и отзвуках его идей.

⁴ Аристотель. Об истолковании. Сочинения в 4 тт., т. 2. М., «Мысль», 1978, с. 102.

⁵ Иван Соловьев считал, что «противоположность истинного и ложного сама по себе является ложной, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что «ложность» вписана в само слово "противоположность"» («Постдиалектическая логика»). Иван любил такие каламбуры, хотя и не придавал им особенно серьезного значения.

⁶ О трезвости самосознания Ивана Соловьева можно судить хотя бы по такой заметке, не требующей комментария:

«Вопросы:

Почему Он может прийти сейчас? — 1984 г.

Почему Он сейчас не придет?

Что произойдет вместо Его прихода?»

ЗАПИСИ ИВАНА СОЛОВЬЕВА

1. Ничтожество спасителя

Кажется, все нам дано. Бог стал человеком, освятил в сыне своем все человеческое. Но каждый из нас знает не только по красочным зверствам прошедших веков, но и по тусклой обыденности наших дней, что света в нас еще нет, что он еще только светит нам, а не в нас, не из нас.

Отчего же человек сам себе неинтересен, тем более неинтересен другим? Вот перед нами образцы доблести, гения, предприимчивости — великие духовидцы, пророки, ученые, мыслители, художники, исторические деятели. А мы ковыряем пальцем в носу, пьем чай, о чем-то медленно думаем, с превеликим трудом терпим ближних и лишь под тяжестью грехов скучные, кислые, усталые приходим в церковь, чтобы облегчить душу и расчистить ее для новых грехов. Хочется плакать и выть, сознавая свою принадлежность к этому гиблому человеческому роду, которому все дано, а приумножить дар он не в силах. Единицы возвращают дар, но в их свете глубже видится беспросветный мрак большинства.

Почему же все пророки, гении, учителя человечества не смогли разжечь искру Божию в душах людей? Сами пламенели, а вокруг оставался мрак и пепел. Почему они говорили, а вокруг стояли молчащие, едва понимающие, готовые одинаково слушать и тех, и других? Ведь слух их уже забит речами и проповедями нескольких тысячелетий.

Должен кто-то молчать и слушать, чтобы люди заговорили. В мир должна явиться тень, чтобы оттенить тот свет, который слабо брезжит в людях. Этот кто-то не будет учить, а будет учиться, потому что у большинства людей есть Учителя, но нет учеников. Им некого учить, поэтому они не знают себя, не знают, что они знают. Им некому передавать знания, потому что каждый считает себя уже знающим. Кто-то должен умалиться перед такими малыми, чтобы и они почувствовали себя больше себя.

Это и будет спасение, приходящее к людям от них самих, потому что их спаситель оказался меньше, ничтожнее их. Только ничтожество и пустота могут открыть людям, кто они есть на самом деле, какие дары им даны. Им некому передать своих даров, поэтому они не знают, чем владеют.

Это ничтожество должно быть знающим себя в качестве ничтожества, ничтожеством по собственной воле, а значит — приемлющей, ждущей, внимающей пустотой. Этот последний и наименьший позволит нам слышать самих себя, потому что станет слушать нас, как царей слова. Он подарит нам интерес к нам самим, удивление перед собственной мудростью. Я не пишу «Кто-то», потому что он должен быть не больше, а меньше других, перед кем другие возрастают на величину его самоуменьшения.

Этот кто-то буду я.

2. Я всегда был нут

С детских лет у меня не было иных желаний, кроме тех, которые имели другие. Если кто-то высказывал мнение, что стоит открыть окно — душно! — я и сам начинал чувствовать духоту. Если кто-то хотел закрыть окно — дует! — я и с ним немедленно соглашался: как бы не простудиться. Помню в каком-то из начальных классов ссору между мальчиком и девочкой: они по очереди то захлопывали, то распахивали окно. Я стоял рядом, и девочка спросила меня, не хочу ли я, чтобы окно было открыто. Помню свое замешательство. Мне хотелось сказать: да, я хочу, чтобы окно было открыто, потому что на улице такой приятный запах ранней весны. И вместе с тем мне хотелось сказать: хорошо бы все-таки закрыть окно, потому что оттуда несет стужей. Не помню, что я сказал на самом деле — скорее всего ничего не сказал, а просто покраснел и отошел от окна.

Уже лет с тринадцати я даже не задумывался над тем, чего же я, собственно, хочу, потому что мне стало окончательно ясно, что я ничего не хочу, что Господь не дал мне такого дара — что-то чему-то предпочитать. То есть я, конечно, желал всего того, чего обычно желают люди, — счастья, любви, веселья, хороших оценок, верных друзей, — но я желал этого ровно настолько, чтобы понимать, насколько этого желают другие. А вот спроси меня: чего ты, Иван, хочешь, — я бы не нашелся, что сказать. Я любил сладкое, но мне было все равно, какие конфеты есть, — «Мишку косолопого» или «Белочку», или ириску. Я любил бывать на природе, но мне было все равно, разжигать костер или кататься на лодке.

Я удивлялся, с какой точностью другие люди знают, чего они хотят, а чего не хотят. Откуда они это знают? Кто подсказывает им все эти бесчисленные предпочтения, с точностью до определенной марки вина или сигареты? Ведь это просто чудо — чтобы вот именно сейчас, в данную минуту, хотеть чаю, а не кофе, сухого вина, а не полусухого. В ресторанах я всегда выбираю те блюда, которые были заказаны передо мной: «Пожалуйста, то же самое». Когда заходит разговор о том, что делать, во что играть, куда ехать, я всегда отмалчиваюсь до последнего. Мне хочется того же, что и всем, а «все» — они такие разные. Сушая пытка, когда друзья начинают допытываться: «А вот Ваня еще ничего не сказал, куда хочешь ехать, Ваня?»

Уже в школе я был никакой... Никогда моя воля не шла кому-либо поперек, даже тишайшим и слабейшим. Я был первым учеником в классе, потому что все предметы давались мне одинаково хорошо, и я не понимал, как можно, например, любить физику и не любить химии или любить историю и не любить литературы. И я был последним членом коллектива, ведь для того, чтобы как-то выдаваться, нужно иметь какие-то желания... Я хотел со всеми соглашаться — лишь бы они соглашались между собой.

Когда я впервые прочитал «Записки из подполья» Достоевского, то удивился и немножко приуныл. Вот он даже лентяя не может из себя сообразить — остается никем. Не имеет, кажется, даже имени, не то что характера — одно сплошное «я», воющая пустота. Но отчего же он тогда свое желание ставит поперек всех чувств и отношений, поперек возможной дружбы и любви? Откуда берутся в нем эта поперечность, эта невероятная готовность на всех наплевать, со всеми расплесться? Значит, не такой уж он пустой, если в нем кипит эта отчаянная злоба. У него хватает воли и желания, чтобы самого себя растоптать, — так для этого надо быть каким триумфатором! Это же Калигула своего внутреннего Рима!

Никак не выходит у Достоевского, что подпольный — никакой, он очень даже какой, просто царь подполья, или, как сейчас говорят, крыса-мутант, в которой активизировался ген голода и злобы. И это не промашка Достоевского, а просто еще XIX век, вполне материальный и позитивный, когда даже человеческая пустота еще принимала очертания какого-то морального падения. Мир эсхатологически еще не созрел, не почувствовал своего конца. Все точки отсчета еще находились в прошлом, в первом пришествии... И потому пустота казалась злом, внедрившимся между людей.

Я-то знаю, что такое человек, не имеющий в себе ничего своего. Он и злобы не имеет, и поперек ничему стоять не может. Я — человек-пустота. Я никому языка не высуну — наоборот, подставляю ухо, чтобы лучше слышать. Во мне нет желаний, зато есть тяга, как вот в нашей деревенской печи: поднес спичку — и она вспыхивает, как полено, и через минуту уже все дрова начинают польхатать, гуд стоит, изба подрагивает. А всего-навсего — воздух, правильно завитый через трубу в направлении к небесам. И во мне, я чувствую, завивается эта небесная пустота, гудит и воет, превращая поднесенную ко мне спичку в пламя.

Поймаю одно только слово — и сразу во мне десятое слово уже проговаривается, и фраза вылепляется в такой ясности, что я не могу не удивляться своему собеседнику, как новому Сократу. Он мне — одну фразу, а я ему — целую философию. И это не моя философия, а его собственная, только, может быть, чуть-чуть недосказанная.

Больше всего я благодарен за это вот чудо, когда человек вдруг вырастает у меня на глазах. Он сам себе удивляется, он еще не знал себя таким. Он не понимает, почему каждое его слово звучит так ясно и веско, а каждая запинка выдает внезапное озарение... Человек открывает Себя в себе. Шутник, который всем уже надоел своими анекдотами, вдруг обнаруживает в себе Гамлета, который скорбно отшучивается от пошлостей мира... Пожилая женщина, которая напряженно молчит и смущается в молодой интеллектуальной компании, вдруг оказывается свидетельницей великой войны, и ее молчание полно отголосков той страшной эпохи, которая наверняка раздавила бы нас... Она молчит, и я молчу. И вдруг она начинает говорить...

3. О чтении

Поначалу, пока мне было еще тяжело выносить на люди свое молчание, я воспитывал свой слух чтением. Чтение — это самая тяжелая и вместе с тем легкая разновидность слуха. Тяжелая — потому что собеседника нет рядом, приходится восстанавливать его голос в себе гадательно. Но этой дальностью говорящего и облегчается слушание — не нужно краснеть, стыдиться своего молчания. Книга — это такой высокий и чистый голос, которому ничего от тебя не надо, только слушай его.

Если писательство есть речь, погруженная в молчание, то чтение есть слух, погруженный в зрение. Читать — значит слушать глазами. Легкость чтения для меня пересиливала его тяжесть...

Так, я начал с большего, чтобы потом отдаться меньшему. Читал Толстого и Шекспира, чтобы потом слушать приятелей по школе и университету. Чтение есть слушание на расстоянии, оно преодолевает физическую тесноту слуха, это Слух вездесущий, всепроникающий. «Читать» в русском языке — слово того же корня и исконого значения, что и «чтить», «почитать». Чтение, к какому бы набору знаков оно ни относилось, пусть к самому пошлому чтиву, есть акт благоговейный, религиозный. Чтение есть почитание замолкнувшего или скончавшегося голоса и готовность воскрешать его в себе.

Когда я читаю, то чувствую поразительную оправданность самых ничтожных своих усилий. Сколь многое делается благодаря столь немногому во мне — способности читать! Сколько сил было затрачено человечеством, чтобы создать Ветхий и Новый завет, поучения Будды и Конфуция, поэмы Гомера, диалоги Платона, трагедии Шекспира, романы Достоевского! И вот силы эти лежат мертвыми; чтобы привести их в движение, нужна такая малость — скромный труд читателя, готовность отдать свой слух погибающим голосам, вызволить их из-под могильных плит, из-под тяжести переплетов.

Чтение — наименьшая затрата с наибольшей прибылью. Представьте себе кладовую с несметными сокровищами. А от нас всего-то и требуется приоткрыть дверь. Читатель своим малым трудом оказывается равновелик Шекспиру, потому что Шекспир без читателя — такое же ничто, как и читатель без Шекспира. Каков же замысел Бога о нас, если таким маленьким людям поручено отвечать за смысл жизни столь великих людей? Каков замысел Его о чтении, если оно уравнивает призвания величайшего из писателей и обыкновеннейшего читателя? Бог соткал сети из букв и слов и сделал их, читателей, ловцами великих душ, попадающих в эти сети.

...И все-таки хороших читателей в этом мире больше, чем слушателей. Ведь насколько интереснее читать Достоевского, чем слушать Ивана Ивановича, чье внутреннее слово еще сплошной черновик, а может быть, и белеющая страница, слегка замаранная несколькими кляксами и пробами пера. Иван Иванович готов читать книгу Достоевского, но кто будет читать в душе Ивана Ивановича?

А ведь каждый человек несет в себе непрочитанное слово, без этой филологической надежды и жить незачем. Но таких филологов, которые вышли бы за переплет книги и занялись бы словом не то что неписанным, устным, но словом, даже еще и не достигшим уст, погибающим в невысказанности, — таких филологов, имеющих дело с душой как самовозрастающим Логосом, я еще не встречал. Я говорю не о психологах, которые ищут общие законы внутренней жизни. Я хотел бы стать филологом человеческой души, читателем ее ненаписанного и произнесенного слова.

И если я получил образование филолога, «любящего слово», то мое дело раздвигать рамки этой профессии до встречи с Логосом, живущим в каждой необразованной душе, в труднейшем переходе от молчания к слову. Дело филолога — двигаться дальше, от книги к голосу и от голоса к безмолвию. Это как раз и значит — от большего к меньшему, от бессмертного слова, распечатанного в миллионах страниц, к гибнущему, не воплощенному слову, к логосу, который умалил себя до междометий в душе Ивана Ивановича, до клякс и росчерков под его пером. Если чтение — это слушание неслышных голосов, то слушание — это чтение вслепую, по белой бумаге, на которой письма проступают лишь по мере того, как мы до боли в глазах вчитываемся в них.

4. Периоды слушания

У меня было три периода слушания. Наверно, больше, но сейчас вспоминаются три. Сначала мне было все равно, кого и в какой обстановке слушать, и это всякий раз происходило, как чудо, которому предшествовали смущение, запинка, чувство вины. Со мной заговаривали, по-приятельски или по-светски, оставляя мне маленькие паузы в разговоре, чтобы я мог вставить свою речь. Но я этими паузами не пользовался — не только не вклинивался в них, не раздвигал, а, наоборот, оставлял за собой такие провисающие пакетики молчания. Хорошо помню толкотню интонаций, когда собеседник уже выходил из разговора, а я все никак не мог войти, и мы сталкивались в дверях. Он замолкал, а я продолжал слушать и, спохватившись, как-то озвучивал свое молчание междометиями, повторами, тепленьким косноязычием или туповато и раздумчиво, со знаком многоточия в конце, повторял услышанное...

Но, видимо, и не было в этом нужды, мое молчание не воспринималось как вызов. Я ведь не замыкался, не отводил взгляда, а, напротив, как-то сразу и плотно останавливался возле человека, едва он заговаривал со мной. Это были такие «прилипания», когда гладкость одного предмета вдруг идеально сходится с гладкостью другого, но потом инерция движения разводит их. Больше всего я любил тогда разговоры со случайными попутчиками, особенно в поездах, когда делать нечего и человек вдруг начинает вспоминать и проборматывать свою жизнь, как во время бессонницы. Слух мой тогда еще не вошел в силу, и потому меня устраивала случайность собеседника, однократность его присутствия в моей жизни. Да и его устраивала моя однократность, и он поспешно сваливал в меня разные слова и признания, как в походный чемодан. И в приятельских компаниях я любил атмосферу поезда, эти проносящиеся мимо быстрые разговоры, в которых вдруг звучали слова, будто лично ко мне обращенные. Я начинал слушать, и уже речь, словно повинуясь слуху, все больше поворачивалась ко мне... Вдруг наплыв — и струение во мне нового голоса.

Потом наступил период, когда я почти перестал бывать в компаниях. Мне стало невыносимо слушать столько врозь звучащих голосов, хотелось каждому из них отдать себя, выращивать его в себе. В этот период, тянувшийся года три-четыре, я встречался с друзьями уже, как правило, поодиночке. Они приходили ко мне, или я приходил к ним, когда никого не было дома, и мы запирались в своей беседе. Было удивительно, как много людей заключал в себе один и тот же человек, когда вокруг него не было других людей. Он даже говорил разными голосами, он как бы пробовал быть тем, кем еще никогда не был, искал и не находил себя среди многих «я». Эти беседы научили меня слушать по-настоящему, проникать слухом в такие области тишины, что я бы не удивился, услышав голоса ангелов, хотя они почему-то избегали меня.

Третий период не отменил первых двух. Я все еще люблю случайные разговоры со случайными людьми; еще больше люблю говорить наедине с друзьями, разговор с которыми продолжается уже много лет. Но возникло третье: я ищу речь, которой мог бы понадобиться мой слух. Меня опять стали привлекать шумные собрания. Я вхожу — и стараюсь понять... И приношу первую «жертву» — сам заговариваю. Как ни странно, но люди, мало говорящие, больше нуждаются в слухе, чем те, которые говорят много. Говорливые нуждаются скорее в слушателях — верных подданных своего государства речи. Они и рассказывают то, что интересно всем и никому в особенности — новости, слухи, анекдоты. А молчание обычно потому и молчат, что их речи нужен особенный слух, только им предназначенный, как невесте — жених. Сократ называл себя акушеркой, но прежде, чем речь разродится мудростью, она должна повстречать своего суженого. Есть и такая профессия — сваха. Кажется, это мое дело — сватать слух к речи.

Как-то мне удалось заговорить с пожилой женщиной, сидевшей рядом со мной в гостях за длинным столом, и на какое-то повышение ее голоса выпала случайная секунда всеобщей тишины в промежутке между двумя новостями и раскатами смеха. И вдруг оказалось, что она одна говорит, а ее все слушают — так же, как и я. Она смутилась и еще больше повернула свое лицо ко мне, чтобы не мешать говорить другим, не заслонять собой застольного пространства. Но ее продолжали слушать, и уже через минуту она освоилась и повернулась ко всем сидящим за столом — ее и слушали минут пять и еще полминуты молчали.

Я, к сожалению, забыл, о чем она говорила. Это всеобщее внимание к ней как будто оцепенило меня, я весь сосредоточился на том, чтобы не прервалась тишина вокруг такой робкой, замирающей речи. Я изо всех сил старался слушать эту женщину, потому что мне вдруг показалось, что ее слушают вместе со мной, через меня, и если мое внимание хоть на секунду ослабнет, все тотчас отвлечется и займется чем-то другим. Когда так напряженно слушаешь, теряешь способность слышать. Поэтому я не запомнил ничего в той речи, но запомнил саму эту удивительную возможность — слушать так, что другие начинают слушать вместе с тобой. И потом уже неоднократно я испытывал то же состояние, когда твой слух идет первым в прорыв, на окружение чужой речи, а потом уже за тобой идут и другие...

Для большинства людей молчание — это крест, на котором распинается их внутреннее слово. За несколько лет я нашел несколько тяжело молчавших людей, с которыми продолжал говорить и потом.

5. Кто пишет?

В пору юношеских огорчений, когда моя немота переживалась особенно остро, единственное, чем я утешался, так это своим писательством. Пусть мне нечего сказать, зато пишется. Бывают такие пустые люди, ненужные в общении, но что-то с

ними происходит за пределом слышимости, что-то они там кропают — и потом вдруг эти вялые молчуны оказываются нелишними для рода человеческого.

И дважды, ровно дважды я оказался не прав. С одной стороны, не так уж угнетало людей мое молчание, наоборот, меня приглашали, со мной общались, как будто не замечая, что я ничего не могу предложить в обмен. Тогда-то и стал я догадываться, что через меня люди каким-то образом общаются сами с собою и моя бессловесность им не противна. Ведь люди общаются по трем причинам: чтобы что-то узнать о других, чтобы что-то дать знать о себе и чтобы самим узнать о себе что-то новое, неведомое раньше. Вторая причина важнее первой, а третья важнее второй.

С другой стороны, мое сочинительство, которым я обольщался как залогом оригинальной складки ума, постепенно разоблачало свою вторичность. Печататься я, конечно, нигде не мог, а всегда воображал тех друзей и знакомых, которым было бы любопытно прочитать ту или другую страницу. И вдруг я с ужасом обнаружил, что именно то лицо, которому я мысленно предназначал свое сочинение, оно-то, по сути, и диктовало его мне.

Первым был, кажется, Саша Ш., почти всегда молчавший и уступавший в этом только мне. Во всяком случае, в общих компаниях мы всегда молчали вместе (и уже чересчур много было нас, двоих), а когда мы встречались наедине, он говорил, а я слушал. Именно для Саши Ш. написались мои первые настоящие странички, те, под которыми я мог бы подписаться. Но, перечитав через месяц, я понял, что именно под ними и не могу подписываться: слова были мои, а голос — не мой. Я воображал Сашу идеальным читателем своих страниц, а он оказался их косвенным автором, тем голосом, который мне их нашептывал, хотя наяву он, может быть, произносил лишь одно слово из сотен, написанных мною. Но ведь дело не в словах, которые для всех общие, а в голосе, который у каждого свой.

У меня же — я вдруг почувствовал с ужасом и некоторым облегчением, потому что всегда любил акт безоговорочной капитуляции, — у меня нет своего голоса. Только молчание у меня свое, а голоса все чужие. Мысли, которыми я якобы делюсь с читателями, — это их мысли, которые им почему-то не довелось высказать или записать. Я как был, так и есть только слух, в который вложен чей-то голос.

6. Кто думает?

Так оно, в общем, и должно быть. Важно не только, что ты думаешь, но и *кто* в тебе думает, кем ты думаешь. Раньше мышление двигалось в среде расширяющихся предметов, вовлекая в свой круг новые и новые *что*. Сидел такой Гегель в каком-нибудь Гейдельберге и измышлял из себя то философию истории, то историю философии, все время оставаясь самим собой — Г. В. Ф. Гегелем, ну в крайнем случае — мировым духом, себя в нем сознающим, но уж, упаси Бог, не каким-нибудь соседом или одноклассником. В таком тождестве пишущего с самим собой происходит что-то вроде короткого замыкания — и вот оказывается, что дальше двигаться некуда, в философии Гегеля абсолютный дух познал самого себя. Из Гегеля получился Мармеладов: «Знаете ли вы, господа, что это такое, когда мышлению некуда больше идти?» Через Гегеля произошло короткое замыкание в цепи мирового сознания, оно соединилось само с собой: вспышка, конец. Философия погрузилась во мрак, ибо стало не о чем мыслить, всякое *что* уже было испробовано и введено в систему самопознающего духа.

Как исправить эту аварию? Изолировать мышление от самого себя, от субъекта мышления; ввести в процесс мышления несколько слоев авторства, несколько мыслящих субъектов, несводимых друг к другу.

Эту работу изоляции мышления от самого себя произвели Кьеркегор, Маркс и Ницше, которые научились мыслить «не от себя», поставили между собой и мышлением ряд чужих инстанций. Философски наиболее счастливым, хотя и человечески самым несчастным, оказался Кьеркегор, который расположил между собой и своим мышлением серию вымышленных авторов и публиковал свои труды под псевдонимами Виктор Эремит, Иоганнес де Силенцион, Констанцион Константин, Иоганнес Климакус, Антиклимакус и т. д. «Другой» выступает как мыслящий индивид, соразмерный самому автору, и между ними возможны личные отношения, хотя бы даже и не обозначенные в самом тексте: знакомство, дружба, переписка — или отсутствие таковых. Псевдонимы не спасли Кьеркегора от насмешек его соотечественников, зато спасли честь мысли, которая нашла в себе силы подняться над собственным триумфом, над гегелевским «абсолютным» мышлением — и вновь затеряться среди тех же соотечественников и современников, в их многоголосии.

Маркс взял себе в соавторы целый класс — пролетариат, поставив между собой и своим мышлением голос исторического субъекта, волю которого он якобы выражал. Опасность состояла в том, что мышление, препорученное такому коллективному субъекту, могло вырваться из-под воли автора, его пережить и стать материальной силой, верящей только в собственный безликий разум. Так и случилось. Нельзя придавать чужому голосу в себе исторический или метафизический статус более высокий, чем тот, которым в своем одиночестве наделен сам пишущий. Нельзя брать в соавторы Бога, или народ, или класс. Нельзя подписывать свои труды: «я и Россия», или «я и пролетариат», или «я и бессознательное».

Если с мыслью Маркса случилось несчастье уже после его смерти, то в случае с Ницше несчастье обрушилось на него самого, причем именно как на мыслителя. «Кем» его мышления оказались не индивиды и не коллективы, а боги или антибоги: Дионис, Заратустра, Антихрист. Ницше прекрасно понимал условия игры, по которым мышление, чтобы освободиться от груза неподвижной истины, должно менять голоса и облики, переходить от автора к автору. Но он настолько увлекся игрой, что забыл об ее условностях. Безумие подстерегало Ницше в той точке, где он попытался полностью слиться со своими «другими», — его последние письма, вести из царства безумия, подписаны «Дионис», «Антихрист», «Распятый».

Два правила «чужего голоса» вытекают из опытов Ницше и Маркса: не отождествлять себя с другим и не сотрудничать с этим другим как с коллективным субъектом. Обнаруживая другого в себе, следует ставить его наравне с собой как отдельно стоящего индивида, а не как «оно» божества или «мы» общества, в котором теряется мой ум и начинается царство коллективного сверхума или моего собственного безумия. Другой во мне несводим к моему «я», но и мое «я» несводим к этому другому.

Можно считать, что Кьеркегор, Маркс и Ницше, как отважные электрики высшей квалификации, погибли, исправляя гегелевскую аварию — короткое замыкание в проводке всемирного духа, когда он приходит к полному совпадению с собой. Но именно с Кьеркегора, Маркса и Ницше забрезжил новый свет в философии: возникла изоляционная прослойка между мыслящим и мыслимым, подстановка другого голоса. Скажи мне, кем ты мыслишь...⁷ Мышление начинает прирастать не новыми объектами, а новыми позициями, множимостью тех, с кем или за кого мы пишем.

...Впрочем, все это — плохая попытка самооправдания, мне дано оправдать кого угодно, только не себя. Ведь у Кьеркегора, и у Маркса, и у Ницше все-таки была своя философия, хотя и разыгранная на чужие голоса. У меня же нет своей философии. Я живу в России, где философия возможна либо как слух о чужеземных философиях — либо как вслушивание в них. Здесь место чистой пустоты, которую можно обводить сияющим нимбом.

7. Россия: слух или голос?

Почему Господу было так угодно, чтобы все это произошло именно здесь и сейчас, в стране, которая так громко возвестила «истину» окончательно-справедливого устройства народов? Россия всегда была страной отчаянной пустоты, завывающей в подворотнях всемирной истории. Кто мы, откуда пришли, куда идем?

Первое, что Россия сказала о себе устами своего первого самобытного мыслителя, было слово «не» — самое частое в философском словаре Петра Чаадаева: «...Мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. ...Опыт времени для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. ...Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума. ...От нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды...»⁸

«Не принадлежим», «не имеем», «ничего не сделали», «не внесли», «не содействовали», «ни одна полезная мысль», «ни одна великая истина»... Именно то, что я

⁷ У Бердяева где-то замечено, что мыслители прежних времен создавали «что» (идеи, мифы, системы), а в новое время остается мыслить лишь «о чем» (об идеях и системах, созданных другими). В этом случае новейшее время может быть описано словами Ивана Соловьева как следующий виток — смена неодушевленного местоимения одушевленным, мышление не «о чем», а «кем».

⁸ П. Я. Чаадаев. Сочинения. М., «Правда», 1989, с.с. 18, 25.

мог бы сказать о себе: не потому, что я русский — мало ли русских совсем других, и внесших, и содействовавших,— а потому что я сам, как эта чаадаёвская Россия. Я так хорошо понимаю эту страну, когда она жадно ждет вестей со всего мира, а самой ей нечего сказать; если же заговорит, то ей стыдно себя слушать. Зато как глубоко и чиста в своем искусстве воспринимать!

Какие у России желания? Какие предпочтения? Не все ли ей равно, такой пустой и огромной, чему в ней быть. Города, деревни, пустыри, пахоты — пусть будет, как будет. Все ветшает, запускается, небрежется. Ей не до себя, ей до других есть дело. Ей желается только одного — желать чужими желаниями, думать чужими мыслями и придавать величие чужим малостям и величинам. Где еще так раздавались ввысь и вширь личности других стран? Где еще их голоса разносились таким гулким эхом? Кто такие Байрон, Бальзак, Диккенс, Гегель, Шеллинг, Фейербах, Маркс, Ницше, Хемингуэй для своих стран? Полузабытые имена, известные только профессионалам, да и при жизни — профессора своих наук или мастера своих искусств, не более того. Каждый в своей узкой ячейке. Да и Марат, Робеспьер — кто во Франции помнит эти имена памятью сердца, чтобы сердце обливалось кровью при мысли о таком величии, о таком злодействе, о таком сверхчеловечестве? Никто и не помнит, кроме историков и школьников, забывающих сразу после экзамена. А Россия приняла их в свое сердце и столько построила в себе на этих именах, столько развела в себе маратства и робеспьеризма, кровью их полила и удобрила... Здесь, в этом пространстве слуха, они выросли несравненно с тем местом, где были изречены.

Ведь у нас что ни зарубежное имя, то гром небесный, и какая-то в нем есть интригующая тайна, недоговоренность, которую хочется за него договорить. Как они перерастают сами себя, попадая в Россию! Как звучат на русском языке имена Хайдеггера и Сартра, Фолкнера и Сэлинджера, Кортасара и Акутагавы, Модильяни и Пикассо! Волшебно звучат, как загадки и заклинания, приобретающие власть над душой. И хочется бесконечно их разгадывать и додумывать, не просто писать на них комментарии, но в них исповедоваться, их проповедовать, возглашать эти имена как лозунги, клясться ими, писать на стягах новых движений, с этими именами на устах умирать или спасать мир. Такой долгий, сказочный отзвук они рождают в нашем слухе. Россия не знает, как богата она чужими именами, но и те не знают, насколько богаче становятся, западая в сердце России. Ведь у себя на родине они всего-навсего личности со своими частными мнениями, зато у нас они говорят от имени Цивилизации, Философии, Свободы. Там их слабые голоса перебиваются другими голосами, и значения их речей, сухие и точные, равны самим себе. А здесь они удлиняются тенью, ложащейся на Восток от солнца, садящегося на Западе. У России есть тот долгий, терпеливый слух, погружаясь в который голос обретает сочность, богатство переливов, игру умолчаний и проговариваний.

И вот за эту глубину и настойчивость слуха, за это нежелание прерывать мелодию чужой речи Чаадаев вынес приговор России как досадному курьезу, как «пробелу в порядке разумного существования»⁹. А что, если эта пустота послана в мир, чтобы в ней, как в пусто сквозящем зеркале, мир увидел себя, возрос, оправдался, умножил свои дары и сторицей вернул их Господу?

Но поскольку Чаадаев скорбит о таком убожестве своей страны, то в следующем своем сочинении он делает еще более пагубный шаг: провозглашает веру, что в этом убожестве России скрыт залог ее грядущего величия и верховенства над миром. Переход от «Философических писем» к «Апологии сумасшедшего»: уничижение оказывается паче гордости. «...Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество... быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества»¹⁰.

Этот ошибочный шаг повторила за Чаадаевым вся русская мысль, а затем и история, попытавшись свое ничто превратить во все и поучительным словом вознестись над остальным миром. Вот Достоевский — никто лучше его не выразил чуждость русского слуха, явленную в Пушкине. «...Не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов... Мы... дружелюбно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе...»¹¹ Замечательно, тут бы и остановиться, ведь это и есть наша миссия —

⁹ Там же, с. 26.

¹⁰ Там же, с. 150.

¹¹ Ф. М. Достоевский об искусстве. М., «Искусство», 1973, с.с. 366, 368.

«принимать в свою душу»! Европа бурлит гениями крика, возгласа, увещевания, а тут вдруг на окраине цивилизации тихо вызрел гений слуха, способный вобрать в себя эти голоса, выслушать их до конца, до полной силы проникновения, тогда как раньше они обрывали друг друга на полуслове. Что толку в семенах, в этих могучих незримых дубах, если нет плодovitой почвы, готовой их принять и вырастить в себе?

Но даже Достоевскому мало этой всеотзывчивости — и вот она переходит у него в оглушительный возглас: «...указать исход европейской тоске в своей русской душе... а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии...»¹² Зачем это вырвалось у него? Вот так и пошла Россия изрекать окончательное слово и биться на весь мир в иступленном пророчестве... И случилось с Россией именно то, чего Достоевский так не хотел, а все-таки предрек и накликал.

8. Молчание Бога. Теология слуха

Затихает уже раба Божья от своего кликушеского приступа, и снова воцаряется тишина, залог великого слуха, обращенного с этой земли ко всему миру. Теперь-то и может обнаружиться в нашем замолкании то, что было правдой и в Пушкине, и в Достоевском, — уже не просто тишина, а покаяние слуха. Служение слуха, искупающего недержание речи. «...Перевоплощение своего духа в дух чужих народов... Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслышанное, а по-нашему и пророческое...» Тут Достоевский подходит к чему-то главному, к образу пророка, который пророчествует не речами, а слухом, ибо сам Бог, который уже две тысячи лет молчит с нами, есть великий слух. И у этого слуха должен быть свой пророк.

В Священном Писании особое внимание привлекают те места, где говорится о Божьем слухе, который не оставляет неуслышанным ни один вопль, ни даже шепот человеческий. Господь выдвигает пророков своих не только для того, чтобы говорить народу, но и чтобы слушать народ, и Сам слушает пророков, говорящих от имени народа. «И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их в слух Господа. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их...» (1 Царств, 8:21—22). Первое, что мы узнаем об Иисусе Христе в годы его возрастания, — это об его умении слушать. Таков самый ранний эпизод в Евангелии, где Иисус выступает как действующее лицо — и это действие есть слушание. «...Нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их» (Лука, 2:46).

Но сколь многое ни было бы прообразно запечатлено в обоих Заветах, слух Божий — это тема, подступающая к сердцу нашего времени, когда молчание Бога становится камнем преткновения для веры. Отчего Бог молчит? Почему не ответится на плач погибающих?

Нам дан житейский опыт, чтобы отвечать на вопросы, запредельные разуму. Во всякой живой беседе для каждого собеседника есть время говорить и время слушать.

Есть только два объяснения долгому молчанию Бога — молчанию сквозь человеческие вопли и моления, сквозь войны и революции, сквозь слезы младенцев, сквозь Освенцим и Колыму. Одно объяснение состоит в том, что Бога нет, молчание — знак его отсутствия. Второе объяснение состоит в том, что Бог молчит, потому что слушает нас. Он изрек свое первое слово через ветхозаветных пророков, второе — через своего Сына. После того, как само Слово обрело плоть, и жило среди людей, и было распято, и воскресло, — какое еще слово мог обратиться Бог к людям? Какие еще слова нужны? Теперь слово — за человеком. И Бог молчит, слушает нас, весь обратившись в слух. А мы воспринимаем это слушание как безучастное молчание, а для иных оно становится еще и соблазном...

И вот как последнюю милость Бог посылает свой слух в мир, чтобы сделать явным, что каждое слово будет услышано и каждая речь записана. Божий слух объемлет теперь всю землю, и только слабый человеческий слух не услышит в этом молчании той глубины, куда уходят все наши слова, ибо это молчание самого Слуха. В этом молчании готовится Его последнее слово, которое явится во славе, чтобы судить мир. Но прежде суда над человечеством Он хочет внять оправданиям человеческим, Он хочет увидеть в каждом человеке образ и подобие Свое, способное сказать нечто единственное, подобное откровению. Ведь каждая личность, посланная Создателем в мир, сама по себе, в своей единичности, уже является новой вестью. После Богочеловеческой жертвы благой вестью становится человек — уже од-

¹² Там же, сс. 368—369.

ним тем, что он дорого искуплен, он смысл и оправдание самой страшной жертвы. Не больше ли Христа тот, ради кого сам Христос претерпел смерть?¹³

Но кто услышит благую весть в глубине нашего косноязычия? Бог слышит все, но слышат ли люди этот Слух Господень, слышат ли они в молчании Бога глубину его напрягшегося слуха? И как Господь, чтобы донести до людей свое Слово (но не оглушить их мощью своего голоса), поставляет из их среды Сына человеческого, так теперь он поставляет сына человеческого, который учился бы у людей, чтобы они сами стали учителями, чтобы в их устах раскрылся запечатанный сосуд Слова. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши...» (Иоиль, 2:28). В каждом пробудится дар пророчества, каждая плоть станет себя произносящим словом, ибо появится для этого слух, способный вместить слово каждой плоти, смыслоносный и членораздельный вздох каждого духа.

И слух этот, готовый слушать до конца, не только возвышается над людьми, как ушная раковина неба, но странствует среди них, чтобы в образе человека они узнавали открытость Божьего слуха. Посылается в мир молчащий пророк, которому уже нечего сказать, ибо все нужное для увещания людей было сказано Словом распятым, а все нужное для приговора будет сказано Словом грядущим. Между этими двумя явлениями Слова помещается в истории явление Слуха. В слухе своем умалется Господь даже более, чем в образе нищего, бездомного, предвечного Слова, учителя человеческого. Ибо в слухе своем Господь пребывает безгласным среди людей, пустым, как соты улея, чтобы быть наполненным премудростью из человеческих уст. Этому вестнику, оставшемуся без вести, назначено быть ухом Божиим, приклоненным к каждому слову человеческому.

9. Не Завет, а Ответ

Нужно привлечь внимание к одной прерванной традиции русской мысли — к идее Третьего Завета. Эта идея была высказана впервые Иоахимом Флорским¹⁴, который утверждал, что после Ветхого Завета — Завета Отца и Нового Завета — Завета Сына должна наступить эпоха Третьего Завета — Святого Духа. Эта последовательность вытекает из христианского догмата Троицы. Если есть три ипостаси у Единого Бога и две из них выступали уже в истории человечества в форме Заветов, данных человечеству Отцом и Сыном, то неизбежно, как историческое развертывание этого догмата, должен явиться Третий Завет, данный Духом Святым.

Русские мыслители предреволюционной поры, особенно Бердяев и Мережковский, развили идею о Третьем Завете, когда над человечеством уже не будет тяготеть грех, искупленный Христом, и человечество от переживания своего отпадения от Бога устремится к тому, чтобы творить, как Бог. Это будет завет свободного творчества, которой выйдет из условно-символической сферы искусства и культуры и широко разольется по всей жизни. Однако этому пророчеству, высказанному Бердяевым в книге «Смысл творчества» в 1916 году, уже следующий год нанес сокрушительный удар. Человечество должно было вновь впасть в состояние греха, тяжелейшего, чем все предыдущие грехи, — грех богоборчества, безбожия, истребления всего творческого и живого. И, только пройдя через эти бездны греха, можно будет открыть новое, «третье» измерение святости.

Пережитый нами исторический опыт в корне меняет само представление о том, чем должна и может быть современная религиозная надежда. Как можно говорить о Третьем Завете, когда и первые два не были исполнены, и XX век, когда грех достиг небывалых глубин и размеров, является лучшим тому подтверждением. Не форма завета должна троекратно повториться, но должна радикально измениться сама форма связи человека с Богом. В завете Бог предстает как действующее лицо, Он заключает союз с человеком в форме откровения. Можем ли мы ждать новых откровений, пока не выполнили старых обетов? Можем ли требовать новых слов, пока не ответили на Слово Божие? Не Завет, но Ответ — вот единственная отме-

¹³ В одном наброске Ивана Соловьева находим разъяснение этой дерзновенной мысли: «Сам Христос поставил себя ниже людей, не для того, чтобы мы возносились над Христом, но чтобы, следуя Его примеру, ставили бы себя ниже тех, кого вознес Христос».

¹⁴ Иоахим Флорский (Joachimus Florensis, Gioacchino da Fiore) (ок. 1130—1202) — итальянский мистик, автор «Введения в Апокалипсис». Создал учение о трех духовных эпохах в истории человечества, соответствующих лицам Троицы. Оказал влияние на народные сектантские движения позднего средневековья (Дольчино, апостолики).

ренная и предназначенная нам форма религиозного поведения в послезаветную эпоху. Все, что сделано человеком за его жизнь, и все, что сделано человечеством за его историю, — все это сейчас осмысливается как ответ человечества Богу. Сама возможность рукотворной гибели всего человеческого рода, возникшая впервые в опыте нашего поколения, выдвигает перед ним необходимость такого отчета перед Божиим судом.

Естественно, что религия ответа не может воплотиться в форму откровения, подобную книгам Ветхого и Нового Заветов. Открывает — Бог, а отвечает — человек. Не потому ли молчит так долго Господь, что он напряженно вслушивается и ждет ответа?

Сорок два поколения, две тысячи лет отделяли Христа от Авраама, с которым Бог заключил первый завет. Те же две тысячи лет отделяют нас теперь от Христа. Первый завет был от Бога, во втором божественное уже встретилось и соединилось с человеческим. Третий завет должен исходить от самого человека, а такой завет, данный не в форме божественного откровения, может быть только ответом.

Бердяев предсказывал: «Третье, творческое откровение в Духе не будет иметь Священного Писания, не будет голосом свыше: оно совершится в человеке и человечестве... Антропологического откровения Бог ждет от человека, и человек не может его ждать от Бога»¹⁵. И все-таки была роковая ошибка в русском серебряном веке: пророки третьего завета, люди исключительно тонких духовных соблазов — Бердяев, Мережковский, Розанов, Вяч. Иванов — искали своего особого слова, чтобы пророчествовать, а Господь им не давал, и оттого запах тления лежит на их страницах, как будто листы коробятся в невидимом огне. Как они, любимые, заблуждались, желая высказать от себя то, что можно услышать только в душе другого, который всегда больше того, что сам может сказать о себе!

Да, человек не может ждать «антропологического откровения» от Бога, но он не может ждать его и от самого себя, а только от другого человека. Душа другого человека и есть откровение Бога о нем, и нам поручено это откровение услышать и передать другим.

Есть и еще одно знамение XX века. Любое слово можно перетолковать, извратить, определить, но нельзя опредметить слух. Тайное сильнее явного, слух сильнее голоса. Образ Бога, данный откровением, оказался гуманистически «превозможенным» и даже атеистически «отброшенным», включенным в культуру как ее «религиозная», бесконечно умяемая часть. На самом деле тайное сохраняет свою силу, лишь оставаясь нераскрытым, хотя бы даже в форме откровения. Вот почему то, к чему относит себя религия после атеизма, уже не есть некий обнаруживающий себя голос, но есть все вбирающий слух. Безбожие борется со Словом Божиим, а Бог побеждает его своим слухом. Мы в нем, он же больше нас.

Церковь доносит до нас Слово Божье. Но как донести глубину Его слуха? Можно ли воздвигнуть храм Слуху? У него нет проявлений, очертаний, нет слов, но всем словам он дает тот последний смысл, ради которого они звучат. Религия Слова сейчас переживает огромное потрясение: падение и новый подъем — превращаясь в религию Слуха.

Религия Слова богата модуляциями, тональностями, знаками и значениями, словами и условностями, теологическими интерпретациями и историческими традициями. Религия Слуха всего этого лишена, у нее нет никакого наследия. Это бедная религия, у которой нет пророка и провозвестника, потому что она живет и движется не Словом, которое было в начале, а Слухом, которому мы отвечаем в конце. Это прозрачный тупик истории — «стало вдруг слышно далеко во все стороны света». Слово уже было сказано в начале, чтобы вести и направлять человека, в конце же говорит сам человек, отвечая за свои пути перед Богом. Вот почему у бедной религии нет пророков, говорящих от Бога. А если и есть пророк, то на нем замолкает слышимое пророчество. Начинается пророчество без речи, пророчество Слуха.

10. Моление об имени

Есть время говорить и время слушать. И есть еще одно, совсем особое, краткое время, когда два молчания, встречаясь, проникают в глубины друг друга, испытывают слухом тайну слуха. Наступает такая тишина, что кажется, я слышу, как слушает меня Господь.

¹⁵ Иван Соловьев читал «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» Н. Бердяева по первоизданию 1916 года, хранящемуся в Ленинской библиотеке. Эта книга была одной из самых любимых в его круге чтения. Цитата сверена и исправлена по изданию: Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М., «Искусство», 1994, т. 1, с. 120.

Как это чудесно и непостижимо — знать, что Господь может призвать тебя, и не знать, в который день и час ты войдешь в силу, и сбудется ли вообще твое призвание. Я знаю только, что здесь и сейчас есть место и время для такого служения — служения Слуха. У людей открываются сердца, чтобы говорить, но еще закрыты сердца, чтобы слышать.

Господи, позволь мне узнать волю твою в имени моем, в рождении моем.

Господи, весь мир наполняет воля твоя, как тлеющий уголь наполнен огнем. Не могу я постичь твоей воли: призван, а не служу.

Мысли мои — как облака, рассеянные твоим ветром: бегут — и не знают куда.

Господи, отчего томишь меня тайной моих начальных дней?

Как назвать мне себя перед твоим лицом? Как сказать о себе ближним?

Далеко я от твоего дома, в великой стране,— как исполнить мне твою волю? Множествами людей смущена моя душа.

Возвись свой голос в моей душе, подай мне знак, чтобы я узнал свое имя.

Господи, завет ли хочешь заключить со мной,— я твой от рождения.

Барух ата, Адонай Элогейну, Элогим авитейну, Элоах Авраам, Элоах Ицхак, Элоах Иаков.

Ата гу Адонай Элогейну башамаим уварец увишмей гашамаим га эльоним.

Эмет ата гу ришон в эата гу ахарон умибаладейха эйн Элохим¹⁶.

Ничем был, ничем стал, ничем пройду перед лицом твоим.

Господи, открой мне имя мое.

Я последний, кто достоин исполнять твою волю, душа моя бежит к тебе — и не приближается.

Буду следовать за тобой, как пес, не понимая движений твоих.

Но и последним из последних недостойн я называться у тебя, потому что не знаю имени своего.

Илия? — но глухи мои уста, и не могу я превознести имя Господа перед народом.

Самуил? — но как доверить праведный суд малодушному и пугливому?

Михаил? — но где оружие мое, воля моя, меч мой, повергающий сатану и его воинство?

Как червь, извиваюсь я в потугах своей безымянной гордости. Неужели сойду в ад, изглаженный из твоей книги?

Господи, тебе угодно разделять веры, чтобы ни одна из них не заняла твоего места на земле. Ни одна не одолеет другую, но каждая умалится перед другой и в скорби своей склонится перед Господом, когда придет его день.

Кто верует, хранит границы своей веры — в этом святыня.

Кто верует, не впустит в храм иноверного и сам побойится вступить в чужой храм — в этом заповеданная малость человека перед Господом.

Я же скитаюсь между храмами твоими, Господи, нигде не находя себе места.

Господь превыше любой веры и свершает над множеством их свой обход.

Господь, утомляется душа моя близостью твоею, не выносит своей радости.

Поставь сильного надо мной, чтобы могла его слушаться моя душа.

Если избереешь меня тенью для света, чтобы ярче блистать ему,— буду покорно служить притчей в поучениях твоих.

Пусть в молчании твоём сгинет мое имя — насытится моя душа и молчанием твоим.

Господь ответил мне молчанием: назначен ты быть Никем, такое будет и имя твое передо Мною. А перед людьми имя твое Иван, потому что благовествовал Иоанн о Слове Моем, а ты будешь вестью о Слухе Моем, чтобы знало слово человеческое, какими путями идти и приближаться ко Мне.

¹⁶ Молитва на иврите: «Благословен Ты, Господь Бог, Бог отцов наших, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ты еси, Господи, Боже наш, и на небе, и на земле, и на горних небесах небес. Воистину, Ты первый, Ты и последний: кроме Тебя нет Бога». Иван Соловьев изучал иврит в конце 1970-х годов и некоторое время сам преподавал своим друзьям Тору с комментариями.

11. Среди молчальников

В своих летних странствиях я неожиданно набрел на сообщество «молчальников», или «молчунов», как их звали в окрестном народе. Анна Тимофеевна Брюханова, из баптистов, посоветовала мне, вдруг понизив голос: «А вы к старику Полянкину сходите, Григорию Ивановичу. К нему никого не посылают, потому что рассказать-то он ничего не расскажет. А вы сходите. Он послушает вас, может быть, что и ответит. Пользу получите». «А почему он не рассказывает?» «Закон такой на себя принял. О Боге не говорить. Это дело духовное».

Кое-что старик Полянкин мне все-таки рассказал. Это была община баптистов, которая по субботам и воскресеньям собиралась для долгих беседований, чтений и братских поучений о Боге. Несколько лет назад из нее выделилась община «молчальников». Вот как это произошло. Однажды горячий и страстный религиозный разговор продолжался много часов подряд и зашел за полночь. Один из братьев сидел в углу и говорил меньше других. Вдруг он поднялся и стал повторять с мученическим видом: «Не говорите мне про Бога! Я не могу больше слушать! Еще слово — и я сойду с ума или выброшусь из окна». Все затихли, и в молчании этот брат выбежал из комнаты, после чего долго не появлялся на собраниях. (Но и собрания постепенно стали другими.)

На этот счет сложилось два мнения. Одни утверждали, что брат не вынес разговора о Боге, потому что мало участвовал в нем, его душа, не умея соединиться с именем Господа, изболелась от непрерывного напоминания о своей непричастности. Другие полагали, что брат прав, — разговор о Боге угнетает душу, чувствительную к Его молчанию. Раздражение именем Божиим, которое постоянно на слуху, было одной из причин возникновения богохульства и безбожия. Нетерпение часто произносимого имени Божия — свойство верующей души, тогда как бесчувственная душа легко слышит и повторяет это имя.

Из тех, кто придерживался второго мнения, и составила маленькая община молчальников. Их основным кредо стало «не-говорите-мне-про-Бога» — невозможность для души терпеть произносимое вслух имя Божье. Поначалу в этой общине, которая формально так и остается при баптистской церкви, собирались для чтения вслух священных книг и совместного молчания о них. Такими я их и застал, когда впервые оказался в тех местах летом 1985 года, — удивительно, что они вообще согласились впустить меня и позволили задать несколько вопросов. Но уже следующим летом что-то переменялось. Может быть, страха стало меньше в стране и люди уже не так боялись быть услышанными; а может быть, само молчание, настаивавшее в себе, приобрело зрелость слуха. Но постепенно, помимо тихих собраний, возникла у них и новая потребность — приглашать к себе людей и выслушивать их.

Теперь они, по их собственным словам, уже не просто «молчальники», а «послушники» (в смысле не «монахи», а «слушающие», хотя в таком слушании уже есть и начало послушания¹⁷). К ним приходит тот, кто хочет раскрыться, выговориться, и они готовы внимательно слушать его, не прерывая, хоть всю ночь напролет.

Как ни странно, среди молчальников много пишущих, больше, чем среди других верующих, с которыми мне приходилось общаться. Письменность позволяет говорить и молчать одновременно.

В одной из рукописей я прочитал: «Нужен чей-то слух, чтобы узнать, где в твоих словах истина, а где ложь. И, слушая себя слухом кого-то другого, человек понимает истину того, что он хотел и не мог сказать... Может быть, тайна грядущего Слова — его беззвучность. Это и страшно в Страшном суде, что он происходит в полном молчании... Сильный слух идет в мир — мы слабые предтечи его».

12. Мессианские речи

В срединном своем пришествии Мессия будет молчать. В первом пришествии он увещевает, во втором — судит. А в своем срединном, «полуторном», пришествии он молчит. Уже у Достоевского в легенде о Великом Инквизиторе он молчит —

¹⁷ Среди записей Ивана Соловьева есть такая: «Замечательно, что в нашем языке «послушание» происходит от «слушания». Собственно, открытость слуха и есть начало послушания. Слушание — это послушничество в миру».

чтобы в самом Инквизиторе заговорило то, что Инквизитор замучил и подавил в себе. Христос молчит — и в Инквизиторе *заговорило*.

Так что «мессианская речь» — не такой уж пустой парадокс. Это речь, которая звучит в нас, когда Мессия молчит с нами. Он разделяет с нами свое молчание, чтобы мы могли разделить с ним свою речь. Чтобы мы впервые могли услышать себя, воспринять себя как Слово. Мессия молчит, чтобы каждый из нас стал Мессией. Мессия молчит, потому что две тысячи лет Его не было с нами, но Слово его оставалось в нас и среди одних — прорастало, среди других — гглохло на каменной почве.

Мы в христианстве воспитаны, мы о Христе слышаны, но что нам делать с нашей внутренней немотой? Как оправдаться? Душа молчит и не может стать словом, пока не найдет слуха, которому могла бы доверить это слово. Да, есть высоко над нами Божий слух, но ведь и Слово Божие было над нами, и, однако, мы были глухи к нему, пока оно не пришло к нам в образе Человеческом. Так и сейчас мы немые, пока не явится нам слух в образе человеческого и не будет слушать нас.

Господь посылает нам слух свой, чтобы Слово, которое было среди нас, теперь говорило из нас. Первое пришествие было посев Слова среди людей, а теперь наступает время жатвы. Слухом своим, как серпом, движется Господь среди всходов своего Слова. Между проповедью любви и судом справедливости есть еще один, тайный приход. Между двумя Божьими изречениями — время Его слушания, когда Он приходит в молчании.

Мы затеряны в сердцевине времен, между первым и вторым пришествием, когда совершается тайное и неузнанное посещение земли, чтобы люди, не узнавая Слова в лицо, слышали в себе его голос.

Кто же этот человек, которого избрал на этот раз Господь, чтобы не слово Свое изречь, а слух Свой наполнить речью человеческой? Кто этот, тишайший из тишайших, который «не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах?» (Исайя, 42:2).

В каждом из нас, приходящих на землю после Христа, завершается эпоха первого пришествия и начинается эпоха второго. Я и в себе — страшно сказать, но нельзя не сказать — чувствую мессианское призвание, какое-то начало Мессии, первые три буквы Его священного имени¹⁸.

Мое призвание может свершиться завтра, а может не свершиться никогда, но я создан таким, что мог бы его свершить, если бы Господь захотел. Я чувствую, что время для этого придет очень скоро, но так же скоро оно и пройдет, причем так, что если оно не свершится во мне, то и ни в ком другом не свершится, и это краткое время возможного свершения передвинется на другую эпоху, до которой я не доживу. Возможно, что у каждого человека есть такой период времени, когда Господь мог бы его избрать — его и никого другого, — но этот период проходит, оставляя место для новых возможностей избрания.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Я уехал из России в январе 1990 г. и забрал с собой копии всех текстов Ивана Соловьева, которые он передал мне перед отъездом. Мы обещали писать друг другу, но тогда это означало — подолгу ждать оказий между Америкой и Россией, чтобы лично передать письмо. И потому так потрясло меня сообщение, полученное осенью 1990 г. из России от нашей общей знакомой.

Она писала:

«Я боюсь, что случилось самое ужасное. Дело в том, что Иван исчез. Он не подает о себе никаких вестей, и мы не знаем, что думать. Не помню, писала ли я тебе, что со времени твоего отъезда мы виделись всего раза три-четыре, не больше. В Москве сейчас такая тоска и усталость, словно вот-вот наступит конец света, и все уже постепенно привыкли к этой мысли. Иногда как-то неловко смотреть в глаза близким людям. Все наши кухонные посиделки почти прекратились — не до этого. Не хочется никуда выходить из дому, и даже противно смотреть в окно — пустынные улицы, по которым носятся клочья мусора, и каждый прохожий кажется привидением. Как у Экклезиаста: «И помрачатся смотрящие в окно, и запираются будут двери на улицу, и на дороге ужасы».

¹⁸ Инициалы Ивана Игоревича Соловьева слагаются в начальные три буквы имени Иисуса.

Но возвращаюсь к главному. В конце июня Иван опять уехал исследовать свои секты — на юг, в Краснодарский край, где уже бывал раньше и где его ждали какие-то не то свидетели Иеговы, не то молчальники, не то молокане. Он ведь не очень распространялся об этих делах, как ты помнишь. Все в один голос уговаривали его не ехать, повременить, потому что там сейчас такая обстановка, что не дай Бог! Кавказ рядом. Уговаривали его поехать на север или в Прибалтику, к поморам, к старообрядцам. Он — ни в какую. Уехал, и долго от него ничего не было. Наконец пришла открытка Илье из Эссентуков, где он пишет, как много узнал нового и как ему хорошо. Кроме того, обмолвился, что сейчас двинется в другую сторону, где его давно ждут.

И все. Прошло полтора месяца, на носу учебный год, а от него — ни слуху ни духу. Начали розыск — ничего. Из краснодарского отделения милиции пришла бумага, в которой советуют не поднимать панику, но при этом сообщают, что в связи с напряженностью межнациональных отношений имеются отдельные случаи исчезновения людей. Страшно. Илья разыскал какого-то свидетеля Иеговы с немецкой фамилией, и тот на письмо ответил, что Иван у них еще не был, но собирался быть, и они его по-прежнему ждут, очень беспокоятся.

Вот и все, что я знаю. Спрашивать некого, обращаться не к кому. Понимаешь, в нашей теперешней жизни может быть все, что угодно. Не дай Бог, если он попал в рабство к чеченцам. Мы живем прямо в какое-то апокалиптическое время, и поэтому в голову приходит все самое дикое и непредставимое. Молюсь за него каждый день, и все мы надеемся, что еще обойдется, но страшно, страшно, страшно. Прости, может быть, зря написала тебе об этой тревоге, но так хочется поделиться».

Он так и не нашелся, пошел уже шестой год его исчезновения. Добавилось несколько отписок от того же ведомства внутренних дел. Им было не до Ивана, тем более что он поехал туда частным лицом, безо всякого «отношения» к официальным инстанциям, просто как «отдыхающий». Осенью 1990 г. Илья и Игорь съездили туда, поговорили с милицией, попытались восстановить его маршрут и выяснить, в каком месте он оборвался. Последний раз его видели в большой станице, километрах в сорока от Майкопа, где он побывал в нескольких домах, и у пятидесятников, и у адвентистов, и у каких-то единичников... Всех слушал, за всеми записывал. По его приглашению в одном доме сошлись два пятидесятника давно враждующих толков — и неожиданно поняли друг друга, помирились. Вечер прошел тепло, радостно. Утром собрался поехать дальше, пошел с рюкзаком на автобусную остановку. Больше его не видели.

Он мог резко поменять маршрут, если встречался с неожиданным собеседником, узнавал о встречах, молитвенных собраниях. Он хотел всюду побывать, все веры связать собой, чтобы через него они узнавали друг о друге. Он придумал для этих своих занятий такое название — «собиратель вер». Как бывают собиратели песен и сказок.

А потом, когда в этих местах и в самом деле народ пошел на народ и все смешалось в ненависти: чеченцы, русские, казаки, ингуши, осетины, грузины, абхазцы, — даже и отписки от милиции прекратились, стало не до того, потому что счет жертв пошел на десятки. В Москве постепенно все выправилось, полегчало, конец света был отложен. А Иван отправился туда, где в самом деле начался конец света, и уже не вернулся.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тихое пришествие

Из Москвы пришла рукопись, автор которой укрылся, видимо, под псевдонимом Тихон Кротов. Статья называется «Тихое пришествие». Я помещаю здесь из нее несколько отрывков, исключив уже известные сведения об Иване Соловьеве и общие рассуждения о роли мессианских идей в еврейской и русской истории:

«Тихо, неслышно грядет Мессия, не оставляя отдельного следа в мире. Если видите что-то особое, это не Мессия, ибо Он больше вашего зрения. Но каждый вслушайся и всмотрись в себя — не Ты ли? Просчитай указанные сроки, сверь имена, вспомни о роде своем! Не о Тебе ли сказано: «и невзрачен вид его?»

Иудеи ждали царственного Мессию, а явился друг рыбаков и мытарей, не имеющий, где преклонить голову. Человечество поверило в Иисуса, поверило, что именно таким и должен быть Христос. Почему же теперь оно ждет второго пришествия точь-в-точь по иудейскому образцу, уже один раз не исполненному? Ждет Царя в блеске силы и славы. Это значит, что христианство не проникло еще в глубины человеческого сердца. Второе пришествие еще больше, чем первое, должно отклоняться от ожидаемых торжеств, — не вернуться к иудейским надеждам на царство, а развить уже имеющийся опыт «снижения» Мессии. Сила придет от слабости, от последнего из людей, от воистину малого и бессильного.

Мессия приходит невидимо, тайно, как будто Никто не пришел. Не о нем ли сказано:

«Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку,
избранный мой, к Которому благоволит душа Моя...
Не возопиет и не возвысит голоса Своего,
и не даст услышать его на улицах;
Трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит...» (Исайя, 42:1—3).

«Ибо он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми... Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Исайя, 53:2—3).

Мессия не преобразует мира, но опрозрачивает. «Ныне мы знаем гадательно, сквозь тусклое стекло, а тогда увидим воочию». Мессия подобен чистому стеклу, которого не видно, потому что все видно сквозь него. «Нет в Нем ни вида, ни величия». Мессия стоит рядом с вами — и не видите Его, говорит с вами — и не слышите Его. «Не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах». Но вы слышите Его голос в себе и знаете, что это Его голос.

Было бы безумием верить в то, что Иван Соловьев, гражданин советской державы, так и не доживший до ее краха, и в самом деле есть «тот самый», которым заполнено наше ожидание. Но еще большим безумием было бы считать, что Бог не может сотворить невероятного.

Призвание того, кто может быть призван здесь и сейчас, в этой стране, уже раздавленной грехом своей мессианской гордыни, — не изменить, а принять. Победить мир приятием. Мессия — не вождь, а тварь дрожащая, вся состоящая из слуха и воздуха, вся резонирующая на чужой голос. Мессия — наименьший из всех, кто способен менять, и наибольший из тех, кто способен принять. Обычно эти дары уравниваются в людях, и кто имеет разум говорить, тот имеет и разум слышать; кто имеет силу действовать, тот имеет и восприимчивость к воздействиям. В нашей стране первое страшно усилилось за счет второго. Теперь Бог обращает соотношение этих даров. Но где найти такого, что был бы обращен своему веку, слухом больше, чем речью?

Я не верю земному величию. Величие — все, какое есть на свете, — принадлежит Творцу. Я верю только человеческой слабости. Верю тому, о кого никто не преткнется, кто остается в памяти как светлое отсутствие, как прозрачная тень.

Он исчезнет — и о нем забудут. Если в первом пришествии Он стал жертвой злобы, то в следующем — забвения. Его трудно отличить от мира, который останется после него. Там, где он побывал, мир становится больше похожим на себя, лица отчетливее, голоса слышнее, и трудно уже отличить тишину от слуха.

«Святое письмо»

Осенью 1995 г., примерно пять лет спустя после исчезновения Ивана Соловьева, один из его московских друзей получил письмо из Краснодарского края. По всей видимости, это было одно из тех «святых писем», которые время от времени начинали вдруг циркулировать по стране, с рассказом о некоем чудесном и поучительном происшествии, с непременным требованием размножить письмо и разослать знакомым, с обещанием награды или кары от Всевышнего за выполнение или невыполнение этого условия. В конверт был вложен двойной клетчатый листок из школьной тетради, загнутый по краям. На нем крупным, ясным, ученическим почерком было написано:

*ТЕМ, КТО ЗНАЛ ИВАНА СОЛОВЬЕВА,
И ТЕМ, КТО ЕЩЕ УЗНАЕТ ЕГО*

Знаете ли Вы, кем был Иван Игоревич Соловьев, житель Москвы, учитель, писатель? Некоторые мудрые люди имеют догадку и разъяснение о нем.

Все говорят вокруг него — а он слушает.

Все показывают себя — а он видит.

Рядом с ним мир становится открытым, как вопрос, и полным, как ответ.

Кто избежит его поучений, если он молчит?

Разве не научит себя тот, у кого даже он учится?

Кто ты? — Я с малым из малых и с меньшим из меньших. Кто принял мир, того я приму. Я ваша малость, я ваше молчание, ваше ничто.

Он Ваше молчание и Ваша тень. Когда сравнятесь головами со Светом, не увидите его у своих ног.

Если даст вам силы Господь, перепишите это письмо своей рукой и пошлите его самому близкому другу, чтобы и он послал это письмо своему близкому другу.

Друзья Ивана Соловьева.

Это было самое краткое из всех «святых писем», что мне доводилось читать.



Олег ПАВЛОВ

Господин Сочинитель

О ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИСЛАВА ОТРОШЕНКО

Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли, напоминающей японских самураев.

Велемир Хлебников. «О расширении пределов русской словесности»

В литературе есть только итоги; а по мысли Ницше: будь тем, что ты есть, — и ты будешь всем. Так и у неизвестного почти для литературной публики некоего прозаика «В. Отрошенко» нет ничего лучше уже написанного, и достиг он в искусстве, в искусстве еще не покорявшейся другим вершины. Однако ж его прозрение, а потом и озарение, когда все воздушные нити чувств обрели форму, словно соткались в ту ни с чем не сравнимую материю языка, в его *прозу*, проплыли над литературой наподобие шаровой молнии — бесшумные, в немоте своего напряжения, неприкаянные, исчезающие неизвестно в каком времени.

«Двор прадеда Гриши» — повесть, опубликованная в первом номере «Ясной Поляны», нового журнала, что был открыт для чтения в 1997 году; повесть из небольших рассказов новый журнал и опубликовал как бы заново, хотя впервые она увидела свет лет десять назад и читали ее тогда не толстовцы, а комсомольцы. Точно так в 1996 году журнал «Постскриптум» заново опубликовал прозаический триптих «Персона вне достоверности», что странствовал по литературе столько ж лет. Журнал «Октябрь» возвратил похороненные было под спудом прошлого рассказы — «Из жизни олуха и его приятеля», «Старуха Тамара»... Уделом многих новейших писателей оказалось такое вот странное для них возвращение из недалекого прошлого. Да, бывали тогда судьбы и трагичней, этого хоть печатали, скажут нам, но и мы говорим о судьбе все-то не трагичной, а загадочной, какой-то прозеванной. Да был ли Отрошенко?! Первая его книга, точней сказать, мистический роман об одной из самых роковых фигур в русской литературе, Александре Васильевиче Сухово-Кобылине — «Веди меня, слепец», — до нас не дошла из Новочеркасска ни поездами, ни пароходами; россыпи рассказов; оригинальная философская эссеистика; пять настоящих доподлинных русских повестей — за напряженным творчеством десятилетия, и что же?

Сочинения неизбежные в путисплетении русской прозы оказались в современности незамеченными. Но дело было и в духе самих сочинений, которые, отдадим им должное, оказались неуязвимы для критических казнящих или милующих взглядов, потому что принимали угодный своему времени вид, будто воск, а сгорая свечкой, вовсе не утрачивали смысла искуснейшей своей формы. Отдадут ли этой прозе должное теперь в литературном мире или воспримут поверхностно, снисходительно, как это уже было в прошлом, — но, открывая ее заново, наверное, отыщут когда-нибудь возможность и понять, открыть для себя наконец простую ее суть: признать талант сочинителя неповторимым, феноменальным.

Отрошенко — блаженный шептун, и если относить его к современности, то не иначе как к тому кругу писателей, у которых вымысел и миф, сплетенные с достоверностью, есть способ создания своего, вневременного мира, но и способ отрицания зла, поэтического надмирного созерцания, что ни на есть русского по своей природе.

«Двор прадеда Гриши» написан так искренно, как только можно писать. Это повествование о детстве мальчика, живущего в казачьей станице у двух своих стариков, прадеда Гриши и жены его Анисьи. Написаны эти картины жизни, быта видением ребенка и его душой. Нет понимания таких вещей, как смерть, зло. Вместо того есть детские, даже у стариков, обида, жадность, страхи, хитрость, простодушие; озабоченность внешним, а не внутренним — эгоизм вечно живого существа. Детская искренность мальчика и стариков одушевляет предметы, животных, природу — ко всему есть вера. Но в душе ребенка от осознания этого чуда жизни рождаются вовсе не страх Божий и смирение, а чувство божественного в самом себе.

Все образы в повествованиях Отрошенко «моторные», как в страшных чудесных сказках Гоголя. В движении приходит весь предметный мир, но мистицизм взрослого человека, порой мрачный, ни за что не сроднить с мистическим видением детским, где царят только удивление и радость бытия. Все реально настолько, насколько реальна человеческая жизнь. Ребенку, мальчику, жизнь кажется вечной — он великое Никто и Ничто и кружится, будто б «божья пчелка», в рое пчелином своего прадеда, так что прадед Гриша нет-нет да курнет на внука дымком, как на ту самую надоедливую кусачую пчелу.

Но рой — как род человеческий. Отрошенко совершает открытие: тому, кто только явился на свет, все в этом свете должно казаться старшим по возрасту — древним, даже вечным. Будто жили до него эти дед с бабкой не одну сотню лет. Ощущение прочности бытия неожиданно внушается их старостью. Мировая гармония, в которой даже пугающего вида рак, выловленный из реки и что жил в ней много лет, становится «дедом Семеном», злобным хозяином сарайчика, где «жрет он свой поганый уголь» и жив триста лет. А между тем сюжет повести — череда смертей этих стариков, череда нестрашных незаметных исчезновений. Дед — как засыпает. Бабка — ей смерть как приснилась. Умершие еще долго ворочаются в своих гробах, будто устраиваются в них поудобней, ругаются да норовят попрекнуть живых, что те им чем-то не угодили, чего-то недодали. Наконец звучит, обрамляя повествование печальным, но и благоухающим венком, тема «того света», где все «темно и безобразно».

Отрошенко назвал рассказы «Двора прадеда Гриши» настораживающе поэтично «новеллами», но это оказывается всего лишь печальной усмешкой над печальным же; чем-то допотопным и сиротским, как граммофон, что выносит на двор из пылищи прадед Гриша и слушает, пугая гусей да индюшек страстями человеческими — музыкой, рвущейся на свет из медной трубы. «Музыка», одноименная новелла, — воплощенная мировая гармония. Умер прадед. Мальчик расковырял граммофон, желая открыть наконец тайну тех запретных звуков, хранителем которых был умерший старик. А тайна исчезла навеки, превратившись в горку пружинок, в хлам, в прах. Так вот и смерть — разбирает человека до косточек, становится ей это можно сделать. Если нет души, то нет вам тогда и мира, замолкает он и гаснет, превращается в бесполезный прах, как старый этот граммофон. Исчезает музыка.

В чем-то «Двор прадеда Гриши» (не повествование, а его герой, спасающийся во дворе своего прадеда, как на Ноевом ковчеге, мальчик, ребенок с вечной «стариковской» мудрой душой) воскрешает у читателя в памяти шолоховского «Нахалёнка». Но казаки у Отрошенко — не засланные от Шолохова, они от Господа Бога засланные — и так же по-небесному торжественно величает он их в своих повестях «господами казаками»; не казаки, а будто ангелы, и стар и млад, и мужики и бабы.

В эпилоге, уже-то всплывшем в конце повествования от поэзии, от возвышенных чувств, ожидаемо поясняется отношение взрослого человека к своему детству и духовным открытиям. Взрослый человек разобранное пытается собрать — сделать то, что не вышло у мальчика. Это сотворение Логоса после Гармонии и ее уж горестное неминуемое исчезновение, сотворение насущного Мира вместо бывшего и не-насущного Света — так же простодушно замыкает от нас тайники жизни и души, как были они и распахнуты. Но зато и понятно, что этот эпилог никогда не будет до конца написан. Каждый раз чувство утраты, тоска по исчезнувшему будут заставлять взрослого человека в чем-то раскаиваться и раскаиваться до тех пор, покуда, как из скорлупы, не выплутится такой вот живой, весь из света мальчик.

Что же родилось раньше, скорлупа мертвящая Мира или несмертельный Свет, — решать уж тем, кто читал или захочет прочесть эту повесть. «Двор прадеда Гриши» — образец русского рассказа о детстве. Про жизнь сказать после такого чтения бывает нечего, хочется только, как ребенку, слушать и слушать, становясь в ней очарованным странником.

Триптих «Персона вне достоверности», создававшийся на протяжении почти десяти лет, печатался в наших журналах также на протяжении этого десятилетия,

загадочно блуждая над литературой. Начало загадочному этому блужданию положил «Наш современник» в девяносто первом году, в самый разгар гражданской литературной войны, последующий же маршрут, от «Нашего современника» и «Москвы» до «Искусства кино» и «Постскриптума», похож сам по себе на фантастическое произведение; это как пронестись электричкой из Москвы в Петушки, промахиваясь мимо кремлей да красных площадей, с мыслью о которых, верно, и зачиналось путешествие в литературу провинциала, да к тому же — потомственного казака с родиной Новочеркасском; человека одержимого, сильного, но и простодушно ранимого, одинокого.

Линии судьбы Отрошенко разыгрывались по сюжету его же повестей, и все вышесказанное будто бы входило в их замысел. Ощущение, что в одном предмете прячется еще другой предмет, ничтожно в сравнении с ощущением двойного дна в художественной форме. Вообразите хоть на мгновение, что вглуби Венеры мраморной Милосской, этой совершенной, замкнутой, что круг земной, формы, сокрыта непостижимым образом все другая форма, безобразная или пусть такая же, пусть даже точная, копия. Кто вообразил подобное, не говоря о том — кто сотворил, тот открыл уже иное *пространство* искусства. Так и Отрошенко, если он есть, если эта проза — не выдумка или же имитация, открыл другое, новое, неизвестное пространство литературы, однако ж не исчерпывающееся каким-нибудь очередным экзистенциальным абсурдом, где жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь и прочее, а полное воздуха и смысла.

«Персона вне достоверности» странствовала до сей поры и нашла успокоение в журнале «Постскриптум», славном своим тиражом. Тысяча штук журнальных книжек — все одно, что мертвые души; а Татьяна Вольтская и впрямь ездит по губернии нашей литературной московской эдаким Чичиковым, три раза в год, инкогнито, приобретая за пустяк лежащие мертвым грузом рукописи, обратно же путешествуя из Петербурга в Москву уже с благоухающими типографской краской «нумерами» своего журнала, тягая чуть не всю тыщу штук — именно что в Москву, и этот ее сизифов труд вдруг да завораживает. Это же означает, что существует журнал в пространстве почти потустороннем, мифическом. Обозначение «Санкт-Петербург — Москва», жалонерские эти вехи, однако обретает смысл как продление пути все той же судьбы и должно быть приписано к разряду этой же прозы. Так и запомнил: в году одна тысяча девятьсот девяносто шестом господин сочинитель возвратил сам себя через десять лет небытия в Москву!

«Персона вне достоверности», повторимся, сочинялась с жизненной долготой. Этот опыт, смысл, извлеченный Отрошенко из времени, и рассказывается нам в необычайной форме не литературы, а *литературной реальности*: «Он полагает, что времени как такового не существует вовсе... То есть, Анюта, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее...» И будь то «краткое исследование издательской деятельности Кутейникова» или же «публичная лекция, читанная лавритистом Игнатом Ставровским в зимней столице Королевства Бутан во время муссонных дождей и посвященная загадке жизни и смерти великого российского тамбурмажора Сальвадора Романо» — эту историю, полную захватывающих воплощений, воссоздать, хоть для отчета самому себе, оказывается уже невозможно. «Прощание с архивариусом», «Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия», «Тайны жалонерского искусства, или Разоблачение д-ра Казина» — маленькие мистерии. В понимании их как мистерий и кроется, на взгляд наш, разгадка того, что именуется высоко тайной творчества.

Это вовсе не «реализм», как было кем-то высказано по привычке обобщать уже известное, но и не произведение в духе и приемах «постмодернизма», послевкусие доморощенных наших фолкнеров и кафок, от которого давно уж дурно пахнет искусством. Область войска Донского и Новочеркасск — не мифическое Макондо и прочее. Они, если уж искать подобия, подобны русской небесной тоске по родине; в тоске этой строили в глухих местах монастыри, скитались, клали головы на плаху, то есть натурально рождались, жили да умирали.

Новочеркасск есть тот же Миргород, Старгород, Чевенгур — место, область земли, возлюбленные в тоске и этой же тоской воплощенные. Точно так и энергию образов и языка дают Отрошенко не гоголевские с Запорожской сечи «паны братья», не лесковский атаман Матвей Платов из «Левши», не шолоховский казацкий комиссар, а еще не слыханные нами в русской прозе «господа казаки», вся торжественная важность которых гудит уж в каждом слове. Однако ж и гудит она неизвестно, сама по себе живая мистерия; «Какое впечатление произвело на француза это объ-

явление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем экземпляре «Гражданских новостей» (он получал их в 7.30 утра) прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами синим карандашом «Тю!!!» и послал на Атаманскую, 14, дежурного вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме № 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, однако же, доложил, что ему "удалось обнаружить некоторую невразумительность в ехидной фигуре француза Ж. М. де Ларсона, которая производит на Атаманской, 14, фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не токма что французским фузилером, но даже хорошенькой маркиганткой".

«Гvizармы», «штуцера», «фузеи», «шмуцтитулы» и прочие щелкающие на языке словечки обладают тем же мистическим свойством. Ясно отношение к ним, будто б к живым, и что они не покоятся экспонатами в той прозе, а как раз вылазят из музейной пыли и начинают двигаться, становясь образами «моторными», движущими всем этим «балаганом воплощений». В стилизациях исторических, число которым в литературе нашей уж чуть не тыща, архаизмами только маскируют ту или иную историческую эпоху, но из-под масок мертвых «шмуцтитулов», «фузей» глядит разверстыми глазами серая пустота, потому как они и призваны только что пустоту скрыть да послужить достоверности. То есть значение их — стилизация, а не поэзия. Отрошенко ж в самих архаизмах открыл существо поэтическое, но зазвучать высокое, поэтическое в них могло не иначе, как из уст «господина казака», образа которого достоверней, милей для Отрошенко и нету: «...горцу в малиновом казачкине до того полובилась самодвижущаяся карета, что он, по его же призыванию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом». А в примечании авторском мы узнаем почти и тайну о неких орешковых чернилах: «При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки — нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила из отвара цецидий приобретают удивительную стойкость!».

Однако мистерия рождается не в страхе смерти или трагическом роковом ожидании смертей, а как по волшебству схваткой бесстрашной со смертью. Область войска Донского с его «отрядом неумных барабанщиков и ротой неумотимых гренадеров» отправляется в великий поход «на Индию». В походе том участвуют издатель-призрак Кутейников из повести «Прощание с архивариусом», выпустивший в своем «Донском арсенале» книжку-призрак о великом походе казаков на Индию, автор которой, отставной подьесаул Евлампий Харитонов, «скончался в станице Покровской, не успев дать формального согласия на публикацию своих разысканий». И затерянная частица Единого, тамбурмажор войска Донского Сальвадор Романо, жаждавший всегда рождаться «именно Сальвадором Антоновичем Романо» и разорвать круг рождений и смертей, обрести покой, а потому и ненавидящий путешествия. И доктор Казин, призрачный, с вдохновенным молодым человеком Александром Матвеевичем Туркиным открывшие тайну жалонерского искусства — ощущение вневременного несмертельного пространства. Войско блаженное, бесстрашное насмеяется над смертью, для ее-то лап и оказываясь вдруг призрачным. Это же веселие есть та самая торжественная важность человеческой жизни — и вот господа казаки торжествуют и грозят шашками с заснеженных гималайских вершин! «О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же, как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков — двадцать три тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров...» И это — торжество, вершина господина сочинителя Отрошенко.

Проблеск гения — неизбежное свойство всякого сильного природного дарования. Но избыток силы творческой, именно легкость, растворяется без следа в заурядном будничном понимании таланта. Легкость, только оттого, что она легкость, представляется верным знаком чего-то поверхностного, скоропалительного, легковесного, полуявленного. А надо верить в дар Божий и понимать, что исполняется-то не человеческая, а Божья воля; «Тю!!!» — и послал душу человеческую бессмертную родиться в тот самый Новочеркасск.



Земля и Мир

«НОМО FABER» ФРИША КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ
СПУТНИК ЗЕМЛИ

Переводя в прошлом году в качестве поденной работы на заказ монографию о Мартине Хайдеггере (вышедшую 25 лет назад в гамбургском издательстве «Rowolt» и состоящую почти сплошь из цитат монографируемого, «просветы» между которыми заполнены хайдеггеризированным до неотличимости языком монографирующего), я на-шел на следующие цитаты из статьи «Der Ursprung des Kunstwerkes», вышедшей у нас ранее, например, в переводе А. Михайлова, под весьма вольнолюбивым названием «Исток художественного творения» (речь касалась древнегреческого храма как особого рода произведения искусства):

«Восставление Мира и поставление Земли суть две существенные черты в бытии произведения произведением искусства»;

«Мир основывается на Земле»;

«Земля не может лишиться распахнутости Мира, она сама как Земля должна свершаться в освобожденном напоре своего самозамыкания. И Мир также не может воспарить от Земли, он в качестве правящей шири и магистрали всех существенных судеб должен основываться на чем-то решительно(м)-обнаженном».

Русский язык этого немца — чего и говорить — звучит странно, чересчур гулко-многообещающе и туманно в хорошем, я бы сказал, смысле слова и притом дает понять, что речь в нем идет о самых простых и верных вещах, о которых, видимо, все же не стоит и пытаться говорить так прямо и, что называется, по существу.

Ломая голову и язык над возможностями перевода вышеприведенных цитат, я имел едва ли не ностальгическое чувство, точно припоминаю что-то очень хорошо знакомое, уже встречавшееся мне с равным успехом на страницах как с русскими, так и с немецкими буквами — в каком-то «настоящем» *произведении искусства*, у-словно говоря,— и там все то же было выражено и высказано проще, естественно и безоговорочно, что ли; вдыхалось легко и жадно, словно воздух в путешествии, где и сам воздух, и то, что, собственно, дышишь, занимаешься такой жизненно необходимой деятельностью как лакомым делом, впервые и замечаются как нечто замечательное.

Но, сознавая «поджимающие сроки» и ощущая глубокое нахождение «в струе» перевода, в которую не всегда удается попасть до чувства глубокого удовлетворения, я не позволил себе отвлечься на воспоминания, тем более с ностальгическим ароматом — я бы лично сказал: миндаля горького. Однако, едва заструился изнутри — ну чего: мозга, что ли? — этот аромат, как тотчас выскочил, точно на дополнительно вмиг возникшем передовом «окне» компьютера, каламбур поздних студенческих лет: *«Макс Свежий лучше, чем Макс Горький»*, и я вспомнил, что это мне Фриш вспоминается, точнее его «Фабер». Я отметил это с весьма глубоким удовлетворением, без отрыва от перевода.

Глубоким же вечером, когда от него все же пришлось оторваться в силу многих естественных причин, я, рассеянно войдя в соседнюю комнату, где работал себе телевизор, услышал, что и в *этом* ящике некий молодой человек ведет речь о фришевском «Хомо Фабере» в связи с каким-то реальным лицом. Прислушавшись и присмотревшись, я понял, что имеет место представление зарубежного фильма, который вот-вот должен начать транслироваться на первом канале ОРТ, а реальное лицо — это немецкоязычный режиссер Шлэнд-Орф, экранизировавший,

оказывается, «Фабера» довольно уже давно под облегченным псевдонимом «Вояжер».

Изрядно удивившись факту существования киноверсии такой книги, а также и факту демонстрации такого фильма у нас на первом канале, я — пока человек еще представлял режиссера и его ленту — принялся искать в уме объяснения этим фактам, точнее, по-хайдеггеровски, их *обоснования*. И тотчас же нашел, вернее, просто у-по-мнил: в том, 1997 году произведению писчего искусства «Homo Faber» исполнялось ровно сорок лет, а самому его герою и, можно сказать, однофамильцу — Faber'у Walter'у — соответственно девяносто.

Мне стало очевидно, что вспоминать (и со специальным, изрядным отрывом от Хайдеггера) фришевского «Фабера» все-таки придется, так сказать, *освежать* его в себе, по-новой приводить в себя, но теперь уж никак не раньше завтрашнего дня, потому что сейчас — фильм, фильм, фильм.

Что ж, фильм и оказался фильмом. Больше тут мне сказать нечего. Единственное, что я вынес из про-смotra полезного для *себя*, — это то, что действие действительно происходило там всюду в 1957 году от Р. Х. И это тем более замечательно, что книга, вышедшая в 1957-м и содержащая множество точных указаний на даты именно того года, в том же году, вероятно, и была написана. А что если на год раньше? Разве настоящий писатель не может себе позволить такого забегания вперед? Особенно если он швейцарец и Фриш? Особенно если существуют специальные таблицы движения планет на каждый день — расписанные по меньшей мере до конца истекающего двухсоттысячелетия и называемые *эфмеридами*, словом греческим и вполне гармоничным с атмосферой книги Фриша, в особенности же с ее финалом. Эфмеридами как рабочим инструментом пользуются профессиональные астрологи, и пару лет назад один такой знакомый мне астролог ставил вопрос: мол, не был ли и писатель Фриш астрологом-любителем с большой буквы? Или он просто был *настолько* гениальным писателем? На оба вопроса я пожал плечами — а подобное вопрошание было об-основано следующим: в литературном произведении Макса Фриша «Хомо Фабер», под-озаглавленным как «отчет», дано и присутствует такое число точных дат, возрастов и всяческих событий (вплоть до места и времени солнечного затмения в Риме, где-когда и происходит «главный» *электрический* акт между любящими и не вполне осознающими, что любят друг друга как отец и дочь, людьми), что читателю, соответствующим образом ориентированному и оснащенному, ничего не стоит рассчитать, составить и нарисовать гороскоп — так называемый натальный — на 1907 год и солярный — на 1957 год — некоего человека по имени Вальтер Фабер, которому в том самом 1957 году, во время трансатлантического рейса на океанском лайнере, исполняется ровно пятьдесят лет. Такая карта, кстати, и была составлена упомянутым астрологом — и в ней все «аспекты», «градусы», «транзиты» и т. п. полностью и с точностью до минут соответствовали событиям, описанным в книге, то есть могли быть с легкостью конвертированы интерпретацией именно в такие события. Другая возможная постановка вопроса: может быть, Фриш был просто знаком либо с реальным человеком, пережившим *такое* или *подобное*, а затем все доподлинно поведавшим известному (ему) писателю, либо Фришу каким-то образом попал в руки (наподобие того, как случилось у нас с шолоховским «Тихим Доном») скрупулезно ведшийся *дневник* такого реального человека, а писатель уж использовал и обработал его по-писательски. В пользу этой рабочей гипотезы может говорить подзаголовок произведения, об-у-словленный как «отчет». Правда, по прочтении книги становится ясным, что это скорее не отчет, но то, что в следственной практике определяется как «чистосердечное признание». Потому, во-первых, что все как целое написано *впоследствии*, *по следам*, а во-вторых, и ближе к сути, потому что все зафиксировано с позиции виноватого, сознающего и признающего свою вину — перед судом тех, кого он, довольно безотчетно, в последней строке называет словом «они» и которые — люди в белом и с лезвиями в руках — готовы прикончить его якобы как врачи, призванные удалить злокачественную опухоль из его же желудка.

Однако все эти специальные вопросы и гипотетические ответы на них не снимают и не разрешают изначального и более общего вопроса: как все это — реальное переживание событий кем-то настоящим или вымышленным, ознакомление с дневником, написание собственно книги в той форме, в которой мы ее теперь знаем как часть несомненной классики литературы нашего века, и ее публикация — могло иметь место и попросту у-меститься в одном, 1957-м, году?

Если допустить такое, то по крайней мере по логике вещей, вещь должна была быть создана невероятно *легко* и за очень короткий срок. Но как же *такая* вещь

могла возникнуть без усилий, без труда?! И это, мне кажется, еще один и еще более общий и существенный вопрос. Вопрос, который касается существа того, что по-немецки называется словом *Sache* и на русский может быть в достаточной полноте и достоверности переведено лишь как «деловещь». И здесь же нужно уточнить и определить: какая же *такая*? Вещь то есть. А такая, что без труда, как по маслу, как нож сквозь масло, вошла в ряды книг мировой литературы, притом, кажется, *не потеснив* никого из соседей, вошла без шума, не наделав шума; обнаружилась среди классических корешков очень естественно, как проросла; заняла *свое*, природно-законное место, точно это место издавна пустовало, будучи уготованным именно под эту вещь и спокойно себе ожидало в полной уверенности, что будет заполнено. Характер фришевского «Хомо Фабера» — этого срединного и центрального во всех смыслах и в этом смысле *нейтрального* для самого автора произведения — может быть сравнительно описан, как центр циклона: все кругом вращается в круговорты, захватывающей читателя и сметающей его (ну там Маркес или Кафка, к примеру, или Кастанеда, коли уж на то пошло), а здесь, у Фриша, все спокойно. Как в принципе и должно быть у исторически нейтрального швейцарца. Но это какое-то такое спокойствие, которое читателю более ценно и насыщающе, чем многие «потрясающие вещи», вместе взятые,— ураганы ли, цунами ли, землетрясения ли... Как швейцарский банк, что ли, как сам традиционный швейцарский нейтралитет, издавна отмеряемый швейцарскими же часами. Характер этой об-рекаемой здесь и уже давно об-реченной множеством критиков вещи таков, что от нее возникает ощущение, будто ей не всего сорок лет от роду, а по меньшей мере в два раза больше. Кажется, будто она существовала, что называется, «от века» — я имею в виду век нынешний, XX, весь теперь уже почти.

В предисловии к трехтомнику Фриша, выпущенному у нас издательством «Художественная литература» в 1991 году к юбилею самого Макса («В 1991 году вся мировая общественность будет отмечать 80-летие со дня рождения крупнейшего современного писателя Швейцарии...» — говорится, в частности, в аннотации к первому тому), известный у нас *вед* всего такого немецкоязычного Д. Затонский пишет о «Хомо Фабере»:

«И на теплоходе его как бы поджидает Сабет — его судьба, медиум крушения всей его жизненной системы. Сабет — его дочь от Ганны, дочь, которой он никогда не видел, о существовании которой не догадывался. Разумеется, то, что Фабер вступил с нею в связь, обусловлено не естеством (инженера.— А. В.), а ролью. Но то, что в связь он вступил именно с Сабет,— следствие его пробуждения: ведь она подсознательно напомнила ему мать, Ганну.

Так Фабер, можно бы сказать, закономерно приближается к своей жизненной катастрофе, к этой жуткой и отчаянной пародии на греческий миф; в том числе и на его роковую predeterminedность. У греков решала судьба; здесь, в сущности, решает сам Фабер, выбравший предательство по отношению ко всему в себе человеческому.

Фабер понял это, но понял слишком поздно.

Страдание, причиненное себе и другим, сделало марионетку Фабера *человеком*.

Мышо понимает, что окружающий мир устроен дурно, но считать, что это и есть наш единственный мир. Фриш думает иначе:

Когда у Фабера открылись глаза, он увидел сразу два мира — гримасы индустриальной цивилизации и то, что существует за ней и вне ее. Именно теперь, перестав опасаться «мистики», он разглядел яркие, поэтические краски природы...»

При всем уважении к точке зрения Затонского (и к нему самому, в том числе и как к автору отмеченного премии журнала «Знамя» рассказа со скромным названием «В дни войны» — о живом общении Сталина с Гитлером через удивительно живого посредника, якобы советского разведчика) хотелось бы заметить, что самая существенная особенность и характеристика «Фабера», по моему, в другом. Тут все настолько проще и шире, что сию простоту и ширь вообще попросту трудно заметить, если не смотреть по возможности еще шире.

Даты в тексте, конечно, не «от фонаря» и не «с потолка» даны — и если не «с неба», то из горизонта мировой истории уж наверняка. 1957 год — это ровно двенадцать лет спустя после окончания последней-предпоследней мировой войны. Действие — вот именно что разворачивается, раскатывается по *карте мира* на самом начале нового витка обычного людского времени, после того как пробил двенадцатый час (и на знаменитых на весь мир швейцарских часах в том числе) первого полного цикла *мира во всем мире*. Если бы эти соображения и наблюдения автору были не нужны, он попросту не стал бы их приводить: почему, спрашивается,

не 56-й или 55-й год? Какая существенная или революционная разница в технологиях, развитием которых занят по всему миру *правитель и умный делец* (так вполне корректно переводить с немецко-латинского имя-фамилию Вальтер Фабер), вошла в мир в 1957 году? Что — первый искусственный спутник Земли запустили русские на орбиту?

Уникально-тихий успех и приемлемость фришевского «Фабера» в том, что это, пожалуй, одно из самых *мирных* и *мирских* произведений мировой литературы. «Мир» в обоих значениях этого русского слова и «земля» (и с большой, и со средней, и с маленькой буквы) в состоянии мира — вот два ключевых слова для у-зрения существа этого фришевского деяния. Он понял и сумел со всяческими степенями убедительности и ненадуманности показать, что судьба человека имеет возможность свершиться во всей полноте (включающей в том числе и неосознанный *электрический* инцест человека в день или ночь солнечного затмения в древнем, как сам мир, Риме и его встречу с оставленной до войны, в прошлой жизни, женой в еще более древних Афинах в ситуации нелепо случайной и трагической смерти их общей дочери и его возлюбленной только при том условии, что вся Земля в любой момент времени открыта и доступна, условием для чего, в свою очередь, является ситуация *мира*; то есть отсутствия войны на этой *всей* Земле. Чтобы свершилась столь ужасная судьба, как у Фабера — указуя тем самым на то, что Судьба, какая бы ни была, свершаясь, обязательно оказывается ужасной *нечеловечески*, — необходимо, чтобы для этого свершения имелась твердая, надежная и непоколебимая почва, то есть собственно *Земля* как мировая сцена действия человеческой траги-комедии. Человек умелый, разумный, дабы встретить свою судьбу, опознать и признать ее как таковую, должен быть уверен, что он может спокойно поехать по земле на машине или поезде, спокойно подняться в небо на самолете (вынужденные посадки и аварии, будучи случайностями, — тоже судьба), пересечь водный межконтинентальный массив на трансконтинентальном судне. Чтобы вообще увидеть связанное и закономерное-закономерное, он должен двигаться и действовать *на фоне* — на фоне мирной Земли; он должен быть уверен, что одновременно в своих суверенно-традиционных качествах существуют Венесуэла и Мексика с их джунглями, стервятниками, индейцами и древне-индейскими пирамидами, Нью-Йорк с его понятно чем, вся старая добрая культурная Европа, колыбельная, впавшая в лету-ргию Греция, Ближний Восток с его арабско-мусульманским миром и т. д. Земля, похоронив в себе столь многое, все это в себе хранит и ждет, когда придет нужный человек и встанет на нужное место, — и тогда, чтоб ему провалиться на этом месте, перед ним восстанут такие *его* «покойники», которые перевернут всю его жизнь.

Все это и все такое попросту невозможно, если вокруг буквально все взрывается и на тебя, точно одни тузы из колоды, летят бомбы и пули, рушатся здания, земля уходит из-под ног, когда буквально весь мир начинен невозможностью спокойно и связно жить-быть. В военном мире все чрезвычайной, все судьбоносно — а «ужасная судьба» бытует как повседневная обыденность. И судьба, обступая человека со всех сторон как обстоятельства, никому конкретному не дается в руки и даже не заглядывает в глаза. Никого не *избирает*.

Фриш в своем «Фабере» трогательно и касательно указывает на все эти условия *игры с судьбой* еще и тем, что собственно войны, конкретной, второй мировой, в тексте нет — все происходит, *завязываясь* и *зачинаясь*, до войны и *развивается* до своего логического ис-хода через двенадцать лет после войны. Для войны — разводя руками, показывает Фриш — просто нет места в мире. У него вся война — уже в земле, в Земле. И из нее она избирательно стреляет в отмеченных судьбою людей в избранных местах — действуя на этом уровне точно так, как на своем уровне действуют оставшиеся в земле со времен войны механические невзорвавшиеся в свое время мины и бомбы.

Мало, видимо, чего человеку хочется в мире так сильно, как найти свою судьбу, наступить на свою (золотую) мину и на ней взлететь в воздух. Но нужно, чтоб не со всеми вместе. Не скопом, не в газовой камере, не на Курской дуге, не в печи Освенцима. Самому, в одиночку, частным образом. В от-личие от... Сохраняя лицо и блюдя права человека. Но-таки — на мину.

Еще в начале книги, когда мы знаем только о вынужденной посадке самолета с Фабером на борту в мезо-американской пустыне, о его встрече на этом борту с братом его довоенного друга, о последовавшем вскоре лицезрении ими двумя самоубийства вышеозначенного брата и друга и о посадке Фабера на теплоход рейса Нью-Йорк — Париж, Фриш — устами почему-то припоминаемого героем французского археолога на майских руинах — вводит друг за дружкой две фразы:

«Tu sais que la mort est femme» и «Et que la terre est femme». На немецком, как, впрочем, и на русском (как, наверное, и во многих других европейских языках, где есть категория рода) слова «женщина» и «земля» — женского рода, и ни один из смыслов не был бы потерян, прозвучи то же самое на чистейшем немецком языке: мол, «Ты знаешь, (что) смерть — это женщина» и (что) «Земля — это женщина». Просто, видимо, у немца с французом есть возможность встретиться на одной (центральноамериканской) земле и при этом не на войне. И такая встреча уже Бог знает почему, но наверняка несет в себе и предвещает *судьбу*.

Можно еще задать вопрос: читали и читали ли Фриш и Хайдеггер, как философский писатель и писательствующий философ, друг друга при жизни? Для такого вопроса есть *об-основания*. Ведь они жили в одно время на одной земле (Земле), в одном — немецкоязычном — мире; их имена начинаются *одно-сложно*, а фамилии — в каталогах библиотек России, этой «самой читающей» в мире и на Земле страны,— идут *буквально*, по буквам друг за другом.

Однако это вопрос скорее *праздний*, чем собственно *юбилейный*.



Оскорбленные атланты

●

Айн Рэнд. АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ. В 3-х кн. Пер. с англ. СПб., МП РИЦ «Культ-информ-пресс», 1997.

●

Впечатляет прежде всего объем (эта штучка будет потолще почти любого классического романа), а уже потом страсть и масштаб проблемы: все воспитанные люди уже давно усвоили, что дело литературы — заниматься частностями, игрой, чем угодно, но ибсеновскому глобализму место разве что в социальной фантастике. Впрочем, «Атлант...» и есть социальная фантастика — «центральное произведение русской писательницы зарубежья Айн Рэнд, переведенное на множество языков и оказавшее влияние на умы нескольких поколений читателей». Теперь подошла и наша очередь подвергнуться влиянию дочери петербургского аптекаря Алисы Розенбаум, сочетающей «фантастику и реализм, утопию и антиутопию, романтическую героиню и испепеляющий гротеск», ставящей «очень поновому» извечные «проклятые вопросы» и предлагающей «свои варианты ответов — острые, парадоксальные, во многом спорные». Правда, тираж всего одна тысяча — зато какая, вся в коже и золоте! Эти тома продолжают новую серию «Философия Айн Рэнд: нравственность эгоизма» — впереди еще добрый десяток книг, хотя и позади уже добрая тройка. Издание поддерживается Балтийским финансовым агентством — авось сдюжит.

Итак, индустриальная Америка переживает кризис, падает производство, растет аварийность, дефицит всего на свете заставляет правительство прибегать к жестким перераспределительным мерам, от которых больше всего страдают именно те «атланты», кто сумел удержать производство на высоте, их сопротивление правительственному «бандитизму» клеймится как эгоистическое и антиобщественное.

Вместе с нарастанием конфликта макроэкономического нарастает и конфликт идейный. Коллективисты настаивают, что заботиться следует прежде всего об

обществе в целом (справедливо все, что полезно обществу), с полным основанием напоминая о том, что без многовековых научных и технологических накоплений никто ничего не сумел бы изобрести; им вторят интеллектуалы, не желающие, чтобы искусство и наука зависели от подачек мясников, сталеваров и хлебопек, — духовная деятельность должна финансироваться из госбюджета, а тиражи популярных книг урезываться до десяти тысяч, чтобы читателю пришлось покупать «хорошую» литературу; гуманисты — от уличного проповедника до дураковатого, разоряющего своих вкладчиков банкира (и глумящегося над идиотами супермена, намеренно разваливающего производство попустительством) — твердят, что способные должны служить неспособным, что производство существует не для извлечения прибыли, а для удовлетворения нужд тех, кто на нем трудится, что умение любить важнее, чем умение сколотить состояние, — наиболее нахальные требуют даже права на критику тех, за чей счет они живут, а живут все на свете за счет атлантов — людей изобретательных и предприимчивых.

На индивидуалистическом полюсе тоже происходит интеллектуальная мобилизация: никакие общественные интересы не могут оправдать истребления лучших; имеет значение лишь одно — насколько хорошо ты делаешь свое дело; стыдно пользоваться милосердием в качестве оружия; не следует зависеть от чьей бы то ни было благотворительности — нужно платить за чужие услуги и продавать собственные; высшее человеческое качество — способность производить; единственная мораль — нерушимость контракта; высшая моральная цель — достижение собственного счастья; деньги — это свободный обмен свободных людей, богатство — результат мысли, поэтому делать деньги — основа новой морали, делец — идеал нового человека. «Кровь, кнут, оружие — или доллар» — лозунги положительных героев романа вполне сгодились бы в заголовки перестроечной публицистики наших рыночников («Иного не дано!»).

Дело не ограничивается бесконечными идейными схватками в каждой конторе, каждой гостиной и каждой спальне: появляется некий Анти-Робин-Гуд — прекрасный викинг, отнимающий деньги у вымо-

гателей-бедняков и возвращающий их честным труженикам-богачам, стремящийся истребить из памяти человечества гнусный образ Робин Гуда, символизирующего ту мерзкую идею, что нужда, а не достижение является источником права.

Борьба за право человека быть безгранично корыстным (но только в сфере свободного обмена!) рождает бескорыстнейших героев, пытающихся разрушить мир насилия слабых над сильными (некое индустриальное нищезанство). Джон Галт — пророк нового мира — организует забастовку атлантов. Забастовка постепенно принимает массовый характер: даже рабочие высокой квалификации толпами сваливают неведомо куда. А самые лучшие, атланты из атлантов, собираются в отрезанной от мира горной долине и закладывают там основы светлого будущего. Типичный для социалистов-утопистов проект — колония избранных (в реальности всегда разваливающаяся) — подхвачен капиталистами-утопистами. И уж у них-то дело идет на лад — среди них не оказывается ни одного завистника, ни одного честолюбца, сплетника, интригана: проигравший в честной борьбе спокойно уступает место более достойному и берется за то дело, к которому имеет большее призвание: в Долине атлантов есть и свой скульптор, и свой композитор, и они сколько-нибудь заметно не переживают из-за нехватки квалифицированных ценителей, не страдая также и от необходимости добывать себе пропитание, — все как-то устраивается, никакой дисгармонии между потребностями и возможностями не возникает: способности одного человека вовсе не угрожают другим, даже деятели искусства не образуют враждебных школ и направлений. В этом капиталистическом раю запрещено только одно — что-то давать бесплатно: мультимиллионер берет с приятеля двадцать пять центов за пользование своей машиной. Девиз нового мира — «Никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня».

Атланты вернутся к людям, когда погаснут уже и огни Нью-Йорка, вернутся и водрузят над развалинами знамя свободы — знак доллара. А до тех пор они с величайшей самоотверженностью переносят угрозы и даже пытки подлых коллективистов (чистая «Молодая гвардия») или с величайшим спокойствием уничтожают их приспешников: «Она, которая не осмелилась бы выстрелить в животное... спокойно и равнодушно выстрелила прямо в сердце человека, который хотел существовать, не принимая на себя никакой ответственности».

Это уже «Мать» — путь Ниловны-Дэгни, простого железнодорожного менеджера, в капиталистическую революцию.

Есть в романе и своя «Битва в пути» — мужественная любовь менеджера и стального короля на фоне доменных печей, рельсов и груженых составов. И завершается все «Оптимистической трагедией»: в Нью-Йорке наконец гаснет электричество, и атланты возвращаются к людям, чтобы уже не повторять прежних ошибок — не ограничивать свободу производства и торговли ни для каких, якобы благих, целей — таких целей в природе не существует. Одновременно они повторяют азы аристотелевой логики, ибо маловеры, скептически относящиеся к возможностям человеческого разума, тоже пребывают в ранге их первых врагов — рационалистов типа Чернышевского или Ленина, в стане коллективистов почему-то не наблюдается. Деятельных фанатиков тоже — атлантам противостоят исключительно недотепы, завистники и прохвосты. Все как у большевиков — выражать им могли только недоумки да корыстные негодяи.

Этот роман — уж не пародия ли он? Но не в трех же томах! И разве стало бы поддерживать пародию Балтийское финансовое агентство — наверняка оно было бескорыстно обольщено поставленными «очень по-новому»... Но уж с этим-то позвольте не согласиться: еще Спенсер доказывал, что прогресс промышленности и торговли приводит к вытеснению централизованно управляемых обществ военного типа обществами индустриального типа, в которых будет царить свободный обмен. Он же указывал, что централизованное управление экономикой приведет к тому, что люди попадут в зависимость от собственных уполномоченных, — аристократия денег сменится аристократией блага, как афористично выражается Айн Рэнд. Живописуемый ею развал экономики и уничтожение гражданских свобод в обществе, лишенном рыночной саморегуляции, и на научном, и на публицистическом уровне проанализирован и Бруцкусом, и Хайеком, и Дорой Штурман: сегодня нова для нас у Айн Рэнд разве что та бесшабашность, с которой она раскидывает законы рынка на весь безбрежно сложный космос человеческих отношений, ни на миг не задумываясь, что потребности человеческой души едва ли когда-нибудь полностью подчинятся потребностям производства, — до этого и марксисты не доходили, даже у них над базисом балансировала какая-то относительно независимая надстройка. Психология, вероятно, всегда останется не в ладу с экономикой, но Айн Рэнд не до подобных туманностей: она не видит ограничителей производственных свобод ни в опасности монополизма, ни в дисбалансе спроса и предложения, ни в экологически вредных технологиях, ни в экономической привле-

кательности оружейного и наркобизнеса, ни в международных противостояниях...

И между тем Айн Рэнд, как ни странно, человек в чем-то весьма неглупый. В романе масса метких афоризмов, точных психологических мотивировок и конфликтов (правда, всегда работающих в одну сторону) — и это заставляет читать роман с интересом, несмотря на чудовищные длинноты (главным пожирателем пространства и времени, как всегда, оказываются диалоги) и стиль лирических сцен: «Ее глаза были прикрыты в дразнящем, торжествующем осознании того, что ею восхищаются; но губы были приоткрыты в беспомощном, молящем ожидании», — увь, Айн Рэнд в изображении любви далеко до Галины Николаевой. Любовники и в постели обмениваются страничными идейными монологами, никогда не прерывая докладчика и не отступая от темы заседания, в их душах все детали точно пригнаны друг к другу, как в восхищающих главную героиню машинах, где сразу ясны ответы на проклятые вопросы: «Почему?» и «Зачем?»

Вероятно, даже самый умный человек, не желающий видеть неустрашимый трагизм бытия, обречен впадать в утопизм — беспредельно идеализировать своих сторонников (у Айн Рэнд они даже физически привлекательны) и клеветать на противников, утрачивая элементарную добросовестность: со взглядами оппонентов не обязательно соглашаться, но игнорировать их недопустимо. А ведь уже сто лет назад пользующийся мировым признанием социолог Эмиль Дюркгейм издал свой классический труд «О разделении общественного труда», заключающий в себе подробнейшую полемику со спенсеровской утопией. Дюркгейм проанализировал множество кодексов от Ромула до наших дней и убедился, что вмешательство общества в человеческие отношения с веками только нарастало: закон начал регулировать отношения членов семьи, отношения кредиторов и должников, нанимателей и работников, а современные законы об охране природы в старое доброе время вообще показались бы деспотическим попранием прав человека. Дюркгейм пришел к выводу, что нарастание промышленно-торговых свобод требует все более сложного централизованного регулирования и почитания коллективистских ценностей: конфликт личности и общества, по-видимому, тоже принадлежит к числу трагических — в которых страшна победа любой стороны. Пусть хотя бы те же безупречные атланты попытались передать будущим поколениям свое уважение к компетентности и свободной конкуренции, не создавая специальную систему воспитания. И пусть попробовали бы в течение, скажем, лет пятидесяти сохранить

эту систему, никого ни к чему не принуждая — ни идеологически, ни материально, хотя бы в виде налогообложения...

Но мир отчаянной Айн Рэнд не знает трагедий — как и мир большевиков, из которого она сумела вырваться. Он четко разделен на творцов и паразитов.

Это роман, а не социальный трактат, могут возразить мне, и я отвечу, что черно-белое разделение в романе еще менее уместно, чем в трактате. Тем более что именно стремление к доказательности как минимум утроило объем монологов и лишило их последнего правдоподобия (хотя автору этих строк на собственном горьком опыте известно, сколь трудно соединить эти лед и пламень — доказательность и естественность). Если бы не стремление к доказательности трактата, роман мог бы быть в несколько раз короче и во много раз увлекательнее. В нынешнем же его состоянии требуются какие-то личные причины, чтобы дочитать его до конца. И у автора этого отклика такие причины нашлись. Бывают странные сближения: в разгар перестройки я закончил роман «Горбатые атланты», где вывел атланта, пытающегося выполнить задачу, ровно противоположную задаче Айн Рэнд — остаться самому высшим судьей своего творчества, не уступая этого права ни рынку, ни начальству. Оскорбленный недооцененностью, мой атлант без всякого сговора с Джоном Галтом тоже бросает работу — и человечество этого совершенно не замечает, зато сам он оказывается на грани самоубийства.

Есть серьезное подозрение, что и всякое творчество больше всех нужно самим творцам: объявив забастовку, они погибают первыми.

Александр МЕЛИХОВ

Две судьбы Михаила Булгакова

●
Лидия Яновская. ЗАПИСКИ О МИХАИЛЕ БУЛГАКОВЕ. Издательство «Мория», Израиль, 1997.

●
Эту книгу, видимо, не просто будет прочитать в России. Изданная в Израиле неуказанным тиражом, она лишь отдельными экземплярами достигает нашей страны. А здесь ее вряд ли возьмутся переиздавать: этому жестко и даже жестоко воспротивится сомкнутый клан, стремящийся задавать тон в булгаковедении. Разумеется, Булга-

кова изучают и за пределами этого клана. Но речь именно о тех, для кого автор книги, Лидия Марковна Яновская, давно уже персона нон грата. Слишком часто ее публикации заставляли их ощутить недостоверность и вторичность своей научной продукции. А такое не прощают никогда.

А жаль. «Записки о Михаиле Булгакове» — из книг штучной работы, редкость и по неординарному, бросающему новый свет на жизнь литературы содержанию, и по столь же неординарной форме. Книга Л. Яновской — на грани между исследовательской и художественно-документальной прозой, вобрав в себя преимущества и той, и другой. В ней соединяются, взаимопереплетены сразу четыре истории. Первая — ее самой, Лидии Яновской, — в чем нет греха, своим «взносом» в наше знание жизни и творчества Михаила Булгакова она много заслужила. Вторая — история Елены Сергеевны Булгаковой, которую уже давно пора было написать. И низкий поклон Л. Яновской за то, что это сделала. А третья и четвертая — это история М. А. Булгакова — того, который жил, писал «и в душных стенах задыхался» тогда, в 20-е и 30-е годы. И того, который посмертно, десятилетия спустя, своей судьбой и сочинениями питает и культовое поклонение любителей, и научные карьеры специалистов, и замысловатые, а то и просто коммерческие затеи пристроившихся к наследству.

По тексту «Записок...» разбросаны живые портреты людей, которые были близки Булгакову, но оставались не слишком известны — Марики (Марии Артемьевны) Чимишкиан, Николая Лямина, Сергея Ермолинского. Насколько присущи Л. Яновской искусство объективности и такт, видно из портрета С. А. Ермолинского, нелепного, но и справедливого одновременно. Она без обиняков показывает, как в своих воспоминаниях о Булгакове С. Ермолинский заменял утраченную памятью реалии профессиональным сочинительством. Но не упускает возможности напомнить и о том, как достойно он держался в ситуации, хуже которой в нашем отечестве, пожалуй, не бывало: на допросах в госбезопасности.

Опираясь как на прежние, уже известные свидетельства, так и на новые, полученные ею самой, Л. Яновская реставрирует отношения Булгакова с Маяковским и А. Фадеевым. Она делает это с желанием понять психологический подтекст отношений и с уважением — на мой вкус, чрезмерным — к обоим неблизким Булгакову писателям.

Автор «Записок» демонстрирует, какими домыслами загромождены и биография, и творческий облик Михаила Булгакова, и старается по возможности очистить их от разнообразных произвольных напластований.

Одна из самых первых глав «Записок о Михаиле Булгакове» называется «Дыхание вечной книги». В ней речь о Библии, «которую, — пишет Л. Яновская, — он знал, читал, с которой советовался, может быть, спорил, у которой учился. Книгой, вошедшей в его творчество цитатами, образами, самым дыханием». Библейская тема нынче в большом ходу. О следах Ветхого и Нового заветов в литературе готовы поговорить и, увы, говорят многие. Это поветрие не могло миновать булгаковедения. И мысль «исследователей» тут не знает удержу. Некоторое время назад можно было прочесть, например, что булгаковская «Белая гвардия» — это нечто вроде римейка «Откровения Иоанна Богослова», старательно исполненного Булгаковым на материале новых времен (Ф. Балонов, «НЛО», № 24). В отличие от авторов столь экстравагантных и столь же умозрительных опусов Л. Яновская погружается непосредственно в сами булгаковские тексты и показывает, как идеи и образы вечной книги реально присутствуют в них, живут там «какой-то новой и неожиданной жизнью». Какую роль, скажем, играют в структуре пьесы «Бег» мотивы и прямые извлечения из Второй книги Моисеевой — Исход.

Вполне естественно, что писавшие о Булгакове не раз брались выискивать в «Мастере и Маргарите» булгаковскую интерпретацию Нового завета. Л. Яновская обходит эту лежащую на поверхности тему, зато открывает, как «неожиданно, точно, сложно» отзывались во многих местах романа реминисценции из завета Ветхого. Она делает это с виртуозной тщательностью текстолога. И на этой стороне, на этом качестве ее книги есть смысл остановиться.

Незаурядный литературовед, она не скрывает, какую роль в ее профессиональной квалификации играет ремесло — текстологии. Точнее, Лидия Марковна ее подчеркивает, гордится этим. Мы получаем наглядный урок — какое неотменимое значение имеет эта дисциплина в данном, булгаковском случае. Мы узнаём, как высокомерное пренебрежение к текстологии на целое десятилетие обрекло нас читать текст «Собачьего сердца» с более чем тысячей искажений текста авторского. Узнаём и о более серьезных вещах. До сих пор публикуется и, видимо, будет публиковаться и впредь тот текст «Мастера и Маргариты», в котором последняя авторская воля, его последняя правка так и не отражены до конца. Восстановить ее сейчас нет возможности. Последняя редакция романа — та, над которой Булгаков с помощью Елены Сергеевны работал в предсмертные месяцы, — сохранилась, по утверждению Яновской, в Отделе рукописей библиотеки им. Ленина не в том полном виде, в каком передала ее туда Е. С. Булгакова. В «Записках» впервые без обиняков названо имя архиви-

ста, ведавшего фондом М. А. Булгакова, когда рукопись романа утратила первоначальную целостность,— доктор филологии М. О. Чудакова. В свое время это не остановило Л. Яновскую, когда она готовила текст романа для нового издания — в киевском издательстве «Днипро», 1989 г. Рассказ о том, как восстанавливался максимально близкий к булгаковскому текст — со множеством сверок, подтвердившихся догадок, отброшенных версий, разгаданных и оставшихся без ответа загадок,— одна из самых увлекательных и поучительных глав книги.

Литератору пристало иметь не только точный, наблюдательный ум, но и то, что принято называть душой. Тонкая и открытая жизни душа продиктовала Л. Яновской те страницы, на которых показано, как Булгаков слышал, любил, помнил живую устную украинскую речь и, стало быть, не мог свысока глядеть на народ, на этом языке говорящий. Эти страницы дорогого стоят как раз сейчас, когда ополоумевшие от подаренной им «незалежности» шовинисты в Украине со страстью выскивают и чуть не на каждом шагу обнаруживают идущую от москалей шкоду. Эта их истерия прямо задевает и наследие Булгакова. Нет, показывает Л. Яновская, москаль Булгаков не меньше их ценил и чувствовал звучащую душу той земли, где родился и вырос.

Л. М. Яновская — из числа тех, кого уже в совсем недавние времена вынудили уехать из России,— и не столько обстоятельства, сколько люди, воплотившие эти обстоятельства. И печать оправданной обиды лежит на ее книге, однако справедливее сказать не «лежит», а лишь мерцает в глубине текста. Или подтекста. Нельзя сказать, что это совсем не портит «Записки». Скажем, на одной из страниц Л. Яновская походя унижает Г. С. Файмана, сумевшего извлечь из архивов бывшего КГБ и опубликовать копии доносов 30-х годов на Булгакова. Автор «Записок» не нашла по этому поводу ничего другого, как предположить, что эта публикация может быть «и подло лживой». Она как бы не допускает тем самым, что в оставленной ею стране были и остаются честные профессионалы. Но это, слава Богу, лишь эпизод в ее книге. При всей жесткости большинства оценок, которые Л. Яновская дает советским (они сложились как советские и остаются по преимуществу таковыми) булгаковедам, она вполне точна в фактах, согласующихся с этими оценками.

Закончу тем, с чего начал. Скорее всего среди нынешних издателей не найдется настолько сообразительного, чтобы взяться повторить издание книги Л. Яновской в стране. А он бы точно не прогадал. И читатели вместе с ним.

Вячеслав ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Стать абсолютно прозрачным...

●
Константин Кравцов. ПРИНОШЕНИЕ. М., «Московский журнал», 1998.

●
 Современная русская литература живо откликнулась на призыв нового литературоведения отказаться от биографического подхода к творчеству художника, и это легко понять. Судьбы художников последних десятилетий или банально москвошвейны, или полны темнот. Разговор о литературе смолкает, он становится человеку неинтересен. Почему? Нет судьбы, нет трагедии, нет чуда, а значит, нет надежды.

Свое предисловие к книге Константина Кравцова Иван Жданов не случайно начинает фразой: «Вот пришел поэт...». Потому что оттуда, с тех северных широт, еще не приходили. И само существование и таких стихов, и такого поэта — уже чудо, еще одно, так необходимое сегодня, свидетельство того, что поэзия живет по законам другой реальности.

При слове «север» сердце воскресает, А почему — не знаю. Присмотрись: в пучине мха блещит грибная слизь, а дальше все земное вымирает

.....
 и наконец — душа, и вот — лишь слово, быть может, слово «север», ибо в нем и «верую», и сева оком, И Ветер-Дух, Ему ж земля обнова и всяка плоть: повеет — и взойдет судеб златодревесным словарем.

Откуда у поэта силы словно льдинку перекатывать под языком это суровое слово? Размораживать, отогревать корни тайных смыслов жалким теплом человеческого сердца? Одно произнесение — всерьез — уже способно выстудить голос, лишить дара речи. Или это причудливая игра метафор? Но мы-то с вами знаем, что для поэта метафор нет, не живет метафорой поэзия.

Константин Кравцов родился и вырос в Салехарде, на обитаемом островке тундры, оставшемся от затонувшей цивилизации ГУЛАГа. Много русских поэтов погибло в Салехарде, и ни один не родился. Константин Кравцов стал первым.

Что за знаменье имя твое, Салехард? Мы одним с тобой небом безудержно живы.

Здесь вода столько пришлых и разных
 обмыла
 и кружили халеев-кликуш беспризорные
 стаи,

здесь в преддверии тьмы облаков оседали
и сияния жили во тьме,
ни на чем зависая.

Он родился в семье музыканта-саксофониста, и я не буду далек от правды, если скажу, что в 1963 году то был единственный саксофон на тысячи километров.

«Непробудная мерзлота», полярная ночь, «где в водах небесных таймы, звезды кладбищем детским стоят...», бараки, балки, лайки, гоняющие — за отсутствием кошек — диких песцов с помоек... Если мысленно наложить одинокий звук саксофона на «тальниковую голь краснетного лета», на «даль, забеленную кровью», то мы застигнем Кравцова в точке поэтического замысла о нем, о поэте: полюбить то, что было проклято всеми, стать счастливым в месте последнего отчаяния.

Памяти отца Павла Васильевича поэт посвятил свою книгу «Приношение».

В тех краях и в те годы здоровые духовные основы, цельное представление о мире сохранились только у местных хантов, наших русских индейцев, уничтожаемых и униженных, тайно камлающих по далеким стойбищам. Первыми учителями и собеседниками Кравцова-поэта и были ханты, поэты от рождения. Для них, как для всех представителей угро-финского этноса, говорить стихами — все равно что для мольеровского мещанина говорить прозой.

Чуть позже, учась в Литературном институте, Кравцов поражал воображение преподавателей и сокурсников своей способностью органично связывать далекие понятия, находя каждый раз единственно возможную тропку. Лишь немногие поэты, вьетнамец Чанк Дан Хуа и монгол Батыр, студенты тех лет, понимали секрет таланта Кравцова. Но все мы, связанные проклятием вавилонян, молчали, одаривая друг друга лишь взглядом да кивком.

Природная жажда твердых духовных основ, заведшая однажды Кравцова в глушь угро-финского космоса, вывела его в конце концов к совершенно иному источнику, таящему в себе, как сказано, «для иудея соблазн, а для эллина безумие». Не имея никаких предпосылок для первого, Кравцов довольно долго переживал второе.

Войдя в церковную ограду, Кравцов-поэт обнаружил, что не способен написать имя существительное «Слово» с большой буквы...

Пока мне в мире нечего сказать,
я застываю в звонком лабиринте

.....
И в голосе своем не узнаю
свой голос я: погиб он или вырос?
И безголосым помyslom сную
в пустыне дня, не вызревшей на клирос.

Последовало многолетнее молчание. И вот недавно вышедшая книга стихотворений «Приношение» как бы сращена из двух частей, и болезненный, глубокий шов молчания прямо-таки зримо ощутим. В стихотворении «После Крещения», одном из самых значительных в книге, поэт соединяет части разорванной судьбы, не отвергая ни одной крупинки своего опыта. И всё чудесным образом уместается в стихотворении: север, предания хантов и новое обетование христиан.

Был я светел, как пепел, пепел,
Что летел и летел с неба.
Я пустое селенье встретил,
колыбель нашел, полную снега.

Замечу, что первоначально книга называлась «Помни о снеге».

Мне кажется, нет другого поэта, кому бы снег открыл себя настолько. Можно даже сказать, как бы странно это ни прозвучало, что в стихах Кравцова снег заиграл всеми красками, он становится необходимостью, жизненной потребностью.

В последней редакции книга названа «Приношение». Кравцов прекрасно знает: в идеальном государстве язычника Платона поэты не нужны. Но он дерзает спрашивать, уже как автор «Приношения»:

Боже, в царстве твоём есть ли место поэтам?

Поэту открылась тайна снега, может быть, ему будет ответ и на этот терзающий многих вопрос?

«Север крошит металл, но щадит стекло...» — говорил Иосиф Бродский, вольно или невольно наделяя север способностью различать, миловать или казнить. Сам ли человек приходит отдать себя на суд северу или жестокий мир обрекает его — север оставляет человеку единственную возможность остаться в живых — стать абсолютно прозрачным.

Виталий ПУХАНОВ

Прошлое и будущее: фантастика и история

Илья Галилов. ИГРА ОБ УИЛЬЯМЕ ШЕКСПИРЕ, ИЛИ ТАЙНА ВЕЛИКОГО ФЕНИКСА. М., «Артист. Режиссер. Театр», 1997.

Кому не знакомо имя великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира? Наверное, многие знают, что жил он очень давно, когда страной правила не

менее великая королева Елизавета I. Родился в 1564 году в самой обыкновенной семье в Стрэтфорде-на-Эйвоне, потом сделал умопомрачительную карьеру, оказался гением и умер в 1616 году, после чего вот уже почти пятьсот лет его пьесы ставят, играют, перечитывают. Теперь появились фильмы, и их число множится.

Однако, когда после смерти Уильяма Шекспира прошли сотни три лет, европейские литературоведы вдруг опомнились и решили, что не сумел бы один человек, да еще не получивший отменного образования, не поездивший по свету, не повращавшийся в высших придворных кругах, написать все то, что написал Шекспир, — трагедии, комедии, поэмы, сонеты. Что ж. Напиши он только «Ромео и Джульетту», только «Гамлета», только «Макбета», только «Короля Лира», и то его имя осталось бы в веках. А он написал еще «Антония и Клеопатру», «Тимона Афинского», «Бурю», «Укрощение строптивой», «Как вам это понравится»...

И вот уже два века из поколения в поколение литературоведы ищут доказательства того, что не мог сей Шекспир написать все то, что он написал... Может быть, и не мог. Кто знает?

Короче говоря, тайна есть, и охотников ее разгадать тоже вполне достаточно. Правда, до последнего времени в России как-то не принято было о ней писать — ни в суровые царские годы, ни в годы советской власти. Наверное, своих тайн хватало.

И вот наконец.

В России... В Москве вышла в свет книга Ильи Галилова «Игра об Уильяме Шекспире...». В ней на четырехстах пятидесяти страницах излагается новая, неизвестная западным ученым версия. В сущности, это, так сказать, научный детектив, который может быть интересен любому человеку, желающему побольше узнать о времени Высокого Возрождения, о людях, творивших великую английскую государственность и литературу одновременно. Множество фактов, известных, мало известных, забытых и совсем неизвестных, излагаются как слегка затянутый, но вполне добротный детектив, который, естественно, по определению жанра, ведет к... правильному ответу. Я не буду его называть. Думаю, имена предполагаемых авторов не настолько известны в нашей стране, чтобы были на слуху у всех.

Понравилась ли мне книга, и согласна ли я с выводами автора? На первый вопрос отвечаю: да, книга понравилась. На второй позволю себе ответить: нет. Я не согласна с выводами автора. Пусть даже Илья Галилов отчасти прав, и его герои участвовали в написании великих творе-

ний подставного лица Уильяма Шекспира, на мой взгляд, поставленная проблема все же гораздо шире и интереснее. Кстати, если один Шекспир не мог все это написать, как утверждает автор исследования, то и названные им один-два человека заменить его не могли. Таких людей, как поначалу заявляет сам Галилов, должно было быть много. И все они почему-то жаждали скрыться за фигурой Шекспира. Почему? На этот вопрос ответа в книге нет, а потому мне очень хочется сказать «не верю» (по Станиславскому). Ведь даже великий англичанин Филип Сидни, который был государственным деятелем, дипломатом, военачальником, борцом за свободную Европу, хоть и не стремился печатать свои произведения, однако авторства своего не скрывал.

Мистификация всегда имеет вполне объяснимую цель, если это мистификация...

●
МИРЫ ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА. В 3-х тт. Рига, «Полярис», 1997.

●
Во-первых, на его счету *двадцать три* крупнейшие литературные награды, не считая наград помельче. Во-вторых, его связывают с Россией родственные узы, ибо предки его матери — выходцы с нашей земли. И это приятно, так как имя Харлана Эллисона в Америке — синоним успеха. В-третьих, если не считать пиратских изданий, это первое собрание рассказов Харлана Эллисона, предназначенное специально для русских читателей. Лучшие из тысячи семисот рассказов, написанных им за сорок лет работы, включены в трехтомное собрание «Миры Харлана Эллисона». Кстати, выбор «Поляриса» был одобрен самим автором.

И самое главное. Слыхали вы о Харлане Эллисоне или не слыхали, читали его рассказы или не читали, он все равно знаменит в России. Чем? Да ведь по мотивам его рассказов снимались фильмы о Терминаторе и прошедший только что по телевизору фантастический сериал «Вавилон-5»! А если вы играете в компьютерные игры, то знаете голос Эллисона, который исполняет роль безумного бога-компьютера АМ в созданной им игре «У меня нет рта, а я хочу кричать» (по мотивам собственного знаменитого рассказа). Хотя у самого мистера Эллисона компьютера нет, он сумел потрясти мир электронных развлечений, создав не просто игровую, а этический игровой сценарий, о котором один уважаемый критик написал, что эта игра требует ума и мудрости и она уникальна в мире компьютерных игр.

Итак, три тома занимательного и гуманного чтения, ибо Эллисон не только мастер сюжета, но и защитник правды и добра. Ему очень хочется, чтобы все на свете были счастливы, и больше всего он не любит врунов и эгоистов, которым наплевать на других людей и которые умеют только брать и ничего никогда не дают взамен. И он наказывает их самым страшным наказанием, какое только может быть... Одиночеством.

И если бы он и впрямь был богом, то потребовал бы от людей, чтобы они не заливали луга пластиком, прекратили сражаться, не враждовали, не врали, не мучили друг друга, ценили искусство и мудрость... короче говоря, занялись переделкой мира собственными силами. Это из рассказа «Эмиссар из Гаммельна». Помните сказку про дудочника, который увел детей из города, когда мэр Гаммельна не заплатил ему за то, что он избавил жителей от крыс? А Эллисон уводит взрослых, которые не хотят или не могут изменить жизнь города, и оставляет в нем одних детей. Может быть, дети окажутся лучшими хозяевами земли?

Л. ВОЛОДАРСКАЯ

Настольная книга для любителей столоверчения



Розмари Эллен Гуили. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИВИДЕНИЙ И ДУХОВ. М., «Александр Корженевский», 1997.



— Берите, берите! Отличная вещь, — убеждал разбитной лоточник. — Не смотри, какой год проставлен. Новинка.

Имя сочинительницы мне ничего не говорило. Из всех Розмари я знал лишь героиню старого мистического романа. Название издательства выглядело чуть претенциозным. Впрочем, дело вкуса.

Но первая же попавшаяся на глаза статья показалась достойной внимания: «Знаменитый старинный лондонский театр на Друри

Лейн давно известен как приют целой плеяды привидений-театралов. Нынешнее здание театра — уже четвертое, построенное на этом месте за 300-летнюю историю его существования.

Самое знаменитое привидение этого театра — Человек в Сером. Этот довольно мирный дух является на протяжении более ста лет. В отличие от большинства призраков, появление которых считается дурным предзнаменованием, встреча с Человеком в Сером сулит успех актеру и всему представлению. Этот призрак настолько почитают, что на предложение изгнать его администрация театра ответила решительным отказом».

Театр и вправду идеальное место для призраков. Актеры, завершив представление, сбрасывают личины, но затраченные физические и психические силы не деваются в никуда. Прежде, когда главенствовали костюмы и маски, мистичными становились вещи. Однако папье-маше и картон, из которых мастерят бутафорию, слишком художочны, чтобы впитывать и хранить энергию, и по театральным пространствам стали блуждать фантомы, заходить за кулисы, посещать партер и ложи.

Впрочем, судя по материалам энциклопедии, духи и призраки могут обитать и в замках, и в тюрьмах, и в частных домах. Явление это, несмотря на долгую историю, слабо изученное. Верчение столов и особые спиритические сеансы, хотя в них принимали участие такие люди, как сэра Артур Конан Дойл, внушают большее сомнение, чем сама возможность встречи с привидением.

«Да, над этим стоит поразмышлять на досуге, — думал я, листая книгу. — И не из любви к мистике. В конце концов, если по смерти остаются следы телесности, это значит только, что прав Ломоносов с его законом сохранения веществ. Мир толкуется донельзя материалистично, при том мистика находится рядом. Разве не загадочны стихи того же Ломоносова, посвященные — кому бы? — кузнечнику: «Ты ангел во плоти, нет лучше, ты бесплотен!..» Опять и реальное присутствие, и развоплощение, снова одоление любых преград: "Везде в своем дому..."»

— Ну что, решились? — поинтересовался лоточник.

Я протянул деньги.

— Сдачи нет, — заявил продавец, медленно тая в воздухе вместе с лотком.

Феликс ИКШИН



Вячеслав КУРИЦЫН

88 моих рублей и 25 тысяч чужих долларов

По дороге в Дом русского зарубежья на вручение солженицынской премии великому ученому В. Н. Топорову я заскочил на Центральный телеграф: отправить в Соединенные Штаты Америки две странички факса. Обычно я отправляю факсы из дома или с работы, потому не знал, сколько эта услуга стоит на улице. Подозревал, что недешево, что придется заплатить рублей двадцать — тридцать. Пришлось заплатить восемьдесят восемь двадцать. Сия цифра отпечатала на моем челе след глубочайшей задумчивости, который сохранялся до самого вечера.

В Дом зарубежья я приехал где-то к половине четвертого, когда публика уже забила как следует душный зал. В дверном проходе стоял писатель-южноуралец Маканин, который пожаловался:

— Меня все принимают за охранника.

— Почему? — спросил я.

— Все со мной здороваются, — пояснил Маканин. — Заходят, видят, мужик в дверях — и сразу здороваются...

Я открыл было рот, чтобы предположить, что с Маканиным люди могут здороваться не единственно как с охранником, но скорее как с выдающимся сочинителем нашей эпохи, но не успел: Маканин тут же и впрямь проявил качества стража правопорядка, быстро взяв меня за локоть и сдвинув к стенке, ибо по проходу шел Солженицын.

Накануне, кстати, журналист Кузьминский, склонный к скепсису по любому поводу, почему-то взялся утверждать, что Солженицына не будет на вручении премии своего имени. Мы даже поспорили с ним по этому поводу на два рубля. Выиграв спор, я уменьшил свой сегодняшний убыток с 88.20 до 86.20.

Топорову, однако, солженицынское жюри присудило «за служение национальному самопознанию в духе христианской традиции» аж 25 тысяч американских долларов из фонда, который сложился из гонораров за повсеместные издания гениальной книжки «Архипелаг ГУЛАГ». Я присел рядом с вечно хмурым писателем-реалистом Павловым и стал считать на бумажке, сколько факсов в Соединенные Штаты Америки с Центрального телеграфа может отправить на эти деньги лауреат. Получилось, три тысячи пятьсот семьдесят один с половиной.

Меж тем началась церемония. Солженицын рассказал о заслугах Топорова перед отечественной словесностью, сообщил, что в «Мифах народов мира» Владимир Николаевич писал такие статьи, как Космос, Хаос, Первочеловек, Крест, Порядок и Пространство. Потом афористично реферировал работы академика о Карамзине (который тянет из восемнадцатого века в двадцатый луч эротизма), Тургеневе (у которого «мистическая ясновидческая струя») и Ахматовой (умевшей обнаружить в личном историческое вещество, а в историческом — трансторическое).

«Как удачно сказано, — подумал я. — А ведь, по сути, эти слова можно применить и к моим «Запискам литературного человека»... Личное в них превращается в историческое вещество, а историческое — правда, не каждый раз, но зачастую — в трансторическое...»

В зале тусовалось десятка полтора телевизионщиков и радийщиков, которые породавали меня тем, что вытягивали диктофоны на длинных руках и микрофоны на палках-ходулях не к трибуне, а к укрепленным под потолок динамикам. Когда Солженицын завершил свое слово, большинство из них живо смылось. Лауреата снимали уже не на десять, а на пару камер.

Лауреат прочел концептуальный текст, Премияльное Слово. Длилось оно, наверное, полчаса и было посвящено животрепещущим проблемам мироздания. Топоров говорил, что древнерусского человека привлекали смирение, отказ от богатств

ва (тут я снова с горечью вспомнил о факсах), отказ от власти и устремленность к иной жизни. Критик Басинский, сидевший в президиуме аки член жюри, на словах «к иной жизни» сдернул с носа очки и отер слезу.

Официант в золотой жилетке грациозно проскользнул меж публики с подносом, в центре которого одиноко стоял фужер с водой. Поставил фужер перед лауреатом.

— Жалко тоскующих по целому и взыскующих его, — сказал Топоров.

— Целое как высшая реальность уже рассуполнило свои объятия, — сказал Топоров.

Я записывал речь лауреата бледно-зеленой ручкой на каких-то случайных листах, второпях и кривым почерком: это я сообщаю, потому что усомнился сейчас в слове « рассуполнило ». Может быть, там было другое слово.

— Первые люди предпочли познание бессмертию, — сообщил Топоров, имея в виду Адама и Еву.

У меня в голове закрутились фразы для полемической статьи: « Утверждая, что первые люди предпочли познание бессмертию, академик Топоров атрибутирует этим первым свой собственный понятийный аппарат. Но поскольку представление о бессмертии так или иначе является результатом познания, постольку Адам и Ева не могли предпочесть нечто, о чем у них не было представления, механизму обретения такового представления... Скорее они просто захотели яблочка... »

Академик меж тем продолжал неудержимо лстыть интеллектуальным и, главное, реципиентарным возможностям аудитории, сказав что-то о выделенности видения, приводящего к ведению, и о том, что сверхзнание знаменует преодоление пространства и времени, самой тварности. Я пожалел, что на церемонию не приехал, хотя и собирался, мэр Москвы: ему было бы интересно.

На этом моменте я отвлекся и стал беспорядочно вертеть головой, пока не встретился взглядом с сотрудником « Независимой газеты » Г. Заславским. Заславский человек серьезный, положительный. Как-то во время Антибукеровской церемонии, которую устраивает « НГ », у меня брало интервью Российское телевидение, а Заславский, пробегавший мимо, оттащил в сторону руководителя съемочной группы и сообщил ему, что они зря берут у меня интервью, поскольку я ненавижу « Независимую газету ». Я мысленно одобрил Заславского: правильно, надо защищать свое всеми фибрами, а то уж сколько можно болтаться в проруби абстрактного гуманизма и общечеловеческих ценностей. Мне почему-то кажется, что Гриша хочет со временем стать министром культуры. Я показал Заславскому язык. Он быстро отвернулся.

— Язык отказывается говорить и уступает свое место молчанию, хранящему невыразимое, — поведал Топоров, что, однако, вовсе не помешало ему продолжать речь еще минут десять и отметить, в частности, что земля — пособница жизни, обращающаяся сама на себя бессчетное количество раз.

— Тебе когда премию дадут, — сказал я Павлову, — ты уж речь читай о жизни, об армии, чтобы поживее.

Павлов обиделся, возразив, что у него тоже полно высоких мыслей, а то что же все про армию-то.

Потом началась тусовка и я, утомленный духотой и мыслью о 88 рублях, выпил подряд пять рюмок водки и изрядно захмелел, выпав на некоторое время из адекватного восприятия. Помню, что было на редкость уютно. Сначала я закусывал устрицами, а потом, когда они кончились, морковкой, макая ее в специальное белое жижево. Беспспорность выбора лауреата первой солженицынской премии и на публику действовала примиренчески-благодушно. Лишь подвыпивший я пытался внести струю недоброжелательства, высказав нескольким присутствующим литераторам нелюбезное мнение об их творчестве. Но литераторы вели себя нежно и тем же мне отвечать не стали.

Света Василенко, прозаик и секретарь, рассказывала о своей поездке в Чикаго, где в университете учится Павел Кашин, который еще год назад был подающим надежды певцом и пел клипы по телевизору. Я порадовался за Кашина: кинуть чреватый денежками мир русской попы и укатить в другую культуру может, наверное, только весьма позитивный человек.

В углу два члена жюри обсуждали доклад Топорова.

— Чегой-то он все про целое да про целое? Что есть целое?

— Это чтобы про Бога не говорить. Чего только не выдумают, чтобы про Бога не говорить...

Часов, что ли, в шесть тусовка пошла к концу, и я собрался в Чеховскую библиотеку, где поэт Санчук представлял книгу своих стихов с иллюстрациями девушки по имени Алена. Попутчиков в Чеховку я себе не нашел, но ди-джей Александров с « Эха Москвы » вызвался подкинуть меня на машине до Пушкинской площади, сократив мой сегодняшний убыток еще на два рубля (стоимость жетона метро). 86.20 – 2 = 84.20. Александров сообщил мне, что прочел в « Октябре » № 4 мой отчет о праздновании 25-летия журнала « Литературное обозрение », где я журил его, Александрова, за то, что

он не отдает мне журнал «Урал» с романом О. Славниковой о насекомых и млекопитающих и теперь, уж точно, не отдаст мне журнала, чтобы неподобающе было писать.

Поэт Санчук, поначалу радостно поприветствовавший мое появление, быстро сообразил, что я уже пьян, и сказал с укоризной: «Напился у Солженицына, не мог до меня дотерпеть». Чтобы как-то восстановить ясность зрения, я выпил в буфете три чашки чаю. Выяснилось, что художница Алена, чья презентация обещана, находится в Лос-Анджелесе, а Санчук будет просто читать стихи. Прослушав три — по числу выпитых чашек — я покинул Чеховскую библиотеку вместе с журналистами Дельфином и Фальковским, специализирующимися на массовой литературе.

Дельфин, по его рассказам, не далее как сегодня получил где-то на сдачу лишних аж 500 рублей. «Хотел вернуть, не удалось», — пояснил Дельфин, в связи с чем и приглашал нас с Фальковским выпить сейчас за его счет пива. Прикинув, что это прямой путь дальнейшего сокращения моего собственного убытка, я предложил пойти на какую-то из Бронных улиц в заведение «Капакабана». Там Дельфин заказал три чешских пива по 16.50, но вместо 48.50 с него взяли 43.50.

Фальковский тут же сообщил, как нашел сегодня в прорези телефона-автомата забытую кем-то карточку с сорока неиспользованными единицами. Весь вне себя от зависти, я впал в раздумчивость по двум поводам: во-первых, отнять ли мне от оставшихся 84.20 номинальную цену пива, 16.50, либо отнять сумму, реально заплаченную за меня Дельфином, а во-вторых, куда бы позвонить по халатной карточке Фальковского...

Дельфин меж тем рассказал анекдот про проверку на фальшивость новых украинских денег: нужно провести по ним полоской сала, и если Кучма с портрета скопит глаза вслед за салом, то деньги правильные.

Холодало. Мне давно пора было домой, но невосстановленные 70 рублей драли душу, а потому я поддержал идею выпить чего-нибудь крепенького. Мы долго блуждали вокруг Пушкинской площади, пока не упокоились в «Русском бистро», где Дельфин и взял пирожков и водки «Снежная королева», сократив мой дневной убыток еще на 15—20 рублей.

Мы стали обсуждать дежурную тему: перелом нижних конечностей сотрудниками «Независимой газетью». Пару лет назад, когда я там работал, ноги ломала заведовавшая отделом культуры Вика Шохина: то одну, то другую, то снова первую по старому месту. Тогда это не вызывало улыбки, а только грусть, ибо Вика все очень любили. Но потом сломала ногу молодая сотрудница Наташа Бабинцева, и в редакции стали потихоньку хихикать над такой нежданной ответственностью. Потом заместитель редактора Игорь Зотов упал с крыльца и поломал две ноги кряду. Это уже вызвало громы хохота. Наконец, два месяца назад сломал ногу сотрудник Владимир Березин, что снова вогнало редакцию в грусть: тут уж все поняли, что это не совпадения, а вполне всерьез, что Господь как-то всерьез настроен насчет «НГ», и стали подумывать об увольнении...

Затем я вспомнил, что прочел на днях стихи Дельфина и что они похожи на стихи Еременко. Заговорили о стихах Еременко. Дельфин заявил, что у него есть книжка, где на обложке нарисовано пол-лица Еременко. Я стал утверждать, что такой книжки в природе нет. Мы поспорили на два рубля.

Увы, мы были уже отменно пьяны, и мне вместо продолжения режима экономии пришлось еще покупать «Снежную королеву». Потом мы поехали ко мне домой и встретили в Трубе под Пушкиной двух знакомых журналисток, Машу и Свету, стали с ними обниматься-целоваться, что выглядело крайне двусмысленно, потому что наша веселая встреча произошла непосредственно в гуще толпы сутенеров и проституток. Света и Маша быстро ретировались. Алкоголя мы у меня дома наконец уже не пили, пили сок и чай, выслушали рассказ моей жены Иры о посещении ею Театра современной пьесы на Трубной площади, я зачитал с бумажки избранные места из речи Топорова.

Около двух ночи, когда я уже спал, позвонил писатель-буддист Пелевин, вынул Иру разбудить меня и рассказал леденящую кровь историю. Ему позвонили из журнала «Еще» (это глянцевого женский журнал) и спросили: любит ли он русскую поэзию и жаждет ли ее возрождения? Застигнутый врасплох Пелевин ответил положительно. Тогда ему сказали, что журнал проводит конкурс стихов о любви, и предложили войти в жюри. Пелевин согласился. После чего ему прислали факс, из которого стало явным скрытое в телефонном разговоре: это не просто конкурс, а часть рекламной кампании какого-то французского одеколона, название которого переводится как «Рифма». Теперь Пелевин не знает, как ему поступить.

Я сказал, что у меня жизнь не легче, что пошел вот с утра отправлять два факса с Центрального телеграфа... Далее по тексту.

— Тьфу! — сказал Пелевин. — Я про русскую поэзию, а ты про восемьдесят восемь рублей.

Казачий Неаполь

В конце апреля писательская делегация от журнала «Октябрь» (Ирина Барметова, Владислав Отрошенко, Виталий Пуханов, Петр Алешковский, Олег Павлов и аз грешный) нагрянула в город Ростов-на-Дону.

Ростов встретил нас мрачно и неприветливо: промозглой погодой, вообще-то не характерной в конце апреля для этого южного края, бестолковостью местного *атамана по культуре* (без шуток!), некоего Иванова из областной администрации, не желавшего понимать, зачем это прибыл из Москвы наш писательский десант, безбожными ценами в общепите и отсутствием отопления и горячей воды в лучшей гостинице города «Интурист»...

Ростов провожал нас ласково и радостно — теплым и щедрым южным солнцем, мягким ветерком, уже опробованной и по достоинству оцененной водкой «Ростов-папа» (без шуток!), крашеными пасхальными яйцами от супруги Дмитрия Пэна, местного филолога и университетского преподавателя, апельсинами от мамы Владислава Отрошенко, пришедшей на вокзал проводить в Москву своего забубенного сына, московского литератора, сбежавшего, как водится, из Ростова в столицу в юные годы...

И я так понял, что уезжать из Ростова гораздо лучше, чем наоборот... Но что бы это значило?

О том, что Ростов похож на Неаполь, словно две капли воды, еще до поездки нашей делегации много чего наговорил Отрошенко, который возле Ростова (в Новочеркасске) родился, в Ростове учился, но после бегства из Ростова в Москву в Неаполе, кажется, бывал гораздо чаще, чем в пенатах. «Я вам покажу!» — тем не менее торжественно заявлял он уже в поезде. И я его понимал! Если б я ехал с делегацией, например, в мой родной Волгоград, то, конечно же, тоже смотрел бы на остальных как на несносных профанов, как на *интуристов*, потому что всякий российский человек немножко *интурист* в своей необъятной и бездорожной стране...

На подъезде к Ростову Отрошенко начал *показывать*. На бескрайние, с редчайшими деревцами аксайские степи. На ровный, будто рукотворный, канал, *сам* Аксай, который — голос Отрошенко замирал от волнения — вот-вот соединится с *самим* Доном. Из раскрытого окна фирменного поезда Отрошенко водил рукой по Пустоте строго и твердо, словно *сам* атаман Платов перед боем. Вот тут мы врежемся в ихние позиции. А ты, есаул, заходи справа, да смотри ж! Пленных — мать их так — не брать!

Я смотрел на пылающее лицо Отрошенко и думал: «Вот силища *происхождения!*» Он из донских казаков, а я из «волжских мужичков». Но мы оба давно и более или менее прочно обосновались в Москве. И даже не в самой Москве, а на крохотном ее пятачке, называемом «московской литературой». Казалось бы, стандарт московского литератора, существа, вечно озабоченного поисками славы и денег, должен победить всяческие *крови*. Но — нет! Наоборот — импульсы этих кровей всячески подмывают московский стандарт, что-то такое обрушивают в этой системе, создают какие-то неровные края, какие-то глыбы и пустоты. И это, собственно, и создает «московскую ситуацию». И не только в литературе. Например, если б товарищи из ЦРУ были мудрые, они бы давно не слушали наших демократических политологов из наиболее успешно освоившихся в московском стандарте, но всерьез и надолго занялись бы *этногенеалогией* русских ученых, политиков, военачальников. Может, и занимаются — кто их знает? Только все равно — ни черта они во всем этом не поймут!

Это и русский человек не вполне понимает, а только временами и с изумлением

чувствует в себе и окружающих. Например, что существо донского казачества (и казаков в любом поколении) — это не шапки наголо, не оружие рты и наспуленные брови, не диковатые излохмаченные шапки, но странная и не поддающаяся логическому объяснению *элитарность*. Ростов — конечно же, Неаполь! Не важно, что в ростовском баре вас напоили простодушно разбавленным местным пивом с каким-то безумным иностранным лейблом. Не важно, что по центральной Садовой улице бесконечно снуют южнокорейские «DAEWOO», собираемые на местном комбинате. Не важно, что любимыми газетами ростовчан являются «СПИД-инфо» и «МЕГАПОЛИС-экспресс». Не важно, что в наспех отремонтированном «Интуристе» всех-то иностранцев — два чеченца, четыре армянина и шесть москвичей. Самосознание этноса рождается не из пустяков, не из пива, машин и газет, а из элементов более прочных. Зато центральная городская библиотека строилась по проекту, который, как нам объяснила ее милейший директор, «соединил в себе достижения всех европейских и американских библиотек». Уже потом центральные власти схватились за головы и таких роскошных библиотек (с фонтанами, балконами и проч.) больше в России не строили. Зато (отправимся в прошлое) здание областной администрации (бывшего городского собрания) строил Растрелли. Строил, как нам объяснили, так. Собрали казачки деньги. О-очень много денег! И сказали они Растрелли: строй, как тебе Бог подсказет! Мы тебе никаких условий не ставим. Сделай нам красиво! И кто видел этот воздушный ампир, согласится, что казачки поступили правильно! Нельзя стеснять свободного художника...

Я всегда подозревал, что Дон — река чрезвычайно элитарная. В отличие от Волги, на которой я родился. Донская рыбалка — сложная, со спецификой, с коварным течением и корягами. Здесь бессмысленно ловить *не местной* снастью. Да что снасть! Ловил я как-то (безуспешно!) удочкой мелкую плотву на Дону. На хлеб. Подходит местный мужичок (казачок?) и спрашивает: а ты, милый, на какой хлеб ловишь? На местный? (То есть на местной воде замешанный.) Нет, говорю, я с собой привез. (То есть из Волгограда.) А-а, говорит мужичок, тогда понятно... И уходит... расстроенный такой. Мол, стоит ли с идиотом разговаривать... Я не выдержал, сорвался и спрашиваю язвительно: а с *рожей* с моей, *не местной*, ловить вообще-то стоит? Не испугается рыба? Мужичок остановился и посмотрел на меня еще скучней. Ага, сказал.

Из пяти русских писателей — лауреатов Нобелевской премии — двое «донцов». Шолохов и Солженицын. А сколько, скажите, в России крупных рек? То-то! Первый *нестоличный* каменный собор при Петре, когда строить из камня за пределами столиц строго запрещалось, возвели в Черкасске (ныне — Старочеркасск). Да еще и на лично самим царем пожалованные 100 рублей (громадные деньги). Войсковой Воскресенский собор поражает иконостасом, шедевром иконной живописи и резьбы по дереву.

Но лично меня всегда больше интересуют люди, чем камни и дерево, даже в самом гениальном исполнении. Директор Старочеркасского музея-заповедника (городок расположен на острове, омываемом с одной стороны Доном, с другой — Аксаем) Михаил Павлович Астапенко — не только надежный защитник и хранитель казачьей старины, но и подлинный Нестор истории донского казачества. Его книга «Донские казаки атаманы. Исторические очерки-биографии (1550—1920)» (Ростов-на-Дону, 1996), — написана в виде справочника, но, по существу, являет собой сборник своеобразных «житий» казачьих атаманов. И хотя слово «житие» не очень-то подходит к биографиям воинственных начальников всегда воевавшего племени, самый стиль книги М. П. Астапенко, нарочито безыскусный и как бы «бесстильный», напоминает вот именно о «житиях».

Между прочим, из книги М. П. Астапенко я наконец в точности выяснил: как ходили казаки на Индию в начале XIX века. Что-то подобное я слышал от Отрошенко, читал в его прозе, но наивно полагал, что это все-таки историческая мистификация. Какая там мистификация! Вот голые факты. «К началу 19 в. Павел I резко изменил курс внешней политики: недавние враги России французы вдруг превратились в друзей и союзников, предложивших совместный с россиянами поход в Индию — богатейшую английскую колонию. Павел I согласился.

В январе 1801 г. атаман Орлов через фельдъегеря получил императорский указ, которым предписывалось «собрать все войско на сборных пунктах с запасом провианта на полтора месяца». Объясняя цель этой военной акции, император писал атаману: "Англичане приготовляются сделать нападение на меня и союзников моих датчан и шведов. Я готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар может быть чувствительней и где менее ожидают. Заведение их в Индию самое

лучшее для сего. Подите... с артиллерией через Бухару и Хиву на реку Индус. Приготовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить и осмотреть дороги. Все богатства Индии будут вам за сию экспедицию наградой. Такое предприятие увенчает вас славой и заслужит мое особое благоволение. Прилагаю карты, сколько их у меня есть”».

Оцените этот сюжет! Итак, при помощи одних карт («сколько их... есть») русские казаки должны были «с артиллерией» проделать совершенно неизвестный путь на Индию, захватить ее и тем самым насолить англичанам во славу русского царя. Плата за «экспедицию»... Индия с ее фантастическими богатствами. Но это не сказка, это — быль! Цитирую дальше Астапенко: «Исполняя указ, Орлов за короткий срок сумел мобилизовать более 22 тысяч казаков, способных носить оружие, о чем и информировал императора в своем письме от 20 февраля 1801 г. Поход казаков в Индию, вошедший в историю под названием «Оренбургского похода», возглавил прибывший на Дон из заключения в Петропавловской крепости сотоварищ Орлова генерал-майор Матвей Платов, которого император назначил заместителем войскового атамана. Поход этот, проходивший в тяжелейших условиях, прервался после убийства Павла I заговорщиками в марте 1801 г.»...

Вот так — «прервался»! Совершенно случайно — из-за смерти царя... А мог бы, стало быть, и не «прерваться»... И русские казаки дошли бы до Гималаев, взяли бы их и свалились, как снег с вершин, на головы ничего не подозревавших индусов и англичан... И, конечно же (как можно сомневаться!), захватили б Индию...

Подумаешь — Индия!

Так что разговоры Отрошенко о «казачьем Неаполе» не случайны. В новочеркасской библиотеке, доме бывшего казачьего собрания, на стене — гипсовая лепнина. Марс и Диана. У Марса на щите первый казачий герб: «елень пораженный стрелой», символ узвленной свободы. За спиной Дианы не лук со стрелами. Казачьи шашки.

«Вот же элитарный народец! — подумал я.— Не то что мы, лапти, или «волжские мужички», создавшие «песню, подобную стону», и так далее. И как-то не верится, что все мы в общем-то один народ — такие разные, такие бесконечно разные... В одной стране живем».



Олдос ХАКСЛИ. ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ. [Б. м.], «Рефл-бук», «Ваклер», 1997. Тир. 6 000 экз.

Герой романа «Шутовской хоровод» выдумал брюки с пневматическим сиденьем, вещь чрезвычайно нужную в современном мире. Мысль о штанах с поддувом возникла во время молитвы (именно тогда подумал Гамбрил о пневматических наколенниках). Ироническое отношение романиста к религии очевидно. Но со временем интерес к религиозным проблемам делается жарче. И появляются книги, где эти проблемы автор пытается решить. В «Вечной философии» Хаксли дополняет цитаты из «Упанишад», Чжуан-цзы и т. д. собственными толкованиями. Возможно, он чувствует при том просветление, зато читатель видит прежнего интеллектуала, чей интеллектуализм вывернут наоборот. И пародийная фраза из «Шутовского хоровода» — по вывернутости, изнаночности — теряет иронию, приобретая серьезность: «Всякое дыхание да славит уховертку». А тому, что и уховертка достойна восславления, залог — священность бытия, которую подтверждают цитаты из разных источников.

Райнер Мария РИЛЬКЕ. ЧАСОСЛОВ. СПб., издательство «Азбука», книжный клуб «Терра», 1998. Тираж не указан.

Переводчик на то время, пока созидает стихи другого поэта, надевает чужую маску. Но если в каком-то случае сравнение стихотворного перевода с комедией дель арте выглядело бы случайным, здесь оно уместно. Сам поэт проигрывал условный текст в условных же декорациях. Рильке пишет от лица русского монаха, воплощая немецким стихом мотивы православных молитв. А потому слова о недостижимости божественной благодати остранены и лишены обычного для них мелодраматизма, тем более переданные С. В. Петровым, чей слог сразу и тяжек, и эксцентричен:

Духовитые суки высбки.
И не спросишь, сторожу ли я.
Глубь Твоя взбегает в них, как соки,
на меня и капли не лия.

Сергей МИХАЛКОВ. ОТ И ДО... М., «Олимп», «АСТ», 1998. Тир. 10 000 экз.

Написанные человеком с истинным чувством юмора, мемуары забавны (хотя не обязательно в каждом сюжете смешны, а иногда трогательны, даже патетичны). Повествование умело останавливается там, где может перейти границу реальной жизни, — в противном случае возникнет вопрос о достоверности рассказа и о том, насколько чистосердечен мемуарист, а это не входило в намерения автора. Новелла о вешем сне Г. Эль-Регистана, которому приснились опорные слова будущего гимна Советского Союза — «Великая Русь», «Дружба народов», «Ленин», — непровержимый ответ на кривотолки вокруг давней истории. Необъятность цитат из чужих сочинений, когда речь заходит о жене, братьях и сыновьях, обидна и понятна: главе семьи всегда кажется, будто те, за кого он отвечает, нуждаются в защите и оправдании, совершили ли они подвиг либо нарушили обыкновенные приличия.

Луи-Фердинанд СЕЛИН. ИЗ ЗАМКА В ЗАМОК. СПб., «Евразия», 1998. Тир. 4 000 экз.

Так он и запомнился современникам: «На его шее на веревочке болтались две огромные кожаные меховые рукавицы, а в левой руке он за ручку держал объемистый саквояж, в котором были проделаны дырочки для воздуха. В этом саквояже, я узнал это позже, он носил огромного кота. Таков был странный наряд этого типа, что же касается до кота, это была замечательная тварь... Он был размером почти с ягненка, и, честное слово, казалось, он очень доволен, что прогуливается в подобном экипаже: забавная тварь. Это были: Луи-Фердинанд Селин и его кот Бебер». Но дело даже не в писателе, сочинившем очередной скандальный автобиографический роман, насыщенный арготизмами, дело в самом издании. На обороте титула указана Маруся Климова, одна из авторов перевода, комментариев и примечаний. Неужели она? Да-да, именно, кто же еще:

Мурка, ты мой Муреночек,
 Мурка, ты мой котеночек,
 Мурка, Маруся Климова,
 Прости любимого.

Нет, Селин здесь, видно по всему, только предлог.

Мих. СЛОНИМСКИЙ. КОПЫТО КОНЯ. Рассказы. Дневниковые записи. СПб., «Композитор», 1998. Тир. 2 000 экз.

Переиздание шести старых рассказов (заметки из дневника занимают лишь две с половиной страницы) — достойная память о писателе, очень старавшемся разучиться сочинять хорошо. В конце концов он своего добился, однако при том не потерял ни порядочности, ни доброты.

Джеймс Р. ЛЬЮИС. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СНОВИДЕНИЙ. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997. Тир. 5 000 экз.

Сны двойственны, тройственны, четверичны. У них есть форма внешняя и форма внутренняя (поведение спящего в постели и во сне). У снов есть и внешнее, и внутреннее содержание (о чем сон повествует и о чем напоминает). Разные религиозные и культурные практики по-своему относятся к сновидениям и по-своему обходятся с ними, что подробно изложено в энциклопедии. А задремавший над книгой имеет возможность, проснувшись, перелистать ее и найти в соннике толкование недавнего сновидения.

РУССКИЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ XX ВЕКА. Библиографический словарь. М., «Флинта», «Наука», 1997. Тир. 5 000 экз.

Нужный справочник, подпорченный спешкой и конъюнктурностью. Верно ли включать в него статью об Александре Галиче из-за того, что в его стихах часто упоминается детство? Между прочим, психологии детства посвящена треть из написанного Сашей Соколовым (отсылаю интересующихся к роману «Школа для дураков»). Что до статей о молодых сочинителях, легко объяснить случайный подбор фамилий слабой компетенцией пишущего.

Алексей МАКУШИНСКИЙ. МАКС. М., 1998. Тираж не указан.

Роман претендует на старомодную обстоятельность: «...он не ел, с утра, ничего». Уточнений, подчеркнутых скобками и запятыми, столько, что смысл повествования утрачивается. Но, судя по названию, хранящему анаграмму имени и фамилии автора, речь об очень и очень личном. Да и название издательства — «Мартис», — тыкающегося с копирайтом где-то на задворках, возможно прочитать как параграмму (то бишь частичную анаграмму) тех же имени и фамилии. При таком подходе надобность в сюжете и характерах отпадает: писатель высказал томившее его.

Олег ЧУХОНЦЕВ. ПРОБЕГАЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ. Стихотворения и поэмы. СПб., «ИНАПРЕСС», 1997. Тир. 2 000 экз.

Собственно, О. Чухонцев писал всегда о двух вещах: о родине, которую так трудно любить с ее жестокостью и предвзятостью, и о семейном тепле, которое развеяно по ветру судьбой. И, читая книгу, вместившую написанное за несколько десятилетий, видишь, сколь тщательно выстраивает стих поэт, будто строит дом, где предстоит жить.

...ну а окна запотеют от тепла —
 слава Богу! Лишь бы крыша не текла!

Дом — это символ, сводящий родину и семью воедино. Но вот вопрос: что заставило поэта переделывать построенное? То новая строка лежит заплаткой в знакомом тексте, то вместо бывших строф, словно пролом, зияет отточие. А стихотворения из старых тетрадей приникли к другим, словно дворовые пристройки, и рождают на душе не покой от добротности, а тоску разора.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



Читайте в следующем номере

роман БОРИСА ХАЗАНОВА

«ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ»

«Существуют, следовательно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-плывущее, подобное мертвой зыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще. И другое, тайное, подлинное, присущее только мне. Надо было поселиться в заброшенном доме и увидеть на стене часы с умершим маятником, чтобы осознать мнимость внешнего времени. Вслушаться, уловить в тишине, как струится другое время...»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До конца года и в 1999 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая. Окончание. Книга третья.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ. **Повесть.**

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Купол.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Заключительные главы.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза. Стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Рассказы. Повесть.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Предисловие к празднику.** Страницы дневника. Стихи.

Дневники А. Ф. ЛОСЕВА и С. А. ТОЛСТОЙ.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭПЕЛЯ и др.